

# ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 5 (676) • 2012

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: [unost-contact@mail.ru](mailto:unost-contact@mail.ru)  
<http://unost.org>

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ  
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ  
Валерий ЗОЛОТУХИН  
Елена ИСАЕВА  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Валерий КОЗЛОВ  
Владимир КОСТРОВ  
Нина КРАСНОВА  
Татьяна КУЗОВЛЕВА  
Евгений ЛЕСИН  
Георгий ПРЯХИН  
Владимир РАДЧЕНКО  
Ольга РЫЧКОВА  
Александр СОКОЛОВ  
Борис ТАРАСОВ  
Елена ТАХО-ГОДИ  
Олег ТОЛКАЧЕВ  
Игорь ШАЙТАНОВ

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,  
заведующий отделом поэзии  
**Валерий ДУДАРЕВ**

главный художник  
**Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ**

заведующая отделом критики  
**Анна КОЗЛОВА**

ответственный секретарь  
**Ярослав ЛИТВИНЕНКО**

заведующий отделом культуры  
**Александр МАХОВ**

заместитель главного редактора,  
заведующий отделом прозы  
**Игорь МИХАЙЛОВ**

главный консультант  
**Эмилия ПРОСКУРНИНА**

заведующая отделом  
публицистики  
**Екатерина САЖНЕВА**

консультант главного редактора  
**Евгений САФРОНОВ**

директор по развитию  
**Светлана ШИПИЦИНА**

**ПОЭЗИЯ / ТЕМА НОМЕРА**

**ХЛЕБНИКОВ — ЭТО КРОТ!** «Ладомир» в Казани и Елабуге...3

Лилия ГАЗИЗОВА...3 АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН...4 Нури БУРНАШ...6 ВЕРА ХАМИДУЛЛИНА...8  
 Наиль ИШМУХАМЕТОВ...9 Алена КАРИМОВА...10 Глеб МИХАЛЕВ...11  
 Игорь ТИШИН...12 Евгений СТЕПАНОВ...14 Андрей КОРОВИН...15  
 Андрей НОВИКОВ...17 Елена ПЕСТЕРЕВА...18 Ганна ШЕВЧЕНКО...19  
 Наталия ЕЛИЗАРОВА...20 Аркадий ПЕРЕНОВ...21 Сергей БИРЮКОВ...22

**ПОЭЗИЯ**

Александр М. КОБРИНСКИЙ ..... 56

**ПРОЗА**

АЛЛА ДУДЧЕНКО  
**ДВА РАССКАЗА** ..... 68

Елена САЗАНОВИЧ  
**ГАЙДЕБУРОВСКИЙ СТАРИК** Роман (продолжение) ..... 101

**ШУМ ВРЕМЕНИ**

Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ  
**ЕЛКА В КАРПАТАХ** Воспоминания ..... 25

**ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА**

Лев АННИНСКИЙ  
**КЛАСС КЛАССИКИ** ..... 55

**КАК БЕДЕН НАШ ЯЗЫК!**

// **Пожалуйста, говорите по-русски!** //  
 Марианна ТАРАСЕНКО  
**СТАТЕЕЧКА ПРО СУФФИКСИКИ** ..... 61

// **Беседы в беседе** //

Петр ПУСТОВАЛОВ  
**О СТРУКТУРЕ ТЕКСТА** Беседа первая ..... 63

**БИБЛИОТЕКА ПЕРЕВОДА**

**ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ ИЗ ВЕКА В ВЕК**  
 Вступление С. Гловюка и А. Навроцкого ..... 80

**БЫЛОЕ И ДУМЫ**

Михаил МОРГУЛИС **СНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ,**  
**ИЛИ ПОЛУЗАБЫТЫЕ СНЫ** Воспоминания (продолжение) ..... 123

**ИНОЗЕМНЫЙ СЮЖЕТ**

Томас Бейли ОЛДРИЧ  
**МАЛЕНЬКИЙ СКРИПАЧ** Перевод Евгения Никитина ..... 130

**КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ**

Юлия ГИАЦИНТОВА о книге В. Шаханова «Этаж» ..... 134  
 Наталья АРБУЗОВА о книге Г. Гордона  
 «Осеннее равноденствие» ..... 135

**ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС**

Татьяна БОЛЬШАКОВА г. Торжок ..... 137  
 Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга ..... 140

**В КОНЦЕ КОНЦОВ**

// **Детектив на ночь** //  
 Валерий ИЛЬИЧЕВ  
**АГЕНТУРНЫЙ РОМАН** (продолжение) ..... 142

// **Зеленый портфель** //

Раф СОКОЛОВСКИЙ  
**БЕЗ АИСТА** Ностальгический рассказ ..... 146

// **«До востребования»** //

Галка ГАЛКИНА  
**ИЛИ МЫ ЭТУ КУРВУ, ИЛИ ОНА НАС** ..... 149

// **VERIORA VERIS** //

Шалун ГЕО — человек-паук из-под ямы (оркестровой)  
**ЭТОТ МАЙ — ЧАРОДЕЙ: СОЗЫВАЙ ЛЕБЯДЕЙ!** ..... 150

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

по Белгородской области

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Заведующая отделом распространения

Ульяна ТКАЧЕНКО

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,  
 д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность предоставленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ГУП Академиздатцентр

«Наука» РАН,

ОП «ПИК «ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,

Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 974-69-76

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



От редакции

## ХЛЕБНИКОВ — ЭТО КРОТ!

«ЛАДОМИР» в КАЗАНИ и ЕЛАБУГЕ

«Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие...» — писал Осип Мандельштам, обозначив огромное влияние поэта на развитие всей русской поэзии. Все без исключения выдающиеся поэты XX века отдали дань уважения поэзии, теории, взглядам Хлебникова.

Вечный странник Хлебников нигде не задерживался подолгу. Лишь в Казани он провел наиболее длительный период своей жизни — около десяти лет. Поэтому не случайно, что в именно в Казани, где «пересекаются параллельные», мирно уживаются «разное и разные», появился Хлебниковский фестиваль «Ладомир».

В рамках фестиваля, который проходил с 12 по 15 апреля, состоялись круглый стол «Самовитое слово в XXI веке», творческие встречи и презента-

ции, были представлены новые номера журналов «Юность», «Современная поэзия», а также подведены итоги конкурса на лучший перевод поэзии Велимира Хлебникова на татарский язык.

В музее Василия Аксенова открылась выставка поэта и художника из Улан-Удэ Аркадия Перенова. Не менее насыщенной была и культурная программа: пешеходные прогулки по историческим местам Казани и Елабуги, экскурсии и многое другое.

Но главное, в Казани и Елабуге звучали стихи поэтов, которые чувствует свое кровное родство с Велимиром Хлебниковым.

Фестиваль состоялся. Состоялся на Пасху. Хлебников Воскрес — Велимир Хлебников: ХВ — ВХ!

Представляем вашему вниманию стихи участников Хлебниковского фестиваля.

Лилия ГАЗИЗОВА



*Лилия Газизова родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт им. Горького (1996).*

*Шесть лет проработала детским врачом.*

*Публиковалась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Юность», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Литературной газете» и других изданиях.*

*Автор нескольких книг стихов. Первая книга, «Черный жемчуг», опубликована в начале 90-х с предисловием А. И. Цветаевой.*

*Составитель ряда антологий русской и татарской поэзии Татарстана.*

*Лауреат литературной премии им. Г. Державина (2003), премии им. А. Ахматовой журнала «Юность» (2011), дипломант всероссийского конкурса им. А. Боровика («Честь. Мужество. Мастерство»). Член Союза российских писателей. Автор проектов и организатор международного поэтического фестиваля им. Н. Лобачевского (Казань) и международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир» (Казань — Елабуга).*

*Ныне — руководитель секции русской литературы и художественного перевода Союза писателей Татарстана. Президент Фонда творческих инициатив «Канафер».*



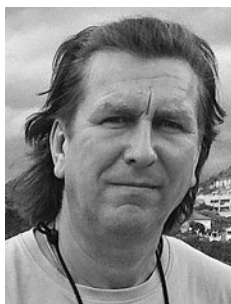
### Люди ФЕВРАЛЯ

Люди февраля  
 Нежны, ранимы  
 И подвержены меланхолии.  
 Они покупают ирисы и сушат их  
 Между страницами  
 Толстого журнала.  
 Их легко узнать в любой кофейне:  
 Они одеты в синее и лиловое  
 И выбирают столики в углу.  
 Они в душе слоны и белки.  
 Иногда веселье в их февральских душах  
 Соседствует с усталостью.  
 Они покупают билеты  
 В один конец...  
 Их первая остановка — апрель...

### НАСТРОЕНИЕ

Стать стрелкой на часах  
 Казанского кремля  
 Клавишей Delete  
 Мирового компьютера  
 Выскальзывающим из рук  
 Дымчатым портсигаром  
 Западающей клавишей си-бемоль  
 Утренним бесцветным мраком  
 Всеми собаками мира  
 Очками Ehte на родной переносице  
 Безвольным сердечным клапаном —  
 Всем что угодно  
 Лишь бы не Лилией Газизовой

## Алексей ОСТУДИН



*Алексей Остудин родился в Казани в 1962 году. Учился в Казанском государственном университете, на Высших литературных курсах при Литературном институте. Публиковался в журналах «Смена», «Студенческий меридиан», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», альманахе «Истоки», газетах «Труд», «Литературная газета» и «Литературная Россия». Выпустил семь книг стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы и Казани: «Весеннее счастье» (1989), «Шалаш в раю» (1990), «Улица Грина» (1993), «Бой с тенью» (2004), «Рецепт невесомости» (2005), «Проза жизни» (2007) и «Эффект красных глаз» (2011). Живет и работает в Казани.*

### АЛЬБА

Свет застыл в облаках и не режет зрачки  
по причине погоды несносной.  
Будто падают яблоки, сердце стучит  
в самой гуще ветвей кровеносных.

Рассекаешь, как совесть партийная, чист,  
по проспекту, но мысленно тискай  
только паб — на зубок заказав фиш энд чипс,  
на глазок — свежевыжатый виски.

Вдоволь Темзы аббатства расставь по местам,  
где забегался дождичек мятный.  
Если эго твое не влезает в стакан —  
суповая тарелка приятней!

Здесь ирландский «инь-ян» и шотландское «ню»  
угнезились в ночном водевиле —  
потому что хот-доги, пуская слюну,  
застревают в зубах Пиккадилли.

Пусть отчаялся пряный посол в СССР  
объясняться с завлабом на пальцах...  
Там спагетти дождя, а у нас — тертый сэз,  
значит — время в окопах брататься.

### КАРТЫ И ГОЛУБИ

Мне в мартини достаточно горькой латыни и — баста!  
Балтасар, Мельхиор и Каспар — гондольеров зову...  
Невесомые голуби гальку клюют для балласта  
и на площадь Сан-Марко приносят в тяжелом зобу.

Проплывают дворцы вдоль канала витриной пирожных,  
ванькек-встанек картежных, в воде от макушки до пят.  
Мэстро встречи — нельзя, как и нас изменить невозможно,  
потому что гостиница с тонким названием «Пьяв».

...а теперь мост Риальто, как карточный веер, горбатый!  
Подмигнет куртизанка, но мне ворковать не с руки:  
пусть Андрей Родионов и Марк Шатуновский поддатый  
инстинктивно преследуют горлицу с острова Кипр.

Ты полюбишь, хорошая девочка, пляжи на Лидо!  
Просыпаясь с тобой на муранском стеклянном снегу,  
обрету ипостась полосатого идола либо,  
наглотавшись камней, улететь никуда не смогу!



## Нури БУРНАШ



*Нури Бурнаш (Искандер Абдуллин) родился в 1975 году. Казанский литератор. Осмысленно рифмует с тринадцати лет благодаря/вопреки письменному благословию Е. Евтушенко. После этого инцидента мэтров отечественной словесности своей персоной не беспокоил. Многим обязан руководителям литературных студий — Н. Беляеву, М. Зарецкому, Р. Перельштейну. Окончил филфак КГУ, финансовый институт. С тех пор в мировую науку по возможности не возвращался. Возглавлял литературно-философское общество «Altera parsъ» при КГУ (1993–2000), творческий союз «Колесо» (2001–2009). В дальнейшем крупных руководящих постов не занимал. Активно-хаотическое участие в поэтической жизни родного города сменил на пассивно-созерцательное — похоже, единственный поступок, сделанный вовремя. Состоит в Союзе российских писателей — без особого ущерба для последних. В настоящее время с удовольствием мучает русской литературой студентов первого курса Казанской консерватории. Женат, воспитывается дочерью. Автор двух поэтических книжек — «Двадцать одно» (1997) и «Графика» (2009), а также эклектичного букета публикаций в российской и зарубежной прессе.*

**ШАМБАЛА**

Мы, жители Шамбалы, тайной страны,  
мельчаем в панельных ашрамах, но сны  
нас делают выше;  
мы сами себе не рабы, не цари,  
а царь наш — Сучандра, как мы говорим,  
пока он не слышит.  
В часы медитаций уйдя далеко,  
брахманы постигли, что нет ничего  
прекрасней свободы, —  
и, видя с мигалкой кортеж колесниц,  
кричим «Харе Кришна!» и падаем ниц  
теперь уже гордо.  
Им, неприкасаемым, чернь застит взор.  
Надсадно Сансары скрипит колесо,  
вращаясь на месте.  
Репризой не вытянуть старый сюжет,  
ведь ставит до боли родной шамбалет  
наш шамбалетмейстер.  
Давно уже черви проели закон —  
одну камасутру мы помним с пелен,  
зато досконально.  
Когда же нас ночью теснит пустота,  
целительный чай отверзает врата  
и гонит печаль, но  
едва ли поможет священный отвар,

когда на заборе поверх старых мантр  
лишь новые мантры.  
Утрачено все искусство письма:  
искусственным мозгом забиты дома  
по самые чакры.  
Луч солнечный редко доходит сюда,  
и часто такие стоят холода,  
что ежатся йоги.  
К нам путь переменчив и скользок, как ложь,  
а если случайно ты нас и найдешь —  
не вспомнишь дороги.

### ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Президент Российской Федерации Владимир Пу...  
Премьер-министр Российской Федерации Владимир Пу...  
Президент Российской Федерации Владимир Пу...  
Пу...  
Пугачева призналась, что она уже давно...  
...рации Владимир Путин в рамках официал...  
Никогда еще Ксения Собчак не показывала себя с этой стороны...  
...Патриарх Московский пережил католикос.  
Обнаружено неизвестное устройство. Установить?  
отмена  
Обнаружено неизвестное устройство. Установить?  
отмена  
...ном Гурбангулы Бердымухамедовым и имел...  
Гурбангулы Бердымуха...  
...горящие в Испаниию  
...горячих девочек? Нет... горячих девочек? Esc... горячих...  
400 новых проверенных способов поху...  
Установить неизвестное устройство на ваш компьютер?  
Отмена.  
...восходительством Президентом Туркменистана господи  
Как минимум, тай-брейк она себе обеспечила.  
Семен Сидорчук признался, что он не Семе...  
Срочно! Двуглавый тандем просил не упоминать его имени в СМИ  
Срочно! Двуглавый тандем просил не упоминать его имени в СМИ  
Срочно! Двуглавый тандем просил не упоминать его имени в СМИ  
Всеу  
Великая китайская стена на самом деле оказалась сделанной в...  
Подождите, идет установка неизвестного устройства на ваш...  
отмена.  
Баскову заплатили, чтобы он больше не...  
Сенсация! Ходорковский возвращает похищенную нефть!  
в Балтасях опять нашли массовое захоронение серийных...  
Срочно! Горох больше не считается афродизиако...  
см. Путин в картинках. Вы действительно хотите выйти?  
...и связей между нашими трудолюбивыми...



...насильно увеличил ей грудь.  
 Рейтинг Путина в падении уронил твиттер Медведева  
 ...традиционно теплые, радушные и взаимовыгодные, что...  
 Уголовную ответственность за двуперстное крещение...  
 Поздравляем. Определенное устройство успешно установлено!

## Вера ХАМИДУЛЛИНА



*Вера Хамидуллина — поэт, переводчик (Набережные Челны, Республика Татарстан). Родилась в 1960 году в городе Краснотурьинске Свердловской области. Окончила Казанский государственный педагогический институт. Заместитель главного редактора литературного альманаха «Аргамак-Татарстан».*

*Автор восьми поэтических сборников. Вошла в состав группы переводчиков по подготовке антологии татарской поэзии из серии «Поэзия народов кириллической азбуки. Из века в век» (2010). Награждена знаком «Серебряное перо Руси».*

*Член Союза российских писателей с 2008 года, Союза писателей Республики Татарстан с 2010 года, Союза писателей XXI века с 2012 года.*

\* \* \*

Перунострунные потоки —  
 Из-под пера струятся строки.  
 Звенят, подобно зинзиверу,  
 поюны, смелые без меры.  
 Из века в век несут потомкам  
 слова смысл тайный, точный, тонкий...  
 Слова цыганствуют по миру  
 за Хлебниковым Велимиром...

\* \* \*

Рябые рыбы тралятся не вдруг!  
 Под океановодною волною  
 они захлебываются глубиною,  
 они задерживаются под Луною...  
 Когда серпатая прочертит круг,  
 приливно-отливной закон наук  
 сработает, сомкнувшись надо мною...



---

## Наиль ИШМУХАМЕТОВ



*Наиль Ишмухаметов — поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии. Родился в 1964 году в городе Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова по специальности «инженер-электрик». Трудовую деятельность начал в том же году на Магнитогорском металлургическом комбинате в цехе горячей прокатки. В 1994 году переехал на постоянное место жительства в Казань. В настоящее время работает в редакции журнала «Идель». Женат. Отец двоих детей: дочь — студентка МГИМО, сын — студент Академии русского балета им. А. Вагановой.*

*Лауреат премий им. Марка Зарецкого (2004), им. Сергея Малышева (2010), им. Сажиды Сулеймановой (2011), участник семинара писателей и переводчиков Поволжья (2007), «Аксенов-феста» (2008, 2010), полуфиналист (лонг-лист) конкурса «Заблудившийся трамвай» (2007–2010) и независимой премии «П» (2010). Стихи, рассказы и переводы печатались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Север», «Литературная газета», «Контрабанда», «День и ночь», «Казанский альманах», «Идель», «Казань», «Аргамак-Татарстан», «Салават купере», «Маданижомга», «Татарский мир», «Татарские края». Стихи переводились на татарский и украинский языки. Член Союза писателей Республики Татарстан (2009).*

\* \* \*

Ты могла бы родиться колонной и жить припеваючи где-нибудь в ханском дворце,  
восхищенные возгласы слушать увидевших твой силуэт на парадном крыльце.

Минаретом родиться могла бы, несущим прозревших слепцов за границы всевластного страха,  
по утрам возносить муэдзинов, напевным азаном ласкающих ухо аллаха.

Ты могла бы... но ты уродилась рабыней-прислугой-трудягой — котельной трубой,  
замерзающий город всю зиму следил с замиранием — все ли в порядке с тобой.

Коротка, словно память, июльская ночь —  
вот и ты позабыта и каждым кирпичиком чувствуешь — небо коптила зазря,  
на притихший проспект из трахеи чахоточной хлынула горлом заря.

\* \* \*

По заросшим слезами отцовским зарубкам на соснах  
ты крадешься на ощупь, марая ладони тягучей живицей,  
а тропинка юлит, натываясь на трубы артерий насосных,  
иглокожим ужом норовит под цинковку тумана забиться.



Сколько тропке в тумане ни виться, конец тривиально-внезапен,  
он всегда совпадает с началом подземных полетов...

Должно быть

где-то в точке последней росы  
в предрассветном последнем ознобе  
над тобой кольцевого затмения подсолнух покатит на запад.

Равнодушный холодный цветок унесет победившие боли,  
на земле оставляя земное — опавший послед — и не боле...

## Алена КАРИМОВА



*Алена Каримова — поэт, переводчик. Родилась в 1976 году. Окончила физфак Казанского университета и Высшие литературные курсы в Москве. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Юность», «Иерусалимский журнал» и других. Автор книги стихов «Другое платье» (2006), за которую в 2007 году получила Казанскую литературную премию им. Горького. Участница Фестиваля современной поэзии имени Бориса Чичибабина (Украина, Харьков, 2006), Международного биеннале поэзии в Валь-де-Марне (Франция, Париж, 2009) и других. Неоднократная участница форума молодых писателей в «Липках». Стипендиатка Министерства культуры РФ (2005, 2010). Живет в Казани.*

\* \* \*

Засияет тонкая тишина —  
так скорей ее изгонять идут:  
телевизор брешет, орет шпана,  
за окном застрявших машин редут.  
И сигналият, сволочи, от тоски,  
что дороги нету и нет пути, —  
а зато друг другу теперь близки  
«в этой пробке сраной»,  
как ни крути.  
И бабай с обочины:  
«Поделом!  
Наплодились лишку!»  
и перейдет  
в запрещенном месте,  
а тот, о ком, —  
лишь погромче радио повернет.  
Проницая снег ветровым стеклом,  
ни о чем не думая вообще,  
потому что думать —  
смешно и влом,

---

день за днем  
и жизнь проскользнет вотще.  
Но любезны мне тишина и тень —  
не спугни их,  
ласковый мой народ, —  
возвожу забор и плету плетень —  
не входи в мой маленькой огород.

\* \* \*

Я не могу писать никому, читать никому,  
а потому подойди, я тебя обниму —  
ни у кого не сумею тебя отнять,  
только обнять, понимаешь, только обнять...  
Откочевать к зимовью, упасть в меха —  
в шкуру зарыться волчью лицом сухим,  
пусть от людей подальше, как от греха,  
пусть...

---

## Глеб МИХАЛЕВ



*Глеб Михалев родился в 1967 году в Юрге. Окончил физический факультет Казанского государственного университета. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый берег», «Октябрь», коллективных сборниках. Живет в Казани.*

\* \* \*

вот у меня сегодня — конфеты  
пряники да чаёк  
а небо — ложится на минареты  
словно на гвозди — йог  
это кто уж к чему привык — к дороге  
к сумеркам, к леденцу за щекой...

а у неба по пузу — ходят боги  
типа — массаж такой

\* \* \*

...и вот когда уже ходишь никого не любя, да и сам, собсно, никому не нужен,  
пространство понемногу перетекает в тебя и внутри становится более, чем снаружи.  
более света и тьмы, пива и консервированных сардин,  
и отпрысков рода человеческого со всеми его коленами...

да умираешь-то вовсе не от того, что совсем один  
а просто сам превращаешься во вселенную



## Игорь ТИШИН



*Игорь Тишин родился в 1990 году в городе Чистополе, Республика Татарстан. Писать стихи начал с раннего детства. В 2007 году поступил в Казанский государственный университет на факультет журналистики и социологии. Публиковался в самиздатовских журналах, журнале «Идель», газете «Казанский университет» и на сайте литературного проекта «Дорога 21». Автор сборника стихотворений «История болезни». В начале 2009-го провел свой первый сольный концерт в казанском музее им. М. Горького в рамках цикла «Театр текста». Руководитель ЛИТО «Бутылка Клейна».*

**Желтый платок**

у меня подружка есть  
невозможно глаз отвести  
желтый платок, золотая прядь

мы с ней любим гулять, гулять  
по безлюдным дворам, дворам  
по поздним по пасмурным вечерам  
держаться за руки, отводить глаза  
не ревнуй меня к юльке, ты красивая, а она коза

у нее в семье страшные творятся дела  
у нее было двое бабушек, одна умерла  
вторая пропала, заявили в милицию, не нашли  
как прыщик, исчезла с лица земли

нашли только очки ее и клюку

у нее было двое дедушек, теперь их нет  
один за другим отправились на тот свет

любимая, желтый платок, голубой вельвет  
нужно быть начеку

смерть поджидает на каждом шагу

у юльки есть братик и мама с отцом  
она вроде держится молодцом  
только звякнуло что-то в ее груди  
точно последняя порвалась струна  
но самое страшное вроде бы позади  
никогда не вернуться те скорбные времена

раньше мы с юлькой гуляли допоздна, допоздна  
напивались допьяна, допьяна  
а когда мы ходили под полной луной

мне мерещились крылья у нас за спиной  
я думал, она будет вечно со мной

мы расстались с ней прошлой весной

она ушла к другому, а я — к тебе  
золотая прядь в жестяном сентябре  
желтый платочек, мелькающий в темном дворе  
вода дождевая на нижней губе  
огонек путеводный в моей  
непроглядной судьбе

а юлька коза  
не ревнуй пожалуйста к ней

### ДВЕ ЖИЗНИ

города мелькают, как неоновые вывески мелькают  
как прохожие по тротуарам вышагивают, мелькают  
как темные типы воркуют у парка, мелькают  
пристают, отработывают, отпускают

и плетешься, как главный герой, с разбитой губой  
тьма обволакивает, поезд пронесется под тобой  
деревья молчат, как присяжные заседатели, ведут тебя на убой  
в дом с ржавой крышей, слепенькими окнами, дымоходной трубой

где пахнет бабушкиным потом, папиными сигаретами, носками  
где есть темный чулан с выкрученной лампочкой и пауками  
а мама сидит, проверяет тетрадки и, когда отворачиваюсь, плачет

а то и еще дальше, в утробу, начиная с фразы «у вас будет мальчик»  
начиная с перестроечной ночи, неумелых толчков, поцелуев, слов  
фильма «Челюсти», лампового советского телевизора, настенных часов  
с маятником, вот и бедность пришла, заходи, заходи, не церемонься  
раскрой свою пасть с гнилыми зубами, присаживайся, знакомься

это объедки, а вот моя набожная слепнущая мама, а жена, как всегда  
на работе, придет после восьми, уставшая и спокойная, как вода  
чувствуй себя как дома, трогай порванные обои, облизывай провода  
я не сопротивляюсь, что ты, теперь, как ни крути, твоя череда

насмехаться надо мной, ночи и дни напролет проводить со мной  
потрогай меня, щетину, выпирающие ребра, сочащийся гной  
морщины, морщины, рытвины, шрамы, веки, дождь проливной  
я пью беспробудно, мочусь на кровать, представляю, будто я Ной

ковбой, космонавт, лично товарищ Сталин, Раскольников, вечный жид  
тише, прислушайся, знаешь, что это? это душа дрожит



## Евгений СТЕПАНОВ



*Евгений Степанов — поэт, литературовед, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Арион», «Вопросы литературы», в «Литературной газете» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов, опубликованных в России, США и Болгарии. Живет в Москве.*

### Город

*Лиле Газизовой*

вот город он похож на город  
в котором протекает ра  
филипп бедросович киркоров  
здесь не проходит на ура

вот город здесь лежат нагие  
среди полонянок басмачи  
и неевклидовы прямые  
пересекаются в ночи

молчи печаль дочь инчучуна  
смотри кумыс течет первач  
я сам потомок чуткий гунна  
сын полонянки но басмач

я сам и гога и магога  
султан иван и солomon  
мечеть и храм и синагога  
сумели взять меня в полон

вот город я иду по кромке  
судьбы — шагаю налегке  
а рядышком идут потомки  
сююмбике

### Ты

пожалеешь простишь и как водится  
я открою сухое вино  
и судьба как великая сводница  
улыбнется смотря нам в окно

пожалеешь меня бесталанного  
не железного — правда не танк  
я тебе почитаю Губанова

---

я-то сам о любви не мастак  
и слезу я замечу негромкую  
на челе непорочном твоём  
и какой-то сверхпрочной тесемкою  
свяжет Бог наши души узлом

---

## Андрей КОРОВИН



*Андрей Коровин — поэт, критик, руководитель культурных программ. Автор поэтических книг «Поющее дерево» (2007), «Пролитое солнце» (2010), «Растение-женщина» (2012) и других. Стихи публикуются в литературной периодике России, Украины, Германии, Дании, Финляндии, США и других стран — в журналах «Арион», «Дети Ра», «Дружба народов», «Новый мир», «Сибирские огни» и многих других, вошли в современные поэтические антологии, переведены на армянский, белорусский, грузинский и румынский языки. Руководитель литературного салона «Булгаковский дом» (Москва), инициатор и руководитель Международного литературного Волошинского конкурса, Международной Волошинской премии, Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь» (Коктебель), Международного Гумилевского фестиваля. Награжден дипломом Творянина «За поддержку современной поэзии и развитие культурных связей России и стран СНГ» (Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир», Казань, 2012). Живет в Москве.*

### ДЕТСТВО НА ОКЕ

я помню этот лес  
грибы деревья  
маслята ельник  
вот отец а вот я  
июль в зените  
месяц в рукаве  
отец кричит  
— ну что?  
— опять масленок!  
масленок тоже в сущности ребенок  
а кто это там прячется в траве

но очень скоро выйдем мы из леса  
там пруд не понимает ни бельмеса  
блестят на солнце рыбы караси  
и мы на этом зеркале пейзажа  
где темпера и глушь  
и тишь и сажа



и деревенька  
Господи спаси

и дальше мы идем с отцом куда-то  
в руке отцовской удочка зажата  
в затонах окских ждет подкормку лещ  
скажи скажи  
ты жив еще ворюга  
узнаемся ль  
увидевши друг друга  
жизнь движется стремительней чем речь

ах лечь бы в речь отдав себя течению  
когда вся даль небес открыта зрению  
и ты плывешь всевидящ как река  
в твоих руках уже играют рыбы  
и вот за это Господи спасибо  
что в звездном небе  
движется Ока

#### **ОКСКИЕ ПРЕДАНИЯ: ПОКА МЫ СПИМ**

и выходит из леса лось  
и пока мы спим говорит  
вот живу я здесь — чисто лось  
а душа у меня — болит

и выходит из леса еж  
и пока мы спим он идет  
сквозь туман сквозь кусты и дождь  
в потайной свой хрустальный грот

и выходит за ним кабан  
и пока мы спим тычет нос  
то ли голоден то ли пьян  
видно туго ему пришлось

и пока мы спим на земле  
в семьярусных облаках  
просыпается старый лес  
вся планета в его руках

и пока мы спим наяву  
и пока мы спим день за два  
лес меняет как кровь траву  
голубая растет трава

и выходит из леса лес  
и пока мы спим он плывет



---

он плывет посреди небес  
он плывет как воздушный флот

мы проснемся а леса нет  
мы проснемся и горя нет  
и стоит кругом белый свет  
самый белый на свете свет

---

## Андрей НОВИКОВ



*Андрей Новиков — поэт, редактор. Родился в городе Дзержинском Московской области. Окончил исторический факультет МОПИ. Один из основателей литературной группы «Рука Москвы». Главный редактор журнала «Современная поэзия». Организатор Международного фестиваля поэзии «Порядок слов» (Минск). Редактор портала «Литафиша».*

\* \* \*

Подсудимому всегда полагается  
последнее слово.

Приговоренному —  
последнее желание.

Самоубийца на себя полагается,  
когда умереть есть большое желание.

Почему-то проще сказать: «Прощай!»,  
Будто слов на свете не бывает других.

...иногда только думаешь:  
«Вот бы научились прощать  
и себя и других...»

\* \* \*

минотавр давно убит  
жертвы квиты  
есть другие у судьбы  
лабиринты

ночью выйди — посмотри  
ясно тихо  
спит спокойно остров крит  
нету психа



только память не умрет  
 кровь не стынет  
 посмотри на небосвод  
 он не синий

где луны латунный гвоздь  
 вбит нелепо  
 золотые зубы звезд  
 в пасти неба

## Елена ПЕСТЕРЕВА



*Елена Пестерева родилась во Львове, живет в Москве. Окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Стихи опубликованы в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра», «Байкал» и других.*

\* \* \*

Даже глаз не откроешь, проснувшись.  
 Будешь слушать в рассветной тоске,  
 Как гремят и грохочут снаружи  
 Разным мусором в грузовике.

Все не нужно, не важно, не страшно,  
 Если правда потом умирать.  
 Сколько ж в людях отваги бумажной,  
 Чтобы мусор пойти убирать.

Там, наверное, небо сереет.  
 Ничего не видеть из-под век.  
 Это первое тонкое время,  
 И его не хватает на всех.

\* \* \*

какой волшебной жизнью жили  
 читали книжку про Луну  
 пекли коврижку полог шили  
 где рыбы круглые по дну  
 сидели птички-невелички  
 карниза ниже выше глаз  
 и амадины ли синички  
 малиновки будили нас

---

и звонко тренькала посуда  
вся в розовом луче насквозь  
когда рассеянное утро  
в невероятный раз сбылось  
как сладко плакалось и пелось  
во сне спросонья перед сном  
как будто милостивый мелос  
орфей с морфеем вносят в дом

---

## Ганна ШЕВЧЕНКО



*Ганна Шевченко родилась в городе Енакиеве Донецкой области. Пишет стихи, прозу, пьесы. Публиковалась в литературных журналах «Арион», «Дружба народов», «Журнал ПОэтов», «Зинзивер», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новая Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и других изданиях, а также в сборниках и антологиях поэзии и короткой прозы. Автор книг «Подъемные краны» (2009) и «Домохозяйкин блюз» (2012). Лауреат международного драматургического конкурса «Свободный театр» в номинации «Экспериментальный текст для театра».*

### Домохозяйкин блюз

Когда зажигаешь на кухне свет, то становится ясно,  
где лежат салфетки, где брошено полотенце.  
Можно запрыгать от радости, можно запеть чуть слышно  
домохозяйкин блюз под шумок кастрюльный.

сколько воды из крана течет под камень  
сколько воздушных масс над плитой клубится  
сколько огня под старой сковородою  
сколько земли в цветочных горшках твердеет

И уже не боишься, что кто-то крадется сзади,  
и совсем не пугает тот, кто в углу за дверью.  
Потому что темнота — это теперь не страшно.  
Потому что тьма — это когда лампочка перегорела.

\* \* \*

Я эту ткань не выбирала,  
меня к ней женщина пришила,  
она полдня меня рожала,  
затем в коляску положила.



А я лежала и смотрела,  
как мир баюкался устало,  
как грудь в халатике пестрела,  
как молоко в ней закипало.  
Ах, мама, мамочка родная,  
твои лекала неказисты,  
мне ткань досталась набивная,  
но напортачили стилисты.

Я вещь полезная для дома,  
я мою окна и посуду,  
я с миром моды не знакома  
и никогда уже не буду.

Ведь жизнь летит, и очень скоро  
я стану бабушкой корявой,  
меня, как выцветшую штору,  
в комод на тряпочки отправят.

## Наталья ЕЛИЗАРОВА



*Наталья Елизарова родилась в г. Кашире Московской области. Член Союза писателей Москвы. Студентка пятого курса Литературного института им. Горького. Автор сборника «Осколок сна» (2006) и публикаций в периодике. Участник международных фестивалей.*

\* \* \*

На прилавке биты, рапиры, кольца.  
Муж советует: «Милая, успокойся,  
У него игрушек уж полон дом!  
Я порою носки нахожу с трудом».  
Да, игрушек много, но суть не в этом,  
Он уедет к бабушке этим летом,  
А потом и школа, и первый класс.  
Видно, детство пытаюсь вернуть вещами,  
И свое немного, но возвращаю.  
Хоть на день, хотя бы на час.

\* \* \*

Я хочу забыть тебя, выбросить,  
Как изгой в рассказе выписать.  
Как остывшую воду выплеснуть,  
На свободу, как птицу, выпустить.  
Я хочу тебя выплюнуть, выдавить,

---

Я хочу твоё имя выкрикнуть  
Громко-громко раненой иволгой,  
Только хрип мой не слышен издали.  
Ты — мой сон, мой случайный вымысел,  
Нет и не было молодца, гой еси.

---

## Аркадий ПЕРЕНОВ



*Немного о себе... Родился в Барнауле Алтайского края. Вскоре родители вернулись в Улан-Удэ. В детстве среди любимых игрушек — Кай и Чиполлино.*

*Подростком несколько лет жил в Новосибирске. Ездил через весь город в фехтовальную школу.*

*В седьмом классе судьба свела с Владимиром Григорьевичем Дамаскиным, Человеком с большой буквы. К десятому классу литературу знал превосходно. Занимался несколько лет боксом. Но тренер Валерий Петрович понял, что я трусоват и бесперспективен.*

*Счастлив, что на моем жизненном пути произошло знакомство с нижегородскими рок-группами. В 98-м году вернулся обратно в Улан-Удэ. Ничего не написал о своих романах, детях. Об этом, пожалуй, как-нибудь потом...*

### Миро-31

Л. П.

В кровеносной системе наших татаро-монгольских ценностей  
Окна, распахи, пригорки, посвежевшие доли  
Синие как и должно тому быть  
...Таборы, ряды с елабужской рыбой, автобусы, машины,  
Очки Гудвина, зеленые как и надо их надевать  
Вижу бесстрашие твоё и достоинство  
Голос негромкий по телефону  
Девонство за морями и спичками чиркнутыми по нему.  
Летящее и смертельное скользом по побледневшему  
До нежности умопомрачающей так подходящей к твоему лицу.  
Пили чай откусывали понемногу улицы взбитые кремом  
Очень, очень быстрой весны  
Тонированные и колесующие  
Ушедшие и возвращающиеся дэвы  
Кувшины с легкими воспаряющимися дымами, оссанами к самому Отцу.  
Кази Корнуэлл и наша вроде подзабытая молодость  
Ода и слезы беспричинных радостей  
Некая и хватающая душу печаль



Я не оговорился, когда назвал тебя Гуттиэре  
 Полночи бродил и мечтал.  
 Ты же часть моего мира  
 В паровозных и кидающих в топку самих себя  
 Сгорающих абсолютно легко  
 Подхожу к Небесным Вратам и шепчу испуганно и свято  
 «Мин сине яратам».

### Миро-34

Л. П.

Вглядываюсь, помню, ощущаю себя в джазовых Мураками  
 Наливаю железнодорожную воду в стакан  
 Прощальную улыбку твою ощущаю  
 Плачу в электричке вечерней  
 Мой Татарстан.  
 Твои снега ветра и время  
 Холли дует в пролеты грачиных и черных дворов  
 Молодой Ленин на постаменте  
 Парение самолетов-ковров.  
 Слова любви гудящие в трапезных  
 В очках против солнца  
 Ты прилетела на скейте, Торвейг  
 Пялюсь в библиотеки оконца  
 «Мин сина каты иректем»...

## Сергей БИРЮКОВ



*Сергей Бирюков родился в 1950 году. Поэт, доктор культурологии, исследователь русского авангарда, творчества В. Хлебникова, основатель и президент Академии зауми. Автор более пятнадцати поэтических книг, изданных в разных странах, книги по истории и теории авангарда и русской поэзии XVII–XXI веков. Участник многих международных поэтических фестивалей.*

*Лауреат международной премии имени А. Крученых, Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады и др. Автор «Юности» с 1987 года. В настоящее время преподает в немецком университете имени Мартина Лютера, читает лекции в ряде российских и европейских университетов.*

### Скифы

приглядишься и невольно заметишь  
 скифского типа лицо

ого-го-го  
где-то на крымских ветрах  
опаленное  
перерезано изморозью  
дремлющего Алтая

наблюдай  
с какой невероятной скоростью  
движется  
на велосипедных колесах  
сквозь толщу лет  
сквозь зеркало осени  
сквозь тени лета  
сквозь снежную замать

с какой головокружной скоростью  
трансформируется тело  
готовое к прыжку  
готовое к винтовому движению  
готовое к сальто-мортале

медленно и стремительно  
разворачиваются эпохи  
стирая на своем пути  
города и тревоги  
или покрывая курганами  
масштабы географических карт

при первом приближении  
ты можешь не узнать прародительницу  
каменную бабу  
которая заплачет настоящими слезами  
алмазной твердости  
на могиле Велимира

### **В МУЗЕЕ ХЛЕБНИКОВА**

*А. А. Мамаеву*

когда бы вы сказали Велимиру  
что будет здесь музей  
он может быть спросил бы  
крошку сыру иль ложку щей

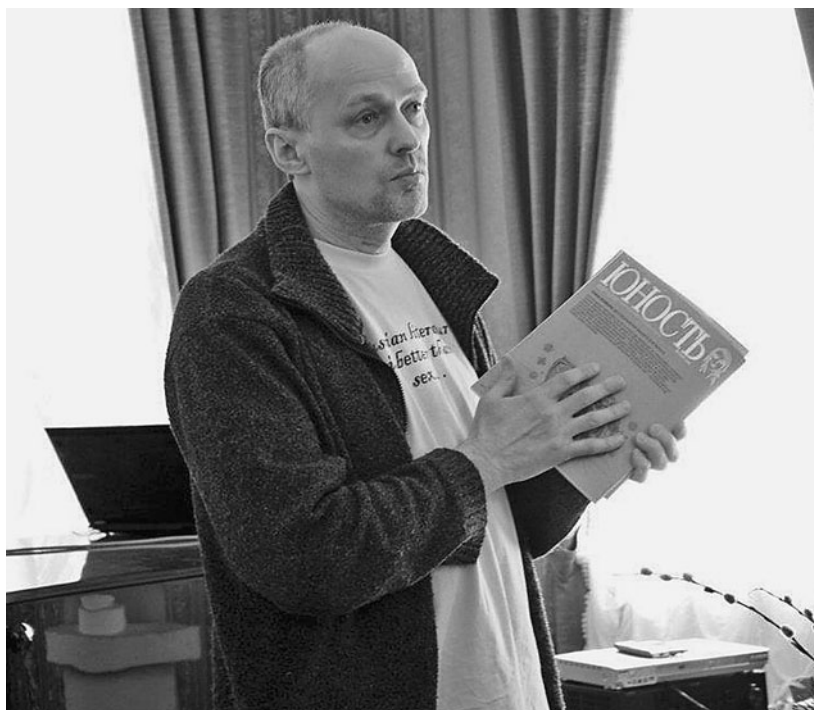
но есть музей и облик Велимира  
в кругу друзей  
и оживает и лепечет лира  
и зинзиверы вторят-творят  
ей



ты зинзивер ты грозная синица  
 кузнечик лепестков и солнцевер  
 возьми и это слово  
 пригодится в твоём пути  
 на поиск числоэр

о озари сияньем лебедиво  
 и да пребудет присно  
 Ладомир  
 да сбудется сим победиво  
 божественный твой мозг  
 о Велимир

*Произведения и информация  
 об участниках Хлебниковского фестиваля  
 любезно предоставлены Андреем Коровиным*



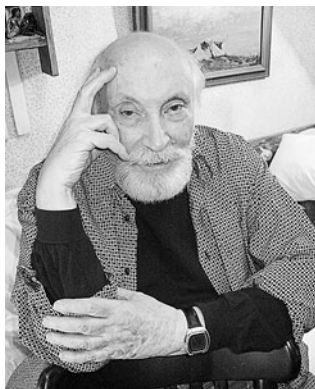
*Пушкинот млеющего полдня\* Игорь Михайлов — заместитель главного редактора журнала «Юность», автор бестселлера «Письма из недалека» — в Казани в музее Аксенова рассказывает правду о Хлебникове.*

\* «О, пушкиноты млеющего полдня!» — строка из стихотворения Велимира Хлебникова.





Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ



### От редакции

Предлагаем уважаемым читателям — особенно юному поколению — новую работу Михаила Борисовича Ливертовского. Вы можете также вернуться к прошлогодним номерам, а именно к таким публикациям, как «Партия для кларнета» и «Японо-зырянская любовь. Из воспоминаний бывшего лейтенанта», «Как я ехал жениться. Быль, похожая на сагу». Ведь когда читаешь Ливертовского — появляется вера в Россию, в доброту человеческую, а еще — беззаветная вера в собственные силы!

*Я инвалид Великой Отечественной войны. Незнакомые порой кличут «дедулей», но через пару слов мы с новым собеседником становимся ровней — независимо от его возраста и положения. Этому научила нелегкая, но интересная жизнь. Мне довелось обитать в разных городах и селах, встречаться с интересными людьми, многому учиться. Ну а Великая Отечественная война?! Ее прошел от Подмоскovie — через Смоленск, Сталинград, Украину, восточную Европу — до чешской Праги! И в войне с Японией — через пустыню Гоби, Хинган — до Порт-Артура! Офицером в Гвардейской танковой армии.*

*После я работал токарем на Пресненском заводе. В Торговой палате — художником-оформителем. Воспитателем в детском доме... И тридцать лет трудился на Центральном телевидении редактором, режиссером. А в последние годы — штатным сценаристом в литдрамвещании.*

*Печататься начал во фронтовых газетах. Позже не переставал сотрудничать с московскими изданиями, киностудиями.*

*Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.*

*Михаил Ливертовский*

*Мне шел только двадцать первый,  
А войне — уже четвертый год...*

*Всего четыре года, а кажется, что это —  
большая часть моей довольно долгой жизни...*

## Елка в Карпатах, или Короткая история с длинными ассоциациями

### Воспоминания

Эту историю я часто рассказывал своим детям в первые послевоенные годы. Каждый раз, когда зима заботливо укутывала снегом стынущую землю и своим морозным дыханием игриво наносила на оконные стекла затейливые узоры, а у нас в углу комнаты выростала маленькая пахучая елочка, украшенная самодельными игрушками, мои дети во главе шумной оравы соседских ребятишек вваливались в нашу

квартиру и хором требовали: «Елку в Карпатах!» И я снова рассказывал эту историю. Рассказывал каждый раз по-разному, в зависимости от настроения или обстановки. Дети меня, естественно, поправляли, сообразуясь со своей памятью, обогащенной безграничной фантазией... Рассказ обрастал новыми подробностями, становился метафоричнее — пока не превратился в рождественскую сказку. Я этому не



противился. Должно быть, потому что многие события военной поры в хмельном послевоенном воздухе Победы мне самому казались сказочными...

Но дети росли — меньше слушали, больше спрашивали.

Их «почему?» часто ставили меня в тупик. А такие вопросы, как «отчего ты того гауптмана не пристрелил?!», просто обескураживали...

Естественно, менялся с годами и я. Но память о тех днях чертовски цепко держит в своем плену. Казалось бы, и потом много всякого случалось: другие войны, смерти близких, тяжкие болезни и интересная работа, большая любовь, и главное — родились дети, внуки!.. Но те четыре года так крепко спрессовали боли и радости, страхи и надежды той поры, и...

\* \* \*

Когда бы и где бы я ни повстречался со своими друзьями-однополчанами, да даже с незнакомыми ветеранами той войны, всегда находится повод заговорить о тех днях, ночах. И мы сразу начинаем, захлебываясь, тонуть в воспоминаниях, на дне которых неизбежно обнаруживаются все новые и новые подробности ратной жизни. Она давно уже обросла, как ракушками, почти сказочными историями, превратившимися в легенды... Но мы до хрипоты боремся, отстаивая безымянные высоты своих представлений о событиях тех давно-давно минувших лет.

В запале каждый из нас легко перескакивает рвы и надолбы возражений товарищей, выпутывается из колючей проволоки несущественных деталей и быстро-быстро, будто боясь опоздать, устремляется к чему-то главному, постоянно от нас ускользящему. Часто нам приходится возвращаться на исходные позиции, чтобы — как бы это сказать поточнее? — перегруппироваться, что ли?! Новых сил набраться? Подобрать понадежнее оружие из неистощимых арсеналов нашей памяти?

— А помнишь?.. — выкрикивает кто-то, давая сигнал к новой атаке.

И мы в который раз форсируем Днепр.

— Помнишь?..

И позади остается весенняя распутица 44-го года на Украине.

— А помните, он (это значит — противник) как даст, как даст!..

И мы снова карабкаемся на высоту 190 и 7 (190,7 м) под ураганным огнем фашистов, решивших во что бы то ни стало отбросить нас за Прут с Ясского плацдарма...

И на этот раз мы не можем не вспомнить павших товарищей: комбата Маликова, разорванного в клоуца вражеским снарядом, наводчика Сашу Чернова, раздавленного вместе с пушкой... Мы товарищей



никогда не хороним в нашей памяти, а только укутываем тела погибших все в новые и новые подробности их жизни и гибели... Говорим, говорим, и против нашей воли, несмотря на крошечную даль тех дней, всех обволакивает неудержимая, вязкая, удушьяющая слезливость... Неизменно наступает гнетущая тишина, когда только и можно услышать, как «ребята» шмыгают носами и стараются проглотить застревающий в горле ком. А по морщинистым щекам расплзаются невыплаканные в те годы слезы...

— А помните елку в Карпатах? — неожиданно и весело, как всегда, воскликнул Еська-взводный. Он, должно быть, хотел вызволить нас из-под навалившихся тяжких воспоминаний. Но никто не смог сразу понять, о чем он спрашивает, и все стали растерянно переглядываться.

— Ну, елку? В Карпатах? На перевале? Что, не помните, забыли? — настаивал Еська.

Еська?! Мы как-то никогда не задумывались над тем, что он был старше всех нас, однополчан, и было у него достойное имя-отчество — Иосиф Иванович и фамилия — Казаков; он был дипломированным архитектором еще до войны; он был храбр, многое умел и многому мог научить... А мы его — Еська?! Может быть, оттого, что он был мал ростом (меньше всех в дивизионе) и архитектором был — «малых форм», как говорил о себе проектировщик киосков и закусных... Но скорее всего, потому, что этот, несмотря на солидный возраст, Еська-взводный (командир взвода артрязведки) умел пересказать любую военную перипетию как развлекательную прогулку.

— Все вдребезги, а мы!.. — часто говаривал он. — Все горит, все побито, а мы его (имелось в виду — врага)...

Иосиф Иванович ловко и всегда к месту извлекал из постоянно открытого сундука своей памяти веселенькие, почти анекдотические истории, да

так умел передать их, что казалось, будто войны той страшной и не было.

В этот раз мы не торопились встать на его легкомысленную тропу, настроение не располагало.

— Не помните? Ну, на горной дороге такой шикарный «мерседес», — не унимался Еська (он же Иосиф Иванович).

— «Хорх», — хмуро и резко поправил его не терпящий отклонений от исторической правды недавно защитивший докторскую диссертацию известный уже экономист.

— Ну ладно... «Хорх»! — легко миновал первое препятствие неунывающий Еська. — Да такой новенький, блестящий, на снегу выделялся — черный-черный. Так помните? Фриц сбежал, а елочку с игрушками мы отдали чешскому мальчонке. Он еще боялся брать, а мы говорим: «Не бойся, фриц не вернется», а малый плачет...

— Мальчишка не чех, а словак. И он не плакал. И немецкий капитан не убежал.

Товарищи сообща принялись уличать Еську в неточностях. Кто из преданности исторической правде, как экономист Сережа, простите, Сергей Буров; кто из педантизма, годами хорошо настоящего, как главный бухгалтер автобазы Петр Крикун, ценящий самую крохотную деталь — и, кстати, всегда говоривший тихо, спокойно, надежно укладывая каждое слово кирпичом в непробиваемую стену своих доказательств... Костя (Константин Петрович) Роднин (по-прежнему называемый давно знающими его товарищами «родненьким») — в прошлом батарейный шофер, ныне рабочий сцены, благо крепкие руки и коленки позволяют до сих пор работать в гастрольном театре, — стеснялся пространно высказываться в обществе экономистов, главбухов, режиссеров и архитекторов... Но опасаясь, что истина без его замечаний может пострадать, вставлял пару слов. Но, как ни странно, эти же самые слова, будучи документальными свидетельствами, моментально превращались архитектором Володей Вяземским и главрежем театра, где трудился «родненький», Феликсом Пашуканисом с помощью недюжинной фантазии и постановочного таланта в многоплановые творения, напоминающие диорамы Рубо!.. (Конечно же, в словесном воплощении.) Ну а Фахман Адам Наумович, до недавнего времени — директор технического колледжа, сумевший за свою долгую педагогическую практику приучить своих подопечных слушать только его, к тому же привыкший всегда и во всем быть правым, — здесь просто не смог удержаться... Останавливать Адама могла лишь его давняя, верная и чуткая спутница жизни Настасья Корнеевна. Когда она была уверена, что ее муж берет на себя лишнего, то, как захмелевшему, говорила:

— Адамчик, войди в берега...

Но Насти в тот раз не было с нами.

И Еська терпеливо выслушивал все, что говорил Адамчик, все, что не поленились говорить другие товарищи:

— Правда, словак. Точно: гауптман не убежал, — играючи принимал упреки взводный. — Да ты еще с ним долго разговаривал, — обратился Еся ко мне, словно в чем-то уличая. — О чем?!

Все дружно засмеялись и посмотрели в мою сторону. Подозревая, что Еська затеял какую-то свою игру, друзья приготовились к шутливому ответу, потому что вопрос Иосифа Ивановича очень походил на его обычные розыгрыши. Действительно, кто это способен через полстолетия вспомнить, о чем шел разговор с военнопленным на горной дороге во время мимолетной встречи?!

Но я вспомнил. Ведь так часто рассказывалось и думалось об этом... Снег. Ощущение его тяжести на плечах. Завывание летящих на нас снарядов и черные следы на снегу от разрывов. Беззащитная елочка... Вспомнились лица участников той встречи. Всплыло в памяти каждое сказанное слово. Даже интонации, с какими они произносились

Я хорошо помнил, как выглядели мои друзья-однополчане в те годы... Но, вглядываясь в их лица, зная хорошо, как ведут себя и мыслят мои друзья, сегодня я удивился тому, как не похожи они на тех... Ну, собственно, так и должно быть. Им сейчас в основном под девянство, а кое-кому и побольше лет...

Ох, время-времечко! Вечное и неутомимое, даром не то что минутки — мгновения не теряющее, а за годы уж чего с нами не наворожало!.. Казалось бы, что ему, вечному, мелочиться — с каждым из нас возиться? Ан нет... И почему-то отнеслось оно к нашему поколению очень уж не по-доброму. Будто за что-то мстило... Оно безжалостно, даже с каким-то сладострастием терзало наши тела и души. Время привело нас в мир земной в годы смуты, разора, голода, и с самого начала жизни многих из нас оно лишило не только маленьких детских радостей, крова, хлеба, но даже — родителей. Для этого зачем-то размашисто, поделив наших отцов на бедных и богатых, кулаков и батраков, тружеников и паразитов — на врагов и друзей народа, — заставило их биться друг с другом в кровь, насмерть... Именно тогда, когда мои сверстники делали только первые шаги в своей жизни и им очень нужно было опереться на добрую, надежную руку, ее часто не оказывалось... Оттого не одному из нас пришлось долго ходить на четвереньках и обучаться самым низменным способам борьбы за существование...

Вот Сергей Буров — так он совсем не знал своих родителей. Не знал своего имени-отчества, фами-



лии, откуда родом... О таких в то время сложилась частушка: «Я не мамкина, я не папкина, я на улице росла, меня курица снесла...» Он научился многому, чего позже стыдился. В стае себе подобных он скитался по чердакам, по подвалам, по базарам и вокзалам. Он обошел и объездил полстраны, чтобы найти, выпросить или украсть то, что можно было съесть. И этот способ жизни казался стае (ну, ему тоже) — единственным. Поэтому беспризорной ребятне приходилось мобилизовывать свои умишки и способности, чтобы увернуться, скрыться от милиционеров, покушавшихся на их разнузданную вольницу.

Но сколько веревочке ни виться... Милицейская группа, ведомая инспектором — опытным, еще до-революционным подпольщиком, — обложила, отловила ту стаю жертв времени. И дали пацану по кличке Серенький имя — по созвучию с кличкой — Сергей. Этот очень уж серенький пацаненок чем-то приглянулся инспектору по борьбе с безнадзорностью, и тот дал мальчишке свое имя для отчества — Владимирович, дал свою фамилию — Буров: усыновил бродяжку. Почему именно этого, когда через его руки, глаза и уши, через сердце, наконец, проходила такая уйма обездоленных малолеток? Он тогда не смог бы ответить. Позже, составляя для жены и Сергея легенду, он пытался объяснить, что подтолкнуло его к этому решению: «Представляете оборванцев, ерзающих, мечущих по сторонам ищущие взгляды; шантрапу, пожираемую то ли насекомыми, то ли нестерпимым желанием прорвать милицейское оцепление и бежать... И вот я вижу среди ртутно беспокойной стаи неподвижную фигурку, похожую на изваяние, схваченное патиной. Серенький-серенький мальчишка. Худющий до того, что кажется, будто истертая, дырявая, выдавшая виды одежонка висит не на его плечах, а на гвоздике; а над хламидой, словно приклеенная, серенькая головка — серенькие волосы, серенькие впалые щеки, которые подчеркивают тонкую полоску губ, казалось, никогда не размыкавшихся. Серые глаза... Я остановил на нем свой взгляд и долго не мог перевести его на другие лица, фигуры, по-своему очень примечательные. Смотрел, смотрел неотрывно в ожидании какого-то чуда... Как вдруг глаза у “изваяния” сбросили пелену — показалось, что рассеялся туман, уплыла тучка и открылась необычайной чистоты небесная голубизна. Она сразу поразила меня. Оторваться от этих глаз уже было просто невозможно...» — так говорил названный отец. Легенда понравилась его жене. Ей тоже нравился мальчуган. Его глаза. Материнское чувство, давно дремавшее в бездетной женщине, расплавил достаточно жесткое сердце верной соратницы большевика. Ее даже начало тревожить,

более того — пугать, когда очаровательные, зовущие и уводящие в радужную даль глаза Сереженьки затуманивались грустью. Возможно, это случилось потому, думала она, что Сержик неуверенно и уютно чувствует себя в их семье. Или еще не понимает, что с ним, вокруг него происходит... Но как радовалась названная мать, когда туман неуверенности, растерянности или обреченности рассеивался и на месте безысходности снова голубело смирение... «Нет-нет! — не соглашался с женой Буров-старший. — Смотри, как вон там, в самой глубине глаз, прорываются всполохи необузданного протеста! Совсем по-русски! А?» Это он говорил жене и вместе с тем хотел разогреть Сергея, казавшегося ему порой холодноватым. Нет. Названные родители сначала не поняли, что смирение и бунт только кажутся им, а на самом деле они должны были разглядеть в усыновленном пареньке спокойствие, твердость и надежность. Конечно, они эти качества со временем почувствуют, поймут. Потому что Сергей Буров будет обладать этими качествами всегда.

В общем, можно было считать, что обретшему себя как личность Бурову-младшему повезло.

Только... время не дремало и вклинило в исторический процесс «чистку партии большевиков». Это когда была объявлена проверка работы и поведения членов партии, проверка друг друга... Молодые коммунисты ленинского призыва, в основном рабочие и крестьяне, дружно взялись за проверку деятельности старых большевиков, речь и поступки которых путали и раздражали новобранцев. Молодые члены партии, еще читавшие в основном по складам, неуверенно писавшие, только-только научившиеся мыслить лозунгами, просто никак не могли взять в толк, как говорят и думают об идеях строительства нового общества, какие методы предлагают для построения этого общества старые большевики. Умничающих стариков во все времена не любили, а тут еще — на таком историческом этапе, когда нашему народу после тысячелетней спячки представилась возможность за пять лет построить социализм (светлую мечту всего человечества!), а если подналечь, постараться — то и в четыре года можно уложиться... Поэтому стариков просто называли путаниками, шатунами, а их деятельность — интеллигентщиной, которая корежит линию партии... Буров-старший «оказался» интеллигентом. Он окончил Московский университет, изучал там экономику и социологию. Задолго до революции Буров, как потомственный народоволец, стал активным членом партии эсеров. В германскую войну 1914 года ушел на фронт вольноопределяющимся, чтобы отстоять интересы России. А вернулся с войны большевиком и принялся энергично на месте старой русской империи



строить новое, невиданное доселе общество... Он хорошо знал русскую экономику. Дружил с Чайновым и Кондратьевым. Поддерживал их работы, которые позже были признаны партией ошибочными, даже вредными, а авторов трудов, упорствующих в своей «неправоте», решено было просто уничтожить... Вот за это прошлое, путаное и ненадежное, его окрестили «не очень верным попутчиком», «примазавшимся», «пролезшим» в ряды... Из них его дружно вымели, как говорили тогда, поганой метлой. Вдгонку ему присвоили титул «врага народа» — и сломали хребет судьбы Бурову-старшему, будто сухую древесную ветку — о колено. Заодно как хворостинку — судьбу младшему Бурову, хоть и приемному... И поменялась добрая веселая московская коммунальная квартира на этапы, лагеря (совсем не пионерские), ссыльные поселения... После чего ни работы, ни учебы — ни по желанию, ни по наклонностям. Одним словом, лишенцем стал наш Сережа! В войну даже в армию не брали — не доверяли. Только в 43-м посчастливилось, дали возможность искупить свою вину перед Родиной — кровью...

Константин Петрович Роднин имел от рождения имя, отчество, фамилию, но жил, воспитывался, рос — в детдоме, где мать работала сестрой-хозяйкой. Он спал, кормился со всеми вместе — с недавними бродяжками, воришками без роду-племени. Мать считала это большой удачей — сытый, обутий, всегда под присмотром. А Костик, когда уставал жить в детдоме, спрашивал мать: «А домой пойдем?» И тут же присовокуплял еще сакраментальный вопрос: «А где отец?» Но у матери всегда почему-то был один короткий ответ: «Не говори глупостей...» Мать его никогда не ласкала, да и мамой называть ее не разрешала заведующая, чтобы другие воспитанники не ревновали... Только как все: тетя Клава. Тогда решил Костик: дом их сгорел, а отец погиб при испытании нового самолета! Пожар — всегда романтично, а летчиками в те годы мечтали стать все, так что биография получалась завидная. Но дальше она складывалась не так красиво, как хотелось бы... После смерти матери (ее убил детдомовец, которого она застала, когда он взламывал дверь детдомовской кладовой, где хранились продукты, и пыталась задержать воришку), Костю из жалости или, как говорили, по благу приставили помогать детдомовскому кучеру. Потом доверили самому возить продукты с базы. Даже доверили ружье, чтобы защищать общественное добро во время перевозки, если кто позарится и решится напасть (чуть не сказало: на обоз)... Когда в хозяйстве детского дома появилась автомашина, он сдал на права и готов уже был стать заправским шофером — почти летчиком! Но... Котя — как его называла девочка



из его бывшей детдомовской группы — пригласил эту девочку по имени Катя, которая ему очень нравилась, прокатиться на машине, чтобы разделить с ним самую большую радость в его жизни! Ездили, увлекшись, почти полдня, забыв совсем, что машина государственная, время — рабочее, что заведующая детским домом строгая... и не только строгая, но и подозрительная, вредная, как говорили о ней воспитанники. А в это же самое время свирепствовал указ об укреплении трудовой дисциплины на предприятиях, в колхозах и в учреждениях. Детский дом был учреждением, и заведующая заявила в милицию. Свое заявление, похожее на жалобу, она усиливала цитатами из лозунгов и газет: «Именно в такое время, когда внешние враги точат ножи против Страны Советов, а внутренние враги... а этот малой — сын раскулаченного! Отца его выслали даже не знаю куда... Мы приютили его с матерью... И вот какой благодарностью они отплачивают за народную доброту... А эта — тоже хороша (имелась в виду Катя)!» Когда счастливые Котя и Катя вернулись во двор детского дома, их уже ждали вооруженные милиционеры. По новому указу Коте полагалось два года исправительно-трудовых лагерей, а его милой спутнице — столько же, только «перевоспитальных». Суд, учитывая международное положение и личное социальное положение «виновных», дал по пять лет! Но вскоре, в войну, этим незадачливым преступникам представится возможность искупить свою вину перед Родиной. Они воспользуются этой возможностью — встретятся на фронте и будут «мыкаться» вместе до конца дней своих.

Адамчику повезло знать отца. Настоящего. Но в основном по фотографии, которая всегда стояла на самом видном месте — днем на подоконнике, а когда стемнеет — на сундучке, где обычно устанавливали свечу, старательно пытавшуюся осветить их маленькое неустроенное жилище. На снимке — отец: круглый, безволосый — ну вылитый Адамчик... Только уверенность в облике Фахмана-старшего было



«на», «зачем», «дурак, что ли» (?!), «революция», «социализм». И то каждое слово в отдельности.

Когда мать посылала Адамчика с половинками сухаря и картофелины к старому мудрому Хаиму-Мордке по прозвищу Соломон, гонец узнавал от всезнающего соседа разные разности. И тот говорил намного понятней, более связно. В эти моменты Фахману-младшему даже казалось, что он понимает, чем отличается мужчина от женщины. Женщине — главное сказать, а понял ты или нет — ее не интересует. Мужчина же старается, чтобы его поняли. Поэтому разные разности, рассказанные Соломоном, и оседали в памяти мальчика. Именно от

побольше. Да еще шапка-кубанка с пятиконечной звездочкой, орден, прикрепленный прямо к кожаной куртке, левая рука на рукоятке шашки, а правая — на деревянной кобуре маузера... Дополнялась эта видимость рассказами матери и умозаключениями старика соседа-мудреца. Мама рассказывала всегда одно и то же. Но это нравилось детям — легче было запомнить про то, как отец гордился своими послушными детьми, как он ласкал спящих вполку на полу отпрысков, становясь перед каждым из семерых на одно колено, словно перед полковым знаменем. Какие подарки привозил! (Из сэкономленного комсоставского пайка!) Пару десятков яиц, сваренных вкрутую, чтобы было что жевать, ведро картошки, ведро яблок и вещмешок сухарей... Как мать ухитрялась от приезда до приезда отца делить и экономить этот скудный дар, который порой приходилось растягивать на добрые месяцы! Да как еще удавалось делиться с голодающими соседями — она никому, даже самому дарителю, не рассказывала. Только молилась его фотокарточке, приклеенной к толстой картонке с медалями, которые дети любили пересчитывать, будто это были награды отца! Молиться снимку пробовали и наследники, потому что Богу поклоняться отец не позволял. Хотя все в местечке, где жил Адамчик с матерью, сестрами, все молились Богу. Тайком, правда, но Адамчик знал про это, не знал только, нужно ли об этом говорить матери, отцу... Но даже когда очень хотелось сказать — все равно не получалось, потому что в доме все время говорили сестры и мать, а ему не удавалось вставить ни одного слова.. В особенности когда они шпарили по-русски, а он понимал только «дай»,

соседа-мудреца он узнал, что его отец делает «ревонюцию» («только зачем?»), что отец его борется с «ворогами советской власти, но кто ворог, а кто — нет, разве поймешь?!» Не очень тонкий слух мальчика все-таки улавливал разницу в произношении слов у матери и у Соломона. Но этому он не придавал особого значения. Тем более что мальчик еще не знал, что такое правильное и неправильное произношение и тем более не подозревал еще о существовании чувства юмора. Адамчик пытался понять главное. Об отце, кстати, Соломон сказал: «Никогда не думал, что такой шалопай, как Наум, сможет накормить целое местечко!» Это, разумеется, было большим преувеличением, но Соломон не боялся таких излишеств, воздавая Господу благодарности за безграничную щедрость, помноженную на удивительную изобретательность. Адам мало что понимал про Бога и относил все восхваления в адрес родного отца, радуясь тому, что может лишним раз им гордиться... В другой раз Адам узнал от Соломона, что отец Наум, который приезжал, когда все местечко уже спало, а уезжал, когда местечко еще не просыпалось, делал это удивительно быстро и бесшумно, словно бричка была запряжена не конями, а большекрылыми ангелами. Ну, мостовой в местечке не было, а по пушистой пыли и мягкой грязи легко было не грохотать, не будить честной народ. Откуда это знал Соломон? Мама просто не могла заснуть в такие ночи, а Соломону — обычно не спалось. Но главное, что услышал от соседа-мудреца сын Наума: его отец — «а гроссе Фахман» (в переводе это означает «большой специалист»), он знает, когда, во сколько и насколько надо приезжать, чтобы сделать

хорошего ребенка. Адамчик не все понял и из этой тирады, но нашел чем возгордиться — отца в метечке считают «большим мастером»! Если об этом говорит сам Соломон...

Все же — нет, один раз Адам видел своего отца. Была глухая ночь, но их семья не спала. Вся. Мама, удушливо хныча, плакала над неподвижными телами самых младших, сестрички и братика, которые умерли во сне от голода. Их неокрепшие тельца, потом говорили люди, не выдержали испытания или недоели то, что мать отдавала соседям, чтобы о ней хорошо думали соседи, Господь... На выдохе мама тихо повторяла: «Отец не простит мне Дудика» (самого младшенького). Но папа простил маму. Обнял ее крепко, погладил по плечам, по спине. Увлёк за занавеску, где стоял мамин топчан... Детям было страшно и холодно. Они прижались друг другу. Но от этого им не становилось ни теплее, ни спокойнее. Дети, остававшиеся еще в живых, ничего не понимали из того, что происходит. Они еще не знали, что такое смерть. Младшенькие как будто спокойно спали. Только от них исходил очень остужающий холод, и пугал покой при таком шуме. Детьми, может быть, овладевали еще какие-то чувства, но названия им они тогда не знали... Отец успокоил маму, она затихла. Он вышел из-за занавески, поправляя обмундирование. Снял кубанку с пятиконечной звездочкой, обнажив абсолютно голую, как у Адамчика, голову, снова надел и, твердо сказав: «Враги ответят за гибель наших людей!», запел «Интернационал». Дети подвывали отцу, пытаясь попасть хоть в тон, потому что ни слов, ни мелодии будущего гимна страны они тоже в то время не знали, но уже, чувствуя свою вину за это, дружно заплакали... Отец думал, что утешает детей в общем горе, обнял каждого в отдельности, крепко, по-солдатски, и, отстранившись, отдал честь живым и покойным, громко щелкнул каблучками, аж зазвенели шпоры, заскрипели, прогнулись половицы...

Дети не знали, что видят отца в последний раз. Не знали, что мать даже не успеет заплакать, как рухнет на пол без чувств, узнав о гибели мужа, и станет белой, холодной, как тогда, в приезд отца, младшенькие сестричка и братик. Но выживет она, в чувства ее приведут рыдания детей, испугавшихся, замерзших еще больше, чем в тот раз... А погибнет отец из-за «Интернационала». Так скажет Соломон. На эту тему он будет рассуждать всякий раз, как встретит Адамчика. Мальчик уже ничего не стал приносить старику. Да и старику нечем было делиться, разве что мыслями. И он говорил: «Зачем еврею “интернационал”? Эти “революционеры” навдумывали столько слов, что попробуй в них разобраться! Да они и сами не могут! Ведь Наум тоже был за “интер-

национал”! Но он сказал, так говорят, что украинские товарищи хотят построить свой “национальный интернационал”, — так пусть попробуют, а мы посмотрим... Так его товарищи так посмотрели на Наума и его украинских националистов... Это ж свои расстреляли твоего отца и украинских националистов! Господи, кто поймет эти слова?! Но зачем же убивать своих?!»

Адамчик понял. И Адамчик стал бояться новых слов. Они заставляли его думать, а думать ему было еще трудно. Но новые слова росли вокруг него, как грибы. И приходилось много думать. Такое было время! Тем более что он стал сыном «предателя — врага народа»...

Крикун никогда не боялся слов, ему легко думалось. Он хорошо знал отца, долго жили вместе. Но после тяжелых ранений в гражданскую войну, в период раскулачивания, отец потерял способность нормально мыслить, адекватно общечеловеческим нормам себя вести, содержать семью, да и самого себя... Что он еще мог делать — так это детей. Мать парализовало после последних родов. Пришлось содержать, выхаживать всех — отца, мать, младшеньких двух болезненных сестреночек и братика — ему, самому крепкому из родных, двенадцатилетнему Петру Крикуну. Шесть лет, до самой войны, он на зависть всем справлялся. Не только как добытчик: где кому подсобить, где что починить (он соображал!), даже работу мужицкую пробовал: землекопом, грузчиком... А ведь у парнишки долго паспорта не было — на работу не брали. Надо сказать, бывало, кое-какое начальство шло навстречу: на других выписывало выполненную работу, а те другие отдавали мальчишке заработанное, даже прибавляли рублик-другой... Ну и соседи помогали, чем могли. Кто картошечкой с засаженного контрабандой пугтыря, кто квашеной капусткой с того же огорода. Бывало, волчьим мясом угощали, когда зверь в капкан попадался. Много в те годы зверья дико развелось. Только не всякое взять можно было. То нечем, а то и не позволялось... Или налог плати, или... Ведь все государственное было. Но кроме как заработать надо было за всеми домочадцами ухаживать, лечить... Пьющий сосед как-то зазвал к себе проворного подростка, щедро налил ему полстакана водки и сказал: «Вижу, ты настоящий мужчина, приятно познакомиться! Давай, за тебя...» А когда паренек отрицательно замотал головой: мол, дел еще невпроворот, сосед понимающе кивнул, сам выпил и свою, и предложенную гостю порцию, потом полез под кровать, достал оттуда несколько порожних бутылок, чтобы предложить их Петру. Это был щедрый дар. В те времена бутылочную водку продавали только в обмен на порожнюю посуду!





Так-то вот! Был у Пети и важный сосед, значительный — комиссар райвоенкомата, который целый год придерживал от призыва так нужной большой семье заботливого кормильца. И это тогда, когда правители ведущих государств мира, кичившиеся своим благоразумием, решили идти друг против друга ва-банк и отменили все мобилизационные льготы. Целый предвоенный год, рискуя многим, комиссар оберегал Крикуна. И чем бы все кончилось для обоих — трудно сказать, если бы...

Наладившаяся было жизнь в Петинем семействе, ее ритм, даже какое-то благополучие, поддерживаемое многими помощниками, — все враз рухнуло. Война тогда подошла исподтишка. Ее, конечно, ждали. Но чтобы так, по-воровски, — нет. Город враги пробомбили на рассвете. Многие, разбуженные гулким грохотом, подумали, что гроза. Если бы не пожары и вопли пострадавших... Петя отпросился с ночной на всякий случай — не испугалось бы семейство! Когда же он приблизился к дому, где жил, где жили отец, мать, сестренки и братишка, — тому дому, в котором он родился, вырос... На том месте зияла огромная воронка, поглотившая всех и все, что было в этом доме. В соседних домах к окнам, из которых взрывной волной были выбиты стекла, приникли жильцы, разбуженные небывалым шумом, и с удивлением рассматривали пейзаж, открывшийся их взору. К воронке сбегались любопытные. А Петя, кажется, понял сразу все, что произошло. Он, зачем-то сдерживая слезы, которые его душили, стал медленно спускаться в еще дымящуюся воронку, как в кратер вулкана. На дне ее он в нерешительности остановился. Все любопытствующие растерянно наблюдали за странными действиями своего юного соседа и не знали, чем ему помочь. К ним, должно быть, не пришло еще понимание всеобщей трагедии... Вдруг в хаосе перемешанных взрывом деталей Пете бросилась в глаза отцова красноезвездная шапка-буденовка, с которой тот почти никогда не расставался, в последнее время даже спал в ней; потом Петя увидел сестринскую туфельку, изрядно помятую, разбитую тарелку, девчоночью куцу, никак не набирающую красоту и силу косичку из тощеньких волос, утюг, который он на днях долго искал, чтобы погладить сестренке платье, и никак не мог найти... Плохо соображая, Петя, как сомнамбула, двигался среди этих разрозненных деталей, пытаясь собрать из них что-то целое... Вот он нашел покореженную игрушку, которую недавно сделал для младшего братишки, — грузовичок из спичечных коробков... Даже обрадовался этой находке! Но когда он увидел кисть маминой руки с зажатым в ней нательным крестиком, который она постоянно старательно прятала от отца, стесняясь своей веры... Мама не



давала никому себя купать, кроме как Петеньке-Петруше, потому что знала, что он не выдаст, хоть сам и не верит. Другие могли надсмеяться, а если б узнал отец! Тут Петя рухнул в груды разрозненных деталей своего семейства и разрыдался. Пришедшая на помощь соседка-старушка, увидев в руке Петра крестик, погладила его по плечу и сказала: «Плачь, милоч, не стесняйся... Это Господь пожалел тебя и враз освободил от трудов твоих тяжких. Помолись ему». Петр давно знал, что никакого Бога нет, слабость матери его просто забавляла. Он по-такал ей только из жалости... Но почему-то от слов старушки-соседки ему стало легче, и он с новыми силами принялся рыться в воронке, стараясь найти хоть кого-нибудь живым...

Кто-то там, наверху, принес весть, что «это — война». И все растерянно, еще не зная, что это значит, поплелись на городскую площадь слушать выступление Молотова. Они шли, оглядываясь на воронку, которая для них станет символом начала войны. Петя поднялся на холм, торчавший недавно перед их окнами, закрывая восход солнца, выкопал ямку, зарыл сохранившиеся вещи близких, из ножек стола, найденных в той же воронке, он соорудил добротный крест и начертал на нем: «Здесь покоится то, что осталось от моих родных, рука моей матери, в которой был зажат нательный крест. Этот маленький крестик я попробую сохранить, и если вернусь с войны, то попрошу, чтобы меня тоже, когда умру, похоронили в этой могиле. Спасибо всем, кто не посмеется над этой могилкой. Петр Крикун». Поставив точку, Петя стряхнул пыль с отцовской буденовки, надел ее и пошел в военкомат.

Недавно я спросил Петра: «Ты возвращался на могилу руки твоей матери и...» Выпятив нижнюю губу, заглянув куда-то вдаль, он как-то странно закивал: «Там проходила наша оборона, потом немецкая... А потом поставили огромную водонапорную



башню. Хоть польза от нее... Ты хочешь спросить про крестик? Ношу. Стал верить? Нет. В особенности сейчас, когда верить стало модно...»

Младшего братишку Петра отец назвал Феликсом. В память о самом уважаемом им деятеле революции. Он считал, что служил под его непосредственным руководством в части особого назначения (знаменитом ЧОНе), считал, что выполнял непосредственные указания Железного Феликса. И сделал Крикун-старший все, чему учил выдающийся революционер, отдав все, что мог, борьбе со злейшим классовым врагом. К глубокому своему сожалению, он не видел достойной замены ушедшему из жизни великому человеку. Потому, дав его имя своему сыну, передав своему отпрыску всю свою любовь и преданность, питал искреннюю надежду, что в новом Феликсе возродится железная сила и он продолжит дело. Не получилось.

Пашуканис-старший с дореволюционных лет дружил, соратничал, потом, служа в ЧК, неизменно восхищался великим Железным Феликсом. Поэтому не мог не назвать свою первую дочь Феликситой, а потом сына — Феликсом... Дочери, когда она начала себя понимать, сразу разонравилось ощущать себя «железной» девочкой. Тем более что это звание к игривой, кокетливой «кривляке», как ее прозвали в школе, совершенно не подходило. Вскоре юная дива, мечтавшая о карьере опереточной актрисы, стала именовать себя не иначе как Ксита. Феликсу имя совершенно не мешало, потому что во дворе, а потом и в школе его звали не иначе как Фэл. Но главное не это. Фэл почему-то воспринимал жизнь и события, которые тогда именовались великими, абсолютно в игровом, театральном свете. Он много читал, поэтому мог сравнивать похожие события в других странах и веках, чтобы делать прогнозы, предсказывать ход истории, придумывать варианты... Это ему, его родителям и даже сестре порой дорого обходилось, так как кое-кому не верилось, что Фэл является единоличным автором рискованных изысков. Пару раз отца освобождали от занимаемой должности (а это влекло за собой смену квартир, человеческих отношений).

Но вдруг мне подумалось: а ведь судьба семьи Фэла и его самого — самая благополучная из всех мне известных. Никто серьезно не пострадал. Никто не умер. Никого не посадили, семья не была полностью лишена расположения властей, общества, непознанной осталась нищета, не мучил настоящий голод...

Слова... Как мало они способны передать, а хотелось бы, чтобы мои сверстники вспомнили, почувствовали, а дети-внуки — хоть представили, что ели-пили мы, во что были одеты, в каких жилищах

обитали, и как это все доставалось нам! На словах — не передашь...

Да-а, так мы, вдоволь напозавшись, вставали на ноги и шли; учились читать, писать, считать, узнавали из книг, от бывалых людей, что можно и нужно жить без тягот и нужды!

Мы только почувствовали теплоту солнечных лучей, запахи травы и цветов, поняли, что блеск девичьих глаз, прерывистое дыхание, стихи — не просто так. Мы только начали радоваться жизни! Как время, не выпускавшее мое поколение из ежовых рукавиц, швырнуло нас, совсем юных, не дочитавших книг, досыта ни разу не наевшихся, еще не целованных, только-только ухитрившихся наполниться мечтами и надеждами, в огонь страшной войны. И принялось, разъединяя с родными, друзьями, любимыми, калечить мальчишек и девчонок, отрывая руки, ноги, выкалывая глаза, раскраивая черепа, зарывая живьем в землю...

Сергей, научившийся в семье Буровых заразительно смеяться, трижды раненый и дважды без сознания вытасканный из горящего танка любимой женщиной и вскоре потерявший ее в бою, изредка еще пробовал улыбаться, но две онкологические операции иссушили его душу и тело до скрипучести. Только немислимой волей он сумел сохранить жилу, которая его тянула к открытию формулы бескризисной экономики общества...

Адамчик — всеобщий батарейный любимец. Крупноватый, полноватый, но легкий, как воздушный шар, постоянно невесомо перекатывающийся меж пушечных станин и стреляных гильз. Все всегда успевающий — и не только переделать свои дела, но и прийти на помощь другим. Всех любил, за всех готов был жизнь отдать не раздумывая. Внимательный ко всем. Выслушивал всех неотрывно, а свое каждое слово, чтобы не обидеть кого и не запутать, выпускал на волю только хорошенько подумав. Даже казалось, что слышно, как это в его большой круглой безволосой голове происходит... А после первого ранения — в голову, когда у него снесло кусок черепа — даже стало видно, как он думает. Мозг начинал сильнее пульсировать... После второго ранения в легкое, в котором застрял крупный осколок, он стал задыхаться и не мог уже выполнять тяжелые работы. Товарищи были не в обиде на него. Наоборот, его оберегали. Ведь Адама списали подчистую. Но, получив после долгого перерыва из родных мест письмо от незнакомой девушки, которая случайно там оказалась, он, да все мы узнали, что его местечко полностью уничтожено и фашистские солдаты никого из жителей в живых не оставили. Стало быть, возвращаться Адамчику было некуда. Казалось бы, больше обижать солдата незачем, да и не за что. Но...



ранило его в третий раз. И тяжело — в пах, лишив такого парня мужского достоинства! И он снова вернулся на батарею. Работал через силу почти молча. Даже когда снова пришло письмо от той самой незнакомой девушки, которая на этот раз звала его к себе, обещая ждать, он на вопрос товарищей: «Поедешь?» только пожал плечами. Ту девушку звали Настя — Анастасия Корнеевна...

Петру Крикуну «посчастливилось» — в одном бою он потерял глаз, оторвало правую руку и сильно покорезило ногу. Тогда он вспомнил соседку-старушку, которая говорила в тот первый день войны, что Бог одним бомбовым ударом освободил его от тяжких забот о своей семье. Это чтобы потом разделать его же, Петра Крикуна, как черепаху?!

Фэлу Пашуканису одна разрывная пуля раздробила тазовые кости, а другие две, тоже разрывные, изуродовали стопы ног. Его штопал легендарный хирург Богораз, который прославился тем, что сам себе ампутировал обе ноги. Выдающемуся врачу почти удалось воссоздать Фэла в прежнем виде и состоянии.

Вяземскому сильно повредило горло, и вместо естественного ему вставили какой-то механизм с кнопкой управления. Когда же он увлекался или сердился, то забывал ее включать, отчего шипел, как змея...

А сколько трещин, вывихов, переломов (закрытых, открытых) испытали судьбы и характеры моих сверстников?! Которые — ни сшить, ни заштопать, ни сохранить никакими гипсовыми повязками, чтоб срослись, не смогли бы никакие Богоразы!

Мы чудом не умирали от страха, обиды и непредсказуемости своего бытия. Больше того, мы даже научились при потере одной — даже правой руки — радоваться, что сохранилась другая, пусть — левая! А когда теряли обе, да еще и ноги и получали высокое звание «самовара», то были счастливы от того, что способны петь, рассказывать, вспоминать! Мы просто очень устали огорчаться, расстраиваться, терпеть...

Видно, время тоже устало изощренно издеваться над нами...

В конце концов оно принялось просто уничтожать наше поколение — колоннами, эшелонами, дивизиями, армиями... И осталось нас после всемирного побоища — раз-два и обчелся, так сказать, для разговору...

Вот мы сидим — и разговариваем. О чем? О том, что было... должно было быть, могло быть. Вспоминаем... И не только разговариваем, вспоминая, — спорим, ссоримся, ругаемся. Да еще как! А из-за чего, спрашивается?

Я забрел в своих раздумьях куда-то очень далеко. Совершенно отрешился от того вопроса, который задал мне Иосиф Иванович. И когда услышал слова «Карпаты», «елка», «перевал», «гауптман» — встрепенулся. Голоса были резкие, лица напряженные. Я понял, что Еське удалось втянуть товарищей в затеянную им игру. Только он, наверное, забыл об их возрасте, разности темпераментов, здоровье, наконец! Но действие получилось по-настоящему захватывающим.

Конечно же, если кому-то из моих товарищей и удалось сохранить в своей памяти этот эпизод в Карпатах, то очень уж по-своему. И имел каждый из них очень неожиданное мнение о случившемся. Стоило послушать. Но надо было и видеть, как разгорался горячий спор. Да так неистово, будто от победы в этом состязании зависела дальнейшая судьба не только самого спорящего, но и его потомков! При этом спорщики не жалели никаких средств для достижения своей цели, взрывая мосты, ведущие к истине, кроша храмы чести. Они водружали свои представления на развалины фактов, которые, как я вскоре понял, им были совершенно неведомы. Захватывающая стихия разрушения...

Фахман изменился до неузнаваемости. Куда делась его юношеская терпимость, привычка обдумывать каждое слово?! До сих пор пухлогубый рот теперь распахивался раньше, чем его мозговая канцелярия успевала сформулировать мысль. Потому он выкашливал предложения чаще без подлежащих и сказуемых — какие-то полуфразы, полуслова. Чувствуя это и не понимая, почему так происходит, Адам суетливо обшаривал свои карманы, вытаскивая ключи, носовой платок, какие-то таблетки, и снова раздраженно заталкивал их обратно. Не то, не то! Он принялся изыскательски ощупывать свой череп, пытаясь найти лазейку в извилинах мозга, где, по его расчетам, могла запутаться мысль. Мысль, которая некогда пусть медленно, но безотказно созревала в четко работавшем мозгу. Директорство приучило его к смиренным слушателям. Он не при-

вык, чтобы с ним спорили, он привык, чтобы его слушали, чтобы с ним неизбежно соглашались. Поэтому он безумно страдал от нынешней беспомощности. Но сдаваться, не оставаясь правым, он просто не мог.

Крикун — главбух автобазы — к любому разговору, особенно чреватому спором, всегда готовился обстоятельно. Худощавый, жилистый, он медленно, методично усаживался. Подтягивал под себя плохо подвижную правую ногу. На нее пристраивал левую, а на эту уже укладывал, как неоспоримое вещественное доказательство, праворучный протез. После чего пальцами левой руки дергал мочку правого уха, будто давал сигнал к началу методичной классификации за и против (как дебет и кредит). Хотя до вывода еще было далеко, он уже чувствовал себя победителем. С одним оппонентом Петр обычно справлялся легко, с несколькими ему было трудно, но сдаваться он никогда даже не помышлял. Какой навык был получен в войне, в нашем непобедимом и редко побеждавшем мехкорпусе!

Родненький что-то нашептывал Крикуну. До меня донеслось: «Ты скажи...» «Собственно говоря, что мог подсказать Роднин? — подумал я. — Ведь во время той операции наша батарея обходилась без автомашин — мы тогда на марше прицепили пушки к танкам, и получается, что наш шофер вообще ничего не мог видеть и слышать! А вещдок Крикуна тоже свидетельствовал совсем не о правоте главбуха — его же ранило за полгода до этого события — на Яском плацдарме!»

Я попытался внести ясность в спор. Обсудить со спорящими некоторые их доказательства. Но вклиниться в разговор (если так можно было назвать бескомпромиссную схватку) мне не удалось.

Еся ликовал. Стало уже казаться, будто имеет место обсуждение вообще какого-то другого эпизода, никак не относящегося ни к Карпатам, ни к елке. А дальше всех в эпицентре эпизода, о котором в тот момент шла речь (точнее, шел жаркий бой!), рядом со мной находился именно он — мой комвзвода артразведки Казаков. Иосиф Иванович. А память у него была всегда очень цепкой. Так что к обозреваемому действию иначе как к удачной постановке относиться нельзя! И тогда же подумалось, что особенное впечатление это бурное заседание своеобразного почти театрализованного спорклуба должно было произвести на случайного свидетеля, нечаянно оказавшегося рядом с очень немолодыми, мягко говоря, людьми, затеявшими какой-то презабавный дележ неизвестно чего и непонятно как, от которого оторваться они ну никак не могли... А если бы понял нечаянный свидетель, что предметом спора является совсем незначительный эпизод очень далекой вой-

ны, о которой новые поколения уже и представления четкого не имеют, то удивился и позабавился еще больше. И тут я ощутил точно такой, но совершенно реальный взгляд. Ироничность его смутила меня. Случайный свидетель, с большим любопытством рассматривавший моих товарищей, не обошел стороной и меня. Именно в этот момент я решился наконец внести полную ясность, о каком эпизоде идет речь, кто присутствовал и кто действительно может говорить о событии. При этом я старательно искал лазейки в очень плотном споре и поэтому тоже, наконец, смешно выглядел...

Этим случайным свидетелем оказался мой двадцатилетний внук. Его, должно быть, прислали женщины позвать заигравшихся старцев к столу. Заметив внука, все разом смолкли.

— Мужики, чего вы спорите?

Следующая фраза должна была, наверное, содержать сообщение о том, что уже все остыло. И все невольно заулыбались, ощутив неловкость: там люди в поте лица делают стол, стараются, а мы тут... Но внук продолжил:

— Ребята, — бесцеремонно обратился он к дедам, достаточно взвешенно оценив их недавнюю легкомысленную схватку, невольным свидетелем которой он стал. Кроме того, оказалось, ему было что сказать: — Да не так все происходило. Забыли?

Молчание моих однополчан достигло бездонной глубины. Приняв тишину за согласие выслушать его доводы, внук стал пересказывать один из вариантов рождественской сказки, которую я когда-то поведал своим детям. Но эта сказка по смыслу и содержанию была совершенно мне не знакома.

— А откуда ты это знаешь? — спросил Иосиф Иванович, интересуясь не существом и правдивостью повествования, а только самим фактом «знания».

Я невольно почувствовал себя виноватым. При этом без вины виноватым. Я не мог такого рассказывать. Но внук, не оправдываясь, спокойно сказал:

— Мать рассказывала.

Мать — это моя старшая дочь, самая активная подсказчица в моих творческих обработках реального материала в далекие послевоенные годы. Теперь уже все повернулись ко мне и стали дружно, но каждый по-своему, упрекать меня в сознательном искажении события. А тут еще Иосиф Иванович подзадоривал товарищей, чтобы снова раскрутить спор, раз до застолья дело еще не дошло. Во мне же созрело твердое желание, сам не знаю почему, во что бы то ни стало рассказать во всех подробностях эпизод, который лучше меня просто никто не мог помнить, знать! От напряжения, что ли, в сознании четко стали проявляться картины прошлого. Я даже как-то отстранился от того, что происходило рядом





со мной, вокруг... И вдруг откуда-то издалека до меня донесся голос внука:

— Деда, а что стало с Меркуловым? У нас я никогда его не видел, не встречал. И ты больше ничего о нем не рассказывал.

Показалось, что кто-то нечаянно повернул трубку детского калейдоскопа, и картина, которая казалась мне четкой, почти реально осязаемой, рассыпалась на мелкие кусочки. «Кто такой Меркулов? Когда я о нем рассказывал?» Фамилия вроде бы знакомая, но я никак не мог вспомнить человека, которому она принадлежала...

— А кто такой Меркулов? — как эхо донеслось до меня.

Но это был не мой вопрос и не мой последовал ответ:

— Да был такой, гундосый такой, прохиндей, — дополнил кто-то.

— Бросьте, нормальный парень! Связист от бога! Надежный, как железнодорожный костыль. Правда, если бы не гундосил, не бухтел — цены бы ему вообще бы не было! — это уже говорил Еська-взводный.

Значит, Меркулов существовал, и он его помнит! Да-да, я вспомнил выражение «железнодорожный костыль», вспомнил, как мы с Еской во время боя проходили мимо колонны наших танков, моторы которых работали на полуоборотах, и Еська сказал:

— Сколько Меркуловых сразу...

А человека, да еще своего связиста, никак не мог восстановить в своей памяти. Я был растерян, подавлен...

Не помню, чем и как закончилась эта встреча, но после нее я еще долго не переставал думать о карпатской истории. Перечитывал сохранившиеся письма тех лет, всевозможные записки, которые я вел. Терпеливо пытаюсь восстановить из распавшихся было (во время спора) кусков далекого события цельное полотно. Вроде получилось! Даже показалось, что это прошлое — какое-то вовсе и не прошлое...

И попробовал записать.

\* \* \*

Во время войны мы были артиллеристами, поэтому нам приходилось только и делать, что волочить, толкать, носить, надрываясь, всевозможные тяжести. Да-да, постоянно и неустанно.

Пехота, известное дело, берегла и холила только свои ноги, которые носили брненное тело солдата в походах, несли его в атаку с надеждой на победу, они же уносили со страху, куда глаза глядят, это же тело, отягощенное лишь незатейливым вооружением да нехитрым скарбом.

Летчики — порхали в облаках, напевая под аккомпанемент мотора своего самолета: «Там, где пе-



хота не пройдет, угрюмый танк не проползет... Там пролетит стальная птица...» А если что худое приключалось с этой самой «птицей», к услугам пилота всегда были парашют или технари...

Танкисты — лихо носились по дорогам, по полям, отчаянно давили врага, но если с машиной какие-нибудь нелады, то тягачи брали ее на буксир и волокли...

А мы — сами, как прикованные к галерам каторжники, волокли, толкали по грязи, по снегу своими руками тяжеленные пушки, ящики со снарядами и разную там не считаную мелочевку: приборы, стрелковое оружие с боеприпасами, лопаты, ломы, пилы, топоры... И рыли, рыли — сооружали специальные укрытия для орудий, для снарядов и машин. Для себя порой не успевали.

Стреляли, бывало...

И снова волокли, толкали, несли... У нас были машины, мы считались артиллерией на мехтяге. Но почему-то помнится, что эту самую мехтягу мы тоже чаще таскали на себе, подталкивали на крутых подъемах, придерживали на головокружительных спусках.

Волокли, толкали и рыли все — солдаты и офицеры. Нужда была в каждой человеко-силе. Но еще большая нужда была в силе воли, необходимой во время походов, тасканий, перетаскиваний, чтобы находить моменты для совершенствования навыков стрельбы из этих самых пушек, которые волокли, оберегали и прятали от врага. Надо было успевать смотреть в оба, чтобы не терять цель, ради которой двигались. А двигались по рытвинам и руинам Сталинграда, по белорусским болотам, по раскисшему украинскому чернозему, по пескам, камням, по речным бродам... Осталось добавить: таскать пушки да машины по равнинной местности, как говорят военные, пусть даже пересеченной, — это одно, а по горам — совсем другое.

А таскать, волочить ненаглядные пушки да притом глядеть в оба пришлось нам в Карпатах. Я слышал, что для любителей восхождений Карпаты как горы не представляют особого интереса. Они, эти горы, говорят, даже не имеют туристского разряда!

Понятное дело, Карпаты не сравнишь ни с Гималаями, скажем, ни с заморскими Андами. Карпатские вершины не идут ни в какое сравнение не только с легендарным Эверестом, но и с вполне доступным Эльбрусом.

Но я отношусь к Карпатам совсем с другими мерками. И в моей памяти они числятся по самой высокой категории.

Я хорошо помню: там — крутые дороги, узкие тропы, утесы, обрывы, умопомрачительные ущелья и скалы, поросшие причудливыми деревьями. Там долины со сварливыми речками, вершины, пусть не очень гордые, но все же увенчанные облаками. Там уютные селения, чудом прилепившиеся к и без того затейливым пейзажам, и, конечно, имелись там перевалы... В общем, в Карпатах было все, что полагается нормальным горам, — и чем полюбоваться, и где испытать свои силы, свой характер.

Наш арtdивизион входил в состав мехкорпуса РГК, то есть Резерва Главного Командования. Звучит громко, значительно, но по сути этот самый резерв был не чем иным, как обыкновенной затычкой то и дело возникавшим на фронтах прорехам, дырам, щелям... Словом, нас постоянно кидали, бросали (вполне приемлемые военные термины) туда, где погорячее, где враг очень уж напирал или упорно сопротивлялся: в леса Подмосковья, в болота Смоленщины, в Сталинград, под Харьков, на Курскую дугу... Позже уже — под Яссы, на Балатон, в Будапешт! Менялись названия и номера фронтов, а суть нашей задачи оставалась прежней.

И что еще интересно. Во время постановки задач давалась информация о том, что против нас действуют, как правило, эсэсовские дивизии: бывало «Викинги», в другой раз «Мертвая голова», а то и «Великая Германия». Чем было вызвано такое противостояние, его закономерность? Трудно сказать. То ли противник очень уважал наш корпус, выставляя против нас отборные войска? То ли Главное Командование высоко ценило наше соединение, доверяя ему решение серьезных задач? А может быть, просто не жалело: затычка и есть затычка.

В то время, о котором пойдет речь, сопротивление врага на улицах Будапешта заметно ослабело, и, как видно, большая нужда в нашем корпусе возникла на другом, более сложном участке боевых действий. Нас сняли с 2-го Украинского фронта, в распоряжении которого мы находились во время боев за Будапешт, и перебросили на 4-й.

Нас отправили на помощь Чехословацкому корпусу, который в тот момент испытывал большие затруднения. Части под командованием генерала Свободы уже вступили на родную словацкую землю, но противник сумел остановить продвижение корпуса и, более того, был полон решимости уничтожить национальное соединение. Фашисты с особой свирепостью набрасывались на национальные части и зло, жестко бились с ними, будто за что-то мстили. Помню, как они беспощадно уничтожали воинов польской дивизии имени Костюшко, которую нашему корпусу довелось поддерживать в боях на Смоленщине. Тогда фашистам удалось извести больше половины личного состава дивизии. Там на небольшом участке фронта немецкая авиация только за один день совершила более двух тысяч вылетов — перевернула и перекопала всю землю и засыпала позиции поляков листовками с угрозой: «Здесь вы получите свой Сталинград! Ни один поляк живым отсюда не уйдет!»



Наш корпус легко и быстро мчался по хорошим равнинным дорогам Венгрии. Мы почти не останавливались. Только чтобы заправиться и принять пополнение. Ведь в боях за венгерскую столицу стрелковые и танковые части нашего корпуса заметно поредели. Нам, артиллеристам, чаще везло. Потому что, как утверждал Еська-взводный, сам Господь, любящий работой и делами пушкарей, многое нам прощал или (добавлял ерник Еська) за фронтовой суетой и неразберихой просто забывал нас прибирать к себе.

Потери... Вспомнилось, что они были не только непоправимой бедой, особенно для младших чинов, которым приходилось во всех случаях (и за победы, и за поражения) расплачиваться самой тогда ходовой валютой — жизнью. В лучшем случае ее разменной монетой — ранениями, увечьями. Но еще потери являлись определенной чиновничьей категорией!



Скажем, если часть или соединение потеряет даже в ярких победных боях больше половины штатной техники и личного состава, то звания гвардейских им не видать. А с этой неудачей притормаживались и повышения в званиях, наградные дела... Низшие чины, разумеется, об этом не задумывались — некогда было, зато старшие серьезно бились после боев над отчетными документами. Но как они цифры ни округляли, как ни старались штабные операторы ошибиться с переносом запятых в больших числах, ничего не получалось — потери не сокращались. Только на исходе войны такие части вообще и наш корпус в частности отметили званием «гвардейский». Должно быть, «за общий вклад», как оценивают работу старых кинематографистов на современных фестивалях. Ну а новое пополнение было увенчано гвардейскими лаврами, заработанными телами и головами их предшественников, автоматически. Им только оставалось не ударить лицом в грязь, а точнее — о скалы, хребты, перевалы...

Появившиеся на горизонте горы издали показались просто большими сугробами. А по мере того, как мы ввинчивались в первый хребет с помощью головокружательной по красоте и трудности дороге, именуемой серпантин, впечатления менялись. Нависающие скалы, витиеватые обрывы, их дикая череда начали походить на застывшие волны. Точно на полотне Айвазовского «Девятый вал» — не хватало лишь обломков истерзанного разбушевавшимся морем корабля и цепляющихся за обломки людей, которых жаждала поглотить морская пучина.

Странное дело — еще в детстве и позже, когда я стоял перед полотном Айвазовского в картинной галерее или разглядывал репродукции, меня всегда поражало мастерство художника, захватывало вдохновенное письмо автора. Эти гребни волн, зловеще нависающие над пострадавшими, совсем осязаемые облака, наблюдающие трагедию... Но никогда я не испытывал страха, меня не ужасала стихия — главная героиня картины. Любовался — и все. Ни капли сочувствия попавшим в беду мореплавателям. Мне не удавалось поместить себя в ту ситуацию, которую воспроизвел художник. К тому же я знал, что с «терпящими бедствие» ничего худого не случится — пока жива сама картина.

Тогда я так же отнесся и к горам, напомнившим мне застывшие волны. Впечатляющее, завораживающее зрелище.

В тот момент невозможно было себе представить, что через несколько часов я со своими товарищами окажусь в центре этой, но уже ожившей картины и разбушевавшаяся стихия способна будет расправиться с нами без всякого сожаления. Кроме того,



мне уже придется все это не представлять, а испытывать...

Но перед этим, когда завершился серпантин небольшим межгорным плато, мы ухитрились на нем сосредоточиться. Надо было передохнуть, оглядеться, ознакомиться с боевой обстановкой.

Вокруг горы, а за ними виднелась не одна череда скал, обрывов и хребтов — их-то нам и предстояло преодолеть. Невольно подумалось: «Ничего себе — поле боя!» А бой на этом поле, как нам казалось, уже шел. И очень жаркий: все грохотало так, будто рушился мир.

Мы по наивности приняли этот грохот за артподготовку, которую ведут другие части, готовя брешь в порядках противника, чтобы ввести нас, свежих, в прорыв. Но сам грохот был иллюзией. Мы еще не знали, что здесь достаточно двух-трех выстрелов, чтобы многократное эхо превратило их в настоящую канонаду. Много еще других фокусов и сюрпризов готовили нам горы. И, забегая вперед, надо сказать: вначале нашим главным противником на этом участке фронта оказались именно они! «Дают прикурить!» — частенько будет говорить Еська-взводный... Нам пришлось здорово потрудиться, многое вытерпеть, понять, потерять немало товарищей, прежде чем Карпаты уступили нашей настойчивости. Это все же случится, но очень не скоро...

А в это время из горных щелей, из-за обгорелых кустов на плато выходили и выползали раненые. Рядом с нашим мощным, обмотанным цепями студебекером с прицепленной к нему пушкой остановились двое. У них были перевязаны по одной руке и по одной ноге. Помогая друг другу двигаться, они ковыляли в медсанбат. Но около нашей машины они задержались не только для того, чтобы передохнуть, — их еще разбирало любопытство. Они осмотрели оснастку автомашины, проверили, как крепится пушка, и, подобно гоголевским персонажам, стали обсуждать, дойдет или нет наша техника до того перевала...



Мы никогда не видели «того перевала», плохо представляли его себе. Мы, народ равнинный, дети степей, лесов и городских улиц, видели раньше перевалы, скалы и ущелья только на картинках, в лучшем случае в кино. По Кавказам, Крымам да Памирам перед войной не очень-то разъезжали. Что такое горы, реки и долины, конечно же, знали, проходили по географии. Но в таком конкретном сочетании! Да еще со снегопадами, обвалами и свирепыми сквозняками, способными сбивать с ног, переворачивать машины, пушки и засыпать нас всякой всячиной в мгновение ока... Не-ет.

И все же ни у кого из нас не было сомнений, что перевал мы оседлаем, как говорят военные. Не затем ли ехали? Да и вообще, перешагнем Карпаты, выйдем на оперативный простор, возьмем Остраву, Братиславу, освободим Прагу, а там и до Берлина рукой подать. Мы уже привыкли побеждать, редкий бой не удавался...

Не успел я записать эту фразу, как тут же моя память, словно заправский фокусник, извлекла из своих дальних, глухих, казалось бы, совсем уж недоступных завалов и услужливо развернула передо мной отчетливую во всех возможных измерениях картину нашего первого боя в Карпатах. Мне трудно удержаться от соблазна и не описать то, что увиделось...

Я сразу узнал те места, наши позиции, ко мне, будто на оклик, повернулись лица товарищей, и глянули на меня до боли знакомые глаза. Накатило волнение, которое овладевало мной перед каждым боем: чаще застучало в груди, сжались кулаки, насупились брови, напряглись ноздри — будто я собрался в рукопашную.

Вспомнилось, как все мы в последние месяцы войны, понимая, что четырехлетний марафон близится к логическому концу, торопили сами себя (скорей-скорей!), ощущая под ногами финишную прямую к вечному миру! Очень точно выразил своими словами наше общее настроение старший на батарее младший лейтенант Коваленко (он же Братуша, так как в его обращениях ко всем без исключения присутствовало именно это слово). Тракторист и комбайнер в прошлой жизни, он почти перед каждым боем, как заклинание, повторял: «Пора кончать эту трехмудь... Скоро весна, надо пахать, сеять, а мы тут...» «Пора кончать!» — звучало чаще, чем любые другие претензии к самим себе, товарищам, судьбе, войне! О средствах и жертвах в это время не думалось.

Наш первый бой в Карпатах... Не грянул, нет. Он завязался и протекал очень неровно, если так можно сказать о свирепой и беспощадной схватке. Нить

боя часто рвалась, узлы запутывались. Наши замахы порой ронялись в пустоту.

А еще перед этим самым боем нам долго не удавалось не только атаковать противника, но даже обнаружить его позиции.

Разрозненные разведанные корпусных, бригадных и батальонных лазутчиков, сдобренные фантазией штабных аналитиков, позволили изобразить на командирских картах гипотетическую фигуру укрепрайона врага. Фигура эта очень напоминала короткохвостое беспозвоночное из подотряда десятиногих ракообразных — огромного краба.

Второму стрелковому батальону нашей бригады с приданными ему для поддержки частями — моей батареей, ротой тяжелых минометов да еще отделением бригадных разведчиков на броневике — поставили задачу блокировать нижнюю часть левой клешни этого самого краба! Ну что же! Карты были. Огромный краб на них красовался. Левая клешня и ее нижняя часть — хорошо читались. Не было только противника на обозначенной местности!

Мы искали врага, охотились за ним по-мальчишески азартно. Жажда боя была не просто сильной, а мучительно неутолимой.

— О-о! А Фриц (распространенное прозвище немецких солдат, как у немцев — Рус-Иван), Фриц-то дал деру! Как только мы тут появились, наш противничек сдрейфил — и тью-тью! — Всегда жизнерадостный наводчик третьего орудия Лакманчик раньше других успевал высказать свое веселящее мнение. Все признательно заулыбались. Но тут же стали настороженно оглядываться, потому что немцы не могли уйти, а тем более сбежать.

В последнее время противник старательно цеплялся за каждый выступ, за каждую ямку, чтобы как можно дольше удержать за собой любой клочок поля, горы, болота. Очень не хотелось ему расплачиваться за содеянное в минувшие годы. «Хорошо знала кошка, чье сало съела!» Поэтому враг свирепо огрызался и безжалостно истреблял наших людей. Уверовав в то, что сумеет извести всех нас до единого, и тогда его родным и близким, его Фатерланду ничего не будет угрожать.

А мы непреклонно верили, что непременно войдем в Берлин. И... вот-вот... скоро уже! К тому же казалось, что нас с каждым днем становилось все больше и больше. Найти бы его только!

Все части корпуса двигались к своим намеченным целям разными путями. Их было много. Но ни с кем нигде мы даже случайно не пересеклись, ни выстрелов, ни машинного ропота до нас не доносилось. А ведь в тех колоннах и танки были! Эху будто в уши снегу надуло или оно онемело? Получалось,



что никому не удавалось добраться до «краба», нащупать его.

Не скоро, но все же мы поняли, что это Карпаты нас дурачат. Водят по своим хитро и туго закрученным лабиринтам. Мотают по завалам, заметам, по хрупкому льду суетливых речек, укутывают наши колонны в непроницаемые туманы, которые в долинах люди называют облаками, заманивают в тупики, из которых можно выбраться только с большущим трудом, решив кучу замысловатых задач, теряя при этом уйму времени и сил...

Хотелось мчаться, лететь, а мы вынуждены были ползти. Часами стоять, осмысливая пространство, нафаршированное препятствиями, и с завистью наблюдать за парящими над нами птицами, завидовать деревьям, цепко ухватившимся за вершины. Ведь им — и деревьям, и птицам — все далеко и хорошо видно. А наши взоры упирались в склоны самонадеянных чванливых высот, в злобную непрекаемость утесов, в затейливую перекрученность дорог, рискованно нависающих над распахнутой опасностью ущелий...

Ничем не могло помочь батальону прикрепленное к нему отделение бригадных разведчиков. Беспомощно, с какой-то обреченной растерянностью мотались они взад-вперед на своем неказистом колесном броневишке. Его жиденькая броня, в которой, как в барабане, откликалось тархтение движка, слабенький пулемет, хилые колеса внушали нам не надежду, а опасения. Пьяно раскачиваясь впереди колонны, машина, гордо именуемая броневиком, была явной приманкой для противника. Более того, эта совсем непрактичная боевая единица не годилась для снежных горных дорог, и бойцам батальона часто приходилось носить на руках бронированную неуклюжесть.

Отчаявшись, мы двигались, уже пренебрегая осторожностью и расчетом. А ведь жестокий и коварный враг так старательно и настойчиво обучал нас этому в течение нескольких лет войны!

Когда наша колонна, в очередной раз окутанная туманом, остановилась, потеряв ориентиры, ко мне сзади... нет, не подошел, а придвинулся, как шкаф, один из четырех наших батарейных великанов, командир третьего орудия сержант Патрин. Он глубоко вдохнул, да так много захватил в легкие воздуха вместе с туманом и еще с чем-то потяжелее, что погрузнел, и снег под его сапогами звучно скрипнул. А на длинном выдохе он басовито прошептал: «Кажись, здесь. Чую». Патрин, обстоятельный смоленский крестьянин, безошибочно предсказывал погоду, всегда точно выбирал противотанковую позицию и, как хорошо натасканный охотничий пес, обладал безотказным чутьем на врага да на проверочные комиссии.

И как бы в подтверждение предчувствий Патрина пальнула пушка противника, почти мгновенно последовал взрыв. И еще раз... Или это уже было эхо?! Из чего (из танка или противотанкового орудия) и откуда-куда стреляли? Для нас это было очень важно, но определить не удалось. Потому что эхо быстро, воровато ухитрилось подхватить эти бесстрастные жесткие звуки и, раскатав их по складкам гор, превратить в настоящую рапсодию. Иногда солировали, как кларнеты, крупнокалиберные пулеметы...

Уплотненный звуковыми волнами туман наконец отгородил нас от всего того, что нам необходимо было знать, чтобы принять хоть какое-то решение! Уже совсем стало неясно, куда двигаться и откуда ждать неприятностей. Невозможно было понять, наткнулись ли мы на оборону или на танковый патруль врага, способный в туманном мареве раздавить всю нашу колонну. Горная рапсодия, сотворенная эхом, начала походить на похоронный марш. Недолго было и растеряться! Тем более что в составе батальона преобладали новобранцы.

Неожиданно выручил нас негромкий, но достаточно мощный хлопок. У этой звуковой волны хватило силы разорвать в мелкие клочья упругую кисею тумана, скомкать эти клочки и разбросать их в разные стороны. Батальонный люд сразу прозрел. Но тут же показалось, что взрывная волна все это проделала, дабы представить на наше обозрение (упредить или напугать?)... сцену из Адова Бытия, которая не могла не потрясти нас.

На самом выходе из ущелья, где застрял батальон, на солнечной поляне от взрыва вздыбился снег. А когда он осел горящими сверкающими искрами, мы увидели, что шедший впереди нашего отряда бронеавтомобиль совсем разворочен, а из его разломов вместе со смолистым дымом вырываются языки пламени — ни дать ни взять огненные дьяволята, похожие на осьминогов, и набрасываются они на все и вся, что попадалось на пути их хаотичного движения, — на белизну снежного покрова, на скальные выступы, на ветки мерзлого орешника... И к чему бы ни прикоснулись огненные бесы, все сразу же воспламенялось-пылало. Огненная пляска усиливалась музыкальным сопровождением: то сурово, то истерично повизгивая, залихватски захлебываясь, строчили крупнокалиберные пулеметы врага, свистели на все лады разлетающиеся в разные стороны рикошетирующие пули... Чертенята-осьминожки наскочили на остывающие тела погибших разведчиков и принялись ожесточенно их терзать, будто пытались из неживых уже вытряхнуть чуть теплящиеся души. Тех из бойцов, которые еще подавали признаки жизни — пробовали приподнять-





ся, ползти, — дьявольские щупальца обхватывали с особым злобным сладострастием и душили в огненных объятиях. Раненые безнадежно пытались сопротивляться. Но старательно помогавшие адовой силе мощные пулеметы беспощадно добивали слабеющих бойцов. Вражеские пули валялись по чернеющему, шипящему, горящему снегу раненых, будто невидимые руки переворачивали бедняг на сковороде, поджаривая, пока стрелявший противник не убедился, что жизнь навсегда покинула искромсанные тела наших товарищей. Только тогда картавая недобрая ругань вражеских пулеметов смолкла.

Все это происходило на глазах сотен людей, бойцов, которые готовы были рвануться на помощь однопольчанам или сейчас же броситься на врага и отомстить за гибель товарищей. Только воинский долг оберегал их от рискованных порывов. Они пришли сюда не для разборок. Но как развернуться для настоящего расчетливого удара на таком несурзном поле боя?! Чувство беспомощности, повисшее облаком над батальоном, готовое уже было поселиться в душах стрелков, быстро развеялось. Потому что среди бойцов и командиров этой части возвышался (другого слова я не нахожу — он действительно был всегда и отовсюду виден) майор Василий Васильевич Карпов, которого после боя уцелевшие стрелки будут именовать не иначе как Карпатов! Он высок, статен... Я не смогу описать красоту и значимость этой фигуры — комбата-2 (по номеру батальона), а его положительные качества можно перечислять долго, но главные — нужность, умелость и надежность — почему-то сами собой отодвигаются в конец перечня, хотя с них всегда следует начинать.

— Нервничает немец. Это хорошо. Он даже побоялся увидеть, кто следует за броневиночком, — взвешенно и спокойно сказал майор стоявшим рядом с ним офицерам.

Но эти слова, кажется, слышали многие. Мнение командира устно множилось, и люди веселели.

Тот батальонный народ, который ходил с майором не один раз в атаку, месяцами держал оборону в жестком окружении, верил... да что верил?! Знал, был уверен, что Василь Васильич непременно найдет решение — даже в запутанной круговерти горной неразберихи.

Эта вера заражала и новеньких бойцов — немаловажное обстоятельство, так как перед новой операцией их всегда было большинство. И майор Карпов хорошо знал, чего ждут от него стрелки — от бывалого первого замкомбата до последнего новобранца.

Но комбат-2 не был гениальным военачальником, не был он и факиром, достающим единственно правильное решение из своей шапки или из клубов пара, выдыхаемого разгоряченными бойцами. Будучи в мирной жизни учителем биологии, по природе своей обстоятельным человеком с наклонностями исследователя, немного медлительным и занудой, он, как и в школе — где не кормил своих учеников готовыми открытиями, а вовлекал их в захватывающий мир познания, — всех своих стрелков, всех без исключения, превращал в соавторов решений, которые приводили чаще всего к ратным победам. Все свои соображения майор высказывал вслух и тем самым заставлял прислушиваться ко всему, всматриваться во все, что относится к предстоящему бою, не упуская ни одной подробности, ни одной детали, которыми никому и никогда не следует пренебрегать, особенно в действиях, чья цена — человеческая жизнь.

Батальонные стрелки, вооруженные не только автоматами и гранатами, но и хорошим пониманием задач боя, готовые ко всяким просчитанным неожиданностям, выглядели умелыми и значительными бойцами. Они увлеченно вовлекались в это действие, я бы даже сказал — в игру, оставаясь захваченными ею и после боя. Говорили, спорили о его перипетиях, совсем забывая, что это был смертельный бой и многих товарищей стрелки не досчитались.

Да и то, что они, бойцы батальона, именовались стрелками, тоже их по-особому организовывало. Это майор их называл не иначе как «стрелки», стремясь внушить своим подчиненным особую ответственность за принадлежность к механизированным войскам. И бойцы уверенно стали себя так величать, подчеркивая свое отличие от обычной пешей пехоты, стали гордиться этим званием. Гонором быстро заражались и новоприбывшие.

Ну, в общую Победу мы все верили безоговорочно и с самого первого дня войны. Но чем ошутимее становилась близость такой желанной победы, тем чаще напоминал о себе вопрос: «А вот достанется ли она каждому из нас в отдельности? Да еще на таком



затейливом театре военных действий, как Карпаты?» В этом уверенности, конечно, никакой не было. Более того, по теории больших чисел вероятность сохранить жизнь до самой победы человеку, вступившему в войну в 41-м году, была крайне мала. Поэтому каждый новый бой накануне победы для такого отдельно взятого воина мог стать последним. И для меня, и для моих товарищей. Мог — и становился, черт возьми!

Поэтому казалось, что робость, страх неотвратимо должны были въедаться в души, сжимать сердца, наполнять колени дрожью — ну кому охота в канун победы расставаться с жизнью, с близкими, любимыми, с почти завоеванным миром?!

Но... Близость победы опьяняла, и хмель не давал думать о грозящей опасности, заставлял забывать обо всех нешуточных угрозах, таившихся за каждым выступом горы и в каждой щели, заставлял относиться к противнику и вообще к войне только философски! Легкость мыслей необыкновенная, особенно проявившаяся в разреженном воздухе высокогорья, чуть не превратила нашу батарею в детскую игровую площадку. Естественно, не что иное, как прозрачный чистый воздух, чистая-пречистая, сверкающая белизной снежная пелена, укрывшая высотки и впадины, подвигли наводчика четвертого орудия — маленького, шустрого, ясноглазого и постоянно улыбающегося Журавлева (по прозвищу Журавлик, потому как, начиная говорить, он всегда взмахивал обеими руками, будто собирался взлететь), так вот, этого Журавлика подвигли напомнить товарищам монолог Щорса из довшенковского фильма, в котором герой говорит: «Вот явемся мы своим потомкам светлыми, чистыми, без предательств и матюгов...» И предложил он: «А мы не будем ждать исторической чистки для потомков и продраим себя сейчас, чтобы явиться к своим — после победы — светлыми, ясными!»

Вчерашним школьникам идея понравилась, и они приступили к выработке правил игры, которые вызвали оскомину у представителей старшего поко-



ления. Последним очень трудно было подыскивать замену привычным словам.

Зато у наших «стариков» (женатых и детных) получилось естественное движение. Притупившись было отцовские чувства и стремление побереечь юных несмышленных бойцов (напоминавших им родненьких чад), которые, по их мнению, не научились за всю войну ценить свою жизнь, и помочь им уцелеть, даже ухватиться за древко знамени победы, чтобы донести его до родного дома, дали о себе знать. Отцы-женатики, или самозванные дядьки Савельичи (по определению молодого заряжающего четвертого орудия Вацлава Ташкова, аналитика по призванию и студента истфака КГУ), стали незаметно, но старательно самую трудную и опасную работу брать на себя, оберегая молодых от риска. А юным Петенькам Гриневым, имевшим достаточный боевой опыт, только и мечтавшим о подвигах, было поначалу невдомек, чего хотят «отцы», когда слышали от них предупреждение: «Куда лезешь в пекло?!» Они отвечали, случалось, удивляясь: «Да тут, батя, везде пекло?» Но на конкретный упрек: «Да побереги свою дурью башку! О матери подумай!» — молодежи приходилось отбиваться развернутыми ответами: «Да ты сам о своей женке подумай — небось все глаза повыплакала, да и семеро по лавкам сидят: дожидаются, кто кормить будет. А у меня мать молодая — другого родит».

Тешиться такой забавой можно было бы долго, если бы игра не доходила до абсурда и уже не добралась бы до меня.

Надо сказать, что Савельичей в батарее было побольше, а Петруши в основном — командиры орудий и наводчики. Так что страдала субординация, и непривычные споры просто мешали работе. Особенно в тот критический момент. Тем более что работа наша вовсе не нуждалась в театральности, определенной по-научному Вацлавом Ташковым как гипертрофия душевной широты и заботливости.

Пришлось дать команду: «Отставить!» и добавить, чтобы не обидеть пожилых батарейцев в лучших чувствах: «Посмотрите на себя со стороны, ребята...» Кто-то буркнул: «Тоже мне тимуровцы!» (был перед войной такой фильм для детей «Тимур и его команда»), и «оберег» иссяк. Начали свое движение Савельичи, не стовариваясь, не согласуясь, и порешили его.

Иосиф Иванович не знал, что на огневой новое движение Савельичей приказало долго жить, и, находясь в это время на НП (наблюдательном пункте), решил меня побереечь. Посчитав предстоящую операцию очень трудной и опасной, он предложил мне передохнуть на огневой. Она находилась намного дальше передовых окопов. Справится, мол,

сам. Я знал все о предстоящем бое. Более того, оговорил его во всех подробностях с командиром стрелкового батальона, который мы поддерживали. Бой обещал быть сложным. О чем Иосиф Иванович должен был в столь напряженной обстановке если не знать, то хотя бы догадываться. Это, да и то, что он нарушил иерархию в самый неподходящий момент, вместо того чтобы подавать достойный пример другим, заставило меня разлив легкомыслия ввести в берега. Когда я вскочил в окоп наблюдательного пункта, то высказал ему все в довольно резкой форме. А он с сожалением посмотрел на меня и с высоты своих лет произнес, запрокинув голову, как это делают поэты:

— «Пойми со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь!.. Не знаешь, ты, что жить на свете стоит».

Я подумал, что стихи он сам сочинил и поздравил его. Но холодно.

— Вот видишь, — не унимался Еська, — ты еще не знаешь стихов Есенина! Как много тебе нужно еще узнавать...

Я действительно тогда не знал стихов Есенина. Имя слышал. А «кулацкого поэта» в школе тогда не проходили. В библиотеках его книг не держали. И кто-то очень старался, чтобы произведения «певца кабаков и пошлой любви» на глаза и в руки советским людям не попадались.

Но нам некогда было обсуждать эту проблему — батальон просил огня!

Бой складывался трудно, клочковато, получился каким-то комканым, рваным и очень кровавым. Своей одной головой Еська-взводный, конечно же, не обошелся бы. Тем более что батареей я лучше его стрелял. Он это знал. Да и подготовка огня для поддержания атаки необходима была тщательнее обычной. Ожидалась еще танковая контратака. Для чего понадобилось подбирать и оснащать для прямой наводки орудия, которые могли бы в любой момент появиться на пути вражеских танков. Еська-взводный должен был это понимать!

Батальонная атака началась очень странно из-за неожиданного схода снежной лавины, подхватив наших бойцов, выдвинувшихся в сторону вражеских позиций. Быстрое продвижение солдат походило на светопреставление и напугало немцев. Те выскочили из окопов и приготовились уже бежать, а увидев, как забарахтались в рыхлом снежном потоке наши, обрадовались, заплясали в открытую и стали расстреливать беспомощно барахтающихся и быстро приближающихся к ним наших бойцов...

Но то, что моя батарея и минометная рота успели хорошо пристрелять позиции противника, испортило немцам веселье. Наш шквальный огонь отрезал



их от позиций и заставил нырять навстречу наступающим — в пучину снежной лавины! И она погребла многих. Все же некоторым нашим пехотинцам удалось вползти в немецкие траншеи.

Танки противника попытались было ударить им во фланг, но пройти снежный вал не смогли. А наши пушки на изготовленных самими пушкарями щитах, чтобы орудия держались «на плаву», подхваченные снежным потоком, «подплыли» вплотную к четырем машинам противника и расстреляли их в упор. Только одна пушка четвертого расчета от столкновения повредилась. При этом погиб Журавлик. Он, как обычно, взмахнул руками, будто намеревался взлететь. Но снежная лавина успела поглотить его... Батарейцы потом долго искали Журавлева, но найти так и не смогли. Боль утраты близкого всем, любимого всеми нами человека, с которым пройдено, прожито почти три года войны, — неопишима.

Как начинаются атаки — понятно: для этого подается условный сигнал. А как они заканчиваются? За четыре года войны, участвуя во многих боях, я так и не усвоил: как?

Неожиданно смолкает перестрелка, наступает тишина. Иногда еще может быть услышан последний выстрел или взрыв мины, на которую случайно кто-то наступил, — это уже похоже на тяжкий выдох притомившегося воина, и бойцы садятся, закуривают, бродят в поисках трофеев. Свободно по недавнему полю боя разгуливают санитары и похоронные команды...

Кажется, что сражавшиеся очень устали и остановились без всяких условий на реальных рубежах — позже, мол, разберемся...

А мы, я и Еська, хоть и не носились в рядах наступающих, от напряженного слежения за целями и ходом боя тоже очень устали, как подкошенные плюхнулись на дно скальной расщелины, служившей нам укрытием, прислонились спинами к стылым стенам и затихли. Еська протянул мне фляжку с водкой. Протянул нерешительно, виновато, опа-





саясь того, что недовольство им у меня еще не выветрилось и я могу отказаться от предложения. Но я не отказался. Мы выпили. Вытерли губы пушистыми отворотами наших полушубков, пропахших бензином и дымком — будто закусили. И он без передыху начал:

— «А ночью выплывет луна. Ее не слопали собаки, она была лишь не видна из-за людской кровавой драки. Но драка кончилась... И вот — она своим лимонным светом... сиянье звучное польет...» Это вот — Есенин, — закончил Еся.

Я почему-то сам догадался. Эти стихи показались похожими на те, что он мне прочитал, когда я только пришел на НП. И я кивнул. А Еся, поняв это по своему, и, будто открыв кран, окатил меня потоком есенинских стихов: «Теперь метель вовсю свистит в Рязани...», «Слышишь, розу кличет соловей...»

Тут меня закружила «листва золотая в розовой воде на пруду»; я залюбовался березкой, с которой заигрывал «отрок-ветер»; заслушался «песнями дождей и черемух»; даже встал рядом с пьедесталом, на котором высился «он, с рукой своей воздетой», и «сказал, что мир — единая семья!».

И вдруг, как выстрел в упор: «Мне и Ленин не икона...» Но что это? Я почему-то жив и еще слышу: «...сестра разводит, раскрыв, как Библию, пузатый “Капитал”, О Марксе, Энгельсе... Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал». Это не могло не оскорбить и...

Я вскочил. Что-то надо было сказать, но я не мог сообразить, что. Стал почему-то оглядываться...

Еся не понял, почему я вскочил, и продолжал:

— Понимаешь, вот странное дело: Троцкий любил Есенина, дружил с ним, а Сталин почему-то...

Это уже было слишком! И это я слышу от Еськи, с которым прошли столько боев и знали, казалось, друг о друге все!?

— О чем ты говоришь? В такой момент, когда идет бой на всей планете за идеи Леина и Сталина! Зачем ты приплел нашего самого злейшего врага спяну? Да и твой Есенин тоже хорош.

Написал эти строки, и даже сейчас мне стало как-то не по себе, тревожно (мне, сегодня большому поклоннику Есенина и человеку, хорошо знающему цену Троцкому), потому что отчетливо вспомнились годы, предшествовавшие войне. Когда наши люди непрерывно и с большим волнением обсуждали тревожные сводки газет об ожесточенной классово-вой борьбе и непрекращающихся внутрипартийных схватках. Мне досталось только запомнить, как добивалось «троцкистско-бухаринское отребье» и «кулацкие последыши», и клокочущие расплавленной лавой митинги, требующие расправы над «врагами народа». Меня даже сейчас обжигает память о



том времени. А Иосиф Иванович должен был хорошо помнить, как протекала эта борьба. Как удалось Сталину, «верному ленинцу», выстоять в неравной борьбе с «оппортунистами всех мастей», построить «социализм», мощное государство, песенную жизнь, которой мы радовались и которую так отчаянно защищали!

Как и в тот день, по волне снежного схода шли в атаку с именем Сталина на позиции врага бойцы стрелкового батальона.

А я продолжал выкрикивать неожиданно громкие для себя слова. То ли я хотел защитить идею, на которую покусился Еська со своим Есениным, или Еську, чего-то не понимающего, маленького, съжившегося, как выжатый лимон. Но ему, такому, я видел, было не страшно. Он удивленно смотрел на меня. А я озирался почему-то. Всмотривался в окружающих нас... То ли искал у них поддержки, то ли опасался их почему-то...

Разведчик Иванов был полностью поглощен поиском путей к нашему новому месту расположения. С помощью стереотрубы он старательно проверял все возможные варианты.

Разведчик Данович уже собрался идти вперед вместе с телефонистом Меркуловым. Меркулов! Меркулов! Вот он! Но я его вижу только со спины. Память почему-то не позволяет разглядеть его лица. А к нам приближался, сматывая кабель от старого КП батальона, связист Голубь.

Но меня что-то продолжало беспокоить. Я всегда уверенно чувствовал себя в бою. Я умел постоять за себя и своих подчиненных перед начальством, когда это нужно было. Я, наконец, никогда не испытывал страха смерти. А тут меня что-то пугало... Вдруг вспомнилось почему-то: в только что освобожденном селе на Смоленщине ко мне подошел справный пожилой мужик и спросил: «Как вас теперь величать — господин аль товарищ офицер? (Тогда только ввели погоны.) «Товарищ!» — гордо ответил я. «Скажи, а колхозы будут?» Я растерялся. Меня смутил вопрос и то, что я не знал, как на него ответить (ведь в то время был уже распущен Коминтерн,

стали служить в церквах...). При случае я обратился за советом к нашему замполиту. А тот, страшно расвирепев, маленький, даже приподнявшись на носки, выпалил: «За такие вопросы — вешать будем!» (Тогда только ввели у нас казнь через повешение для предателей, врагов народа.) Из далекого детства припомнилось: моего дядю сажали три раза, последний раз он не вернулся. Бабушка сказала (хорошо запомнил я): уж больно востер язык у нашего Сашки, много болтает. И тогда мне по-настоящему стало страшно за Еську! А о себе я почему-то не думал. Сейчас же захотелось сказать, что тогда, должно быть, мало кто о себе думал.

Этот эпизод (разговор с Еской о Есенине, Троцком), почему-то неприятный для меня, должен был наверняка вскоре откатиться в дальний уголок моей памяти и, захламленный другими разными эпизодами, случаями, померкнуть, забыться... Если бы через день на дивизионном штабном совещании ко мне не подсел уполномоченный СМЕРШа с обычными распросами о поведении и настроении интересующих его батарейцев. Между делом сказал уполномоченный, что его очень удивило мое участие в странном обсуждении творчества странного поэта на наблюдательном пункте во время боя (сказал это мне, даже не упомянув имени Троцкого, хотя наверняка знал, что оно упоминалось на НП). Он сказал, что верит в меня, что я человек надежный, но советует не забывать, за что я воюю. И попросил не спрашивать его, откуда ему это стало известно. Я, разумеется, не спросил. Я понимал: такая у него работа.

Но меня это сильно озадачило и осложнило мне жизнь. До этого я особенно ни о чем таком не задумывался. «Еська — сам? Решил облегчить мне жизнь? Или решил себя обезопасить? Не может быть?!» Тогда я пошел его спрашивать. Но стоило мне к нему приблизиться, как он сам выплеснул встречную тираду: «Зачем ты наядбничал (перед этим словом он замялся, подбирая замену распространному тогда “настучал”, чтобы меня не обидеть) смершевцу о нашем вчерашнем разговоре: “Троцкий самый злейший враг! Кулацкий поэт!” Не вы ли, вступая в партию, заявляли, что хотите умереть коммунистами — это я и ты?! Ты что, спятил? Знаешь, чем это пахнет?» — со знанием дела выпалил Еська.

Мне еще не удалось выдавить из себя ничего кроме удивленного «я?», как он, наверное, по моему виду, заключил: «Понял. Значит, надо думать, кто».

А недавнее поле брани стало совсем чистым, белым. Замело его толстым снежным слоем. И погибших, и, должно быть, раненых. Будто и не было никакой



брани. Даже горы притихли. Будто чувствовали себя виноватыми за все, что здесь произошло.

Вдруг вставшие кружком батальонные ребята стали пускать вверх по оговоренной, вероятно, системе разноцветные ракеты. Немецкие трофеи, похоже? А в результате появилась виртуальная, как теперь сказали бы, украшенная елка в центре недавнего поля боя. Хлопки. Свист. Радостные выкрики. Праздник! И действительно, какое сегодня число? Наступил новый год или нет?! Новый — 45-й!

Нет еще. Но скоро — вот-вот...

\* \* \*

Да, предвкушение близкой большой Победы опьяняло, завораживало и заставляло произносить громкие речи, потому что Победа и Мир, это все понимали, нужны были не только нам самим, нашим матерям, нашим настоящим и будущим детям, но и всему прогрессивному человечеству. Тогда мы мыслили только такими категориями и постоянно произносили эти высокие слова. И чем выше мы поднимались в горы, тем торжественнее становилась наша речь.

Может быть, поэтому в те дни чаще, чем прежде, можно было видеть радостные, я бы даже сказал, возбужденные лица товарищей и слышать их разительный смех. Смех можно было слышать во время наведения переправы через ущелье (занятие очень сложное и опасное), когда юный наводчик третьего орудия Лакманчик не нашел лучшего места и времени, чтобы рассказать о своей победе над представительницей противоположного пола — наверняка выдуманной. И никто не оборвал его, не упрекнул за это: мол, не время шутки шутить, как это случалось раньше. Наоборот, женатые солдаты усмехались в усы, а ровесники дружно гордились новыми похождениями товарища. Нет, это не было бравадой, оглушением страха, нет. Это было состояние духа...



Гогот до упаду сильно раззадорил горное эхо, в то время как первый орудийный расчет чудом удержал скатившуюся было в пропасть пушку и с удивлением обнаружил, что на стволе отсутствует противовес (это чтобы легче было поднимать станины и свободнее ими маневрировать — кто-нибудь из расчета повисал на кончике ствола для равновесия). На этот раз роль противовеса исполнял вновь прибывший перед походом солдат по фамилии Степняк. Он пришел к нам после госпиталя из пехоты и поэтому не очень понимал даже такой простенький маневр в перетаскивании орудия. Вот он, Степняк, и соскользнул со ствола пушки в пропасть. Но чудом остался цел, зацепившись за крепкий сук единственного дерева, торчавшего из скалы.

— Ну, ладно, хлопцы, знимить, — канючил украинский паренек буднично и как-то по-детски, словно товарищи его нарочно подвесили, чтобы подшутить. Не хватало только слов «больше не буду».

Подвешенному скинули веревку. Но он никак не мог ею распорядиться — дрожащие руки не слушались. Поэтому, под несмолкающий хохот батарейцев буркнув привычное: «У-у, дура», наш разведчик Иванов, умело обвязав себя веревкой альпинистски и все же рискуя собственной жизнью (он все умел делать, но это, над пропастью, он делал впервые), ринулся на помощь.

Степняка сразу переименовали в Горского или Нагорного. Точно не помню. Помню только, что старшинская служба вносила его новую фамилию в списки на довольствие, отчего, естественно, возникла путаница. И к удовольствию первого расчета появлялись лишние порции питания.

А перед этим батарейцы подхватили спасенного счастливого и поволокли на огневую позицию к костру. Притом не столько из жалости к пострадавшему и не из уважения к его величеству случаю, сколько по укоренившейся привычке что-нибудь и куда-нибудь таскать и волочить.



Степняк — востроносенький, упирающийся в истертую ткань бэушной шинели своими косточками, не успевшими по-настоящему обрасти мясом и жиром, — долго сидел у костра и никак не мог согреться. Дробно перестукивая зубами и шмыгая носом, он не переставал переживать случившееся. Иванов ласково, с едва уловимой улыбкой смотрел на спасенного новичка, будто только что сам родил его. «Дура», — бормотал разведчик. Это было его любимое слово. Порой казалось, что единственное, им употребляемое. В батарее всем нам были известны бесчисленные модификации и модуляции этого слова: дура, дурында, дуралей, дурь... — всех не перечесть. Но изредка доводилось все же услышать от Иванова, вопреки его привычной и любимой краткости выражения мыслей и чувств, предложение распространенное и состоящее даже из малознакомых слов.

Мастер артиллерийской разведки Иванов, насколько я помню, служил в батарее со дня формирования дивизиона, и знали его хорошо все. Но никто никогда не называл его по имени — Илья, а тем более по отчеству — Петрович. В Иванове — скорее в интонации, с которой его фамилия произносилась, — содержалась вся информация о нем: рост, вес, характер... Он был большой, тяжелый, казалось, нескладный. Шел всегда последним, но никогда не отставал и поспевал, куда нужно, в самый нужный момент. Огромная увесистая голова покоилась на груди, потому он смотрел на мир исподлобья, угрюмо выражая недовольство своим весом и постоянной необходимостью таскать страшный груз по деревьям и крышам, а теперь еще по скалам. То, что он добр, покладист и очень надежен, знали только близкие товарищи. А так легко угадывающаяся недюжинная сила и суровый взгляд уже сами по себе были угрозой.

Но однажды сержант танкового десанта не обратил на это внимания. И когда мы шли вместе на исходные позиции, бросил Иванову, даже не повернув своей головы:

— Бог войны, отвали, это наш фарт. Богу — богово, а кесарю — кесарево, а мы — царица полей!

— Еще поговоришь — сделаю кесарево сечение.

Десантник оглянулся и сразу заблеял:

— Ладно-ладно, я пошутил. Вперед, поддерживай, артиллерия! — отговорил десантник и сразу отошел в сторону.

Услышав голос Иванова, я невольно оглянулся. Иванов выглядел как всегда. Неужели это он произнес столь витиеватую фразу?!

Нет-нет, мне не хотелось создавать впечатления, будто разведчик вообще был ограниченным человеком с крайне малым запасом слов. Меня удивило



то, что он нарушил свой собственный принцип сдержанности и экономичности. Я знал, что Иванов перед войной окончил среднюю школу в приволжском городке, даже успел поступить в Сталинградский институт пищевых технологий. Кажется, так он назывался? Правда, многие, попав на войну, забывали то, чему их учили, сохраняя одну природную способность — приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. Иванов — нет. Он был вдумчив, несуетлив, ценил опыт, слова, имел идеалы.

Он знал и любил стихи. Это он прозвал Степняка «мечтатель хохол», когда новенький на занятиях по вязанию альпинистских узлов отвлекался на разглядывание букашек или устремлял свой задумчивый взор вслед проплывающим облакам, поводя вострым носиком, как указательным пальцем.

Степняк после гибели Иванова рассказывал, как разведчик читал ему светловскую «Гренаду», учил его рисовать. Новенький часто и много, при любом удобном и неудобном случае, рассказывал о своем наставнике. Все-все, что успел от разведчика узнать и запомнить, потому что винил себя в его нелепой смерти.

Пошел Степняк с ведром и веревкой к колодезю — воды набрать, а тот из-за неразумных пользователей весь обледенел. И вокруг. Привязал Степняк к ведру веревку выученным узлом. Но поскользнулся на приколодезной наледи и уронил ведро вместе с веревкой в колодец. Увидев это, Иванов буркнул: «Эх, дура!» И пошел доставать ведро. Заглянул в колодец, чтобы определить глубину... и тоже поскользнулся. Но собственная тяжесть увлекла Иванова в обледенелую пучину.

Сбежались товарищи. Наш энергичный и умелый здоровяк санинструктор быстро организовал спасательную операцию. Но когда разведчика извлекли из колодца, он уже был неживой.

Гибель, смерть молодого человека — вообще явление несуразное и отвратительное. Подумалось даже: зачем тогда рождаться, чтобы вот так, в одночасье, вычеркнуться из жизни, да еще по воле слепого случая или того хуже — от руки тебе подобного, что случалось на войне постоянно...

Это была для нашей батареи тяжелая утрата. Иванов был очень нужным человеком. Потом Иванова не просто любили — многие были обязаны ему спасением, жизнью. Его умелость и надежность помогала другим утвердиться в самих себе. Он многих многому научил. Даже неподдающегося связиста Меркулова. О! Меркулов наконец повернулся ко мне лицом. Почти круглое, немного одутловатое, тяжелые веки, почти полностью закрывающие глаза. Кажется, что он старательно рассматривает себя изнутри или просто спит. Вспомнил — он засыпал в

любое время, в любом неудобном для себя и других месте. Иванов научил его рационально размещать на себе катушку с кабелем, телефонный аппарат, автомат, вещмешок и котелок... Не успел только отучить Меркулова засыпать в самое неподходящее время в самом неподходящем месте и...

\* \* \*

Мы все учились друг у друга и у умелого врага, который, надо отдать ему должное, намного серьезнее, деловитее относился к войне, чем наши люди. Но мы многому научились. И быстро. Если учесть, что сами горы так близко мы увидели впервые, что у нас не было специальной подготовки, специального оружия, оснастки и одежды, то можно даже считать, что был совершен подвиг! Конечно же, не без помощи народной мудрости. Особым подспорьем были поговорки и пословицы, вроде «Голь на выдумки...», «Не имей 100 рублей...», «Один за всех...», — они надежно работали, давая нам возможность чувствовать себя уверенней. Безотказно работала русская смекалка. И хорошо, что у других народов аналогичная мудрость тоже сохранилась, поэтому Сигбаулин, Каримов, Фахман и Маркус ни в чем не уступали своим товарищам-славянам.

Мы научились ориентироваться в горах, измерять расстояние (для артиллеристов это очень важно), научились эффективно передвигаться, выбирать позиции, укрываться от пушечного огня и налетов авиации — вести бой. Мы поддерживали танковые атаки, прикрывали вылазки пехоты и даже набирались наглости самой батареей совершать вылазки на врага и устраивать ему ловушки.

Записал и подумал: прописные вещи, а сколько сил, страхов, крови и жизней отняли у нас эти уроки.

И мы теснили умелого и хорошо оснащенного противника. Теснили все ближе к тому перевалу, за которым должны были открыться словацкие земли — уже не горы, а холмы, долины. Мы перестали обращать внимание на всякие там штучки гор: оптические и звуковые ловушки. Больше того, мы даже пробовали их использовать, чтобы обмануть врага. И получалось: стрельнем разок-другой — эхо и снежные лавины проснутся, устроят скандал, заставят врага поверить в наши серьезные намерения и мобилизоваться для мощного ответного удара. А мы, пока он готовится, успевали переместиться на другую позицию, позволяющую наблюдать его маневры, чтобы наносить более ощутимый урон.

Для нас уже перестало быть проблемой спасаться от камнепадов и снежных обвалов, перебираться через несговорчивые речки, взбираться на неприступные (на вид) высоты или перешагивать через зияющие прожорливые пасти ущелий. Если туда



случайно падали котелок или пустая гильза из-под снаряда, то это по-прежнему впечатляло, но не пугало и не останавливало. Даже не забывали подшутить над уронившим товарищем: «Плату не забудь взять! С нас ведь требуют» (имелась в виду необходимость отчитываться за каждую стреляную гильзу).

Но горы не простили нашей самоуверенности. Когда у них иссякли собственные возможности причинять нам неприятности, они прибегли к помощи небесных сил, с которыми были на «ты». И нам стало значительно труднее преодолевать препятствия, которые возводили на нашем пути горы и небеса общими усилиями.

Среди зимы на нас неожиданно обрушился самый настоящий ливень. Да как раз в тот момент, когда батарея с невероятными усилиями только-только взобралась на вновь облюбованную огневую позицию.

Дождина, который у нас называется «как из ведра», не успокаивался до тех пор, пока батарейцы, промокшие до нитки, сами не начинали чувствовать себя раскисшими, а выгодную для нас огневую позицию не превращал в слякотную делянку. Но не успевал дождь закончить свое гнусное дело, как из-за скалы подкрадывался студёный ветер и начинал старательно превращать недавние струи и лужи в лед. И довольно быстро, на глазах. И случалось это, как правило, накануне ночи, аспидно-черной, непроглядной.

Светиться факелами и греться кострами было неразумно: можно было стать легкой добычей для неприятельских минометов или мортир. Во тьме, не видя друг друга и не отходя ни на шаг в сторону от того места, где нас застал мрак, мы прыгали, дергались, чтобы согреться и дожить до утра.

А поутру близкое солнце попыталось нас согреть, но при этом не забыло растопить на огневой позиции лед и смешать его с легким земляным покрытием скальной площадки, на которой стояли еще не расцепленные машины и пушки. Скользя и падая, батарейцы принялись обустроить огневую. Отцепили первое орудие. И только опустили сошники долу, как выскочил, словно из укрытия, ждавший удобного момента злой-презлой ветрище и, упершись в пушечный щит, точно в парус, погнал орудие к пропасти. Окоченевшие за ночь руки и ноги пушкарей не в состоянии были вырвать пушку у ветра. И она, неся на своих не разведенных еще станинах тело крепко спящего связиста Меркулова, нырнула в пропасть.

Подойти, даже подползти со страховкой к краю пропасти и посмотреть, как и куда унесло орудие и Меркулова, не получалось, да и очень рискованно

было. Хотя риск для нас стал делом привычным, все же, все же... Да и народ успел высказать несколько дельных предложений, и пришлось повременить с решением, чтобы выбрать лучшее. Стали готовить экспедицию. Расчет первого орудия, подобно заправским скалолазам, обмотавшись веревками и вооружившись самодельной оснасткой, отправился на поиск.

Вдруг подумалось: вот я написал — «унесло орудие с Меркуловым», а не наоборот — «Меркулова с орудием»? А ведь это не описка. Такова была система ценностей. Скажем, после гибели связиста не возникало особых забот. Замполит, или я, как непосредственный его командир, или же близкий его товарищ сообщит родным эту печальную весть, будто бросит горсть земли на крышку гроба, отдав последний долг; армейский чиновник для порядка по-деловому даст знать в военкомат, где призывался погибший, — и все! А если что случится с той чертовой железкой?!хлопот не оберешься. Отчеты на нескольких листах. Проверяющие разных рангов. Комиссии. Собrania. Выговоры. Трибунал. И виноватого обязательно найдут и накажут. Такова была система ценностей, за которой зорко следили чиновники всех ступеней, за что получали очередные звания, награды. Могли они, конечно, если что не так, всего этого лишиться и на фронт, на передовую загреметь. Поэтому очень старались и нас не жалели.

Только непонятно было, почему они так боятся сражаться за Родину? Я и мои товарищи, наоборот, просились на фронт, рвались в бой, хотя прекрасно понимали, чем это чревато...

Подумалось... Это сейчас у меня есть время думать. А тогда время и обстоятельства диктовали нам свои условия.

У батарейцев было много дел, и переделать их никогда не удавалось. Надо было подыскать и обустроить мой НП, на огневой окопать пушки и машины, подготовить укрытие для первого орудия — о том, что его отыщут и приволокут, никто не сомневался. Иначе... Да об этом уже никто и не думал. Между делом нам пришлось помочь огнем нашей пехоте, которая отражала две контратаки противника.

В боевой суете мы подзабыли про поисковую партию. Но как только начала накатываться вечерняя темень, вспомнили и забеспокоились. Условные сигналы — крики и ракеты — не помогли. Только навлекли на нас огневые — пулеметные и орудийные — налеты врага. Пришлось послать в разведку сверхнадежных людей — здоровяков и умельцев Иванова и Гичкина (санинструктора). Это оказалось как нельзя кстати: расчет, волочивший пушку по крутому скользкому откосу, на самых подступах



к батарее начал уже выбиваться из сил. А так они добрались до нашей огневой позиции, когда можно было еще разглядеть друг друга и пушку и заметить, что она совсем не похожа на упавшую в пропасть — и окрас не тот, и чехлы новенькие. Заметили наверняка все, что у Ермоленко кроме привычного карабина через плечо крест-накрест надет автомат ППШ с выжженным на прикладе словом «Меркулов». Трудно было отвести глаза от этой надписи, но спросить никто ни о чем не решился.

И тогда поисковики, перебивая друг друга, рассказали, что произошло. Вниз им пришлось спуститься вдоль скалы. На выступах ее и на деревьях, торчавших из скальных трещин, везде были видны части нашей ненаглядной пушки, да еще обрывки какой-то ткани. Каждый добавлял какие-нибудь подробности, отчего становилось еще тоскливее. А на самом дне впадины или расщелины (кто ее там разберет — как назвать?!)... Тут все участники экспедиции заговорили, не учитывая способностей и свойств своего голоса. Притом кто-то весело, прихотывая, кто-то с грустью, а у некоторых глаза были полны слез.

Из этой разноголосицы мне удалось вычленить информацию о жутком зрелище, которое предстало перед очами батарейцев-поисковиков. Попробую воспроизвести то, что я понял: на дне пропасти в обнимку (как это — в обнимку — каждый должен был представлять по-своему) лежали расплюснутые немецкий танк и студер с нашими армейскими номерами. И люди, все погибшие — и наши, и немцы, человек двадцать.

Остальные батарейцы молча, выжидающе смотрели на поисковиков, но никто не произнес имени Меркулова. Не произнесли его и вернувшиеся из поиска. Только заряжающий первого расчета Сысин буркнул: «Растворился, гад...» «Дурра», — присовокупил Иванов.

Меркулов служил в батарее около года, но как-то ухитрился не стать своим. Нельзя сказать, что его не

любили и активно не принимали (у нас люди добрые и отзывчивые), а вот его замкнутость, непредсказуемость и мистическая способность накликивать беду и выходить невредимым из самых невероятных переделок настораживали и даже пугали. Но сейчас о пропавшем, даже, может быть, погибшем так не следовало бы. Поэтому все разом глянули на говоривших с упреком, хотя очень и почитали этих людей. Потом все растерянно молчали.

А немного погодя стали удивленно переглядываться, потому что на лице у Короткова, наводчика первого орудия, блуждала загадочная улыбка. Его, оказывается, совсем некстати переполняло радостное чувство, которое, не удержавшись, он выплеснул:

— Там внизу... А когда мы спускались... Моя пушка, — он разбросил руки в разные стороны, — ну совсем... на куски. Я аж...

Коротков, который провел большую часть своей жизни в сибирской тайге, умел хорошо говорить на языке птиц и зверей, но с большим трудом передавал свои мысли и чувства человеческими словами.

Его командир орудия Архипов — отличник в школе и поэт в душе — быстро и четко перевел на понятный нам язык то, что пытался поведать наводчик. Так как мы уже в общих чертах знали, что произошло, то оставалось получить представление о том, что пережил сам Коротков, наводчик вновь обретенного орудия, общий любимец.

— Он чуть не потерял сознание, как дореволюционная курсистка, — трансформировал речь Короткова Архипов. — Чуть не свалился (махнул рукой переводчик), когда увидел расчлененную пушку. Я его отвлекал как мог — пришлось насильно отвернуть его лицо в сторону, но на противоположной стене тоже, как яблоки, висели колеса на дереве. И щит на ветру раскачивается. Короткова затрясло всего, слезы ручьем, будто близкого кого хоронит. Но когда увидел — новенькую... Стал умолять — да нас и не надо было — чего добру пропадать...

Во время этого повествования Коротков все время радостно кивал, соглашаясь со всем сказанным.

— У нее номер такой же будет, да? — воскликнул Коротков, вопросительно посмотрев в сторону Маркуса, а потом робко на меня.

Мне ничего не оставалось, как подтвердить это. Да я уже и знал — Архипов мне успел перед этим шепнуть, что договорился с батарейными умельцами Маркусом (чеканщиком в мирной жизни) и Дебором (отбывавшим срок за угоны автомашины, тоже в той жизни), и они взялись перебить номера, чтобы избежать сложной для нас процедуры, очень любимой военными чиновниками: активирования, списывания, оприходования, бесчисленных объяснитель-



ных и допросов, могли бы еще заставить собирать детали разбитой пушки, как вещественные доказательства... А тут — добрые умельцы из найденьша сделают пушчонушку родной — № 17703. До сих пор помню этот номер, потому что у погибшей пушки, как и у ее преемницы, сложилась на войне очень непростая жизнь. Почти как у связиста Меркулова...

Обезоруживающая темнота и мертвящая холодина, как обычно в горах, свалились на нас мгновенно. Хорошо, что на этот раз на нашей позиции оказалось укромное местечко для безопасного разведения костра. Поэтому вскоре посветлело, потеплело на душах, стал закипать чай, захрустели сухари. Появился старшина с помощниками и термосами. Застучали котелки и ложки. Запахло кашей. Кто-то робко спросил:

— А-а?

— Будет, — понимающе успокоил старшина. И сразу забулькали «наркомовские сто граммов». Вчера старшина зажал норму, поэтому на этот раз (под пристальным вниманием батарейцев) она удвоилась.

Впечатления от пережитого в прошедшие сутки смешались у людей, утомили их, и, может быть, поэтому народ молчаливо согласился на тост за новую пушку, поднятый Архиповым. Обычно произнесение тостов происходило бурно, шумно, с обязательным спором — за что, за кого, конечно же, за Родину с ежедневными Бородино, за Сталина и за Победу!... А тут — не очень дружно крякнули, заглотнув горькую, и в наступившей после этого тишине отчетливо было слышно, как выпитое занюхивается пахучими ржаными сухарями, сохранившими запах родины. Но и это не оценивалось вслух, как обычно.

Потом пушкари дружно погрузились в неподвижное глухое молчание, уставившись на мерцающий, тихо потрескивающий огонь костра. Молчание было плотным, тяжелым.

Ох уж эти чеховские паузы! Когда погружаются в раздумья «старики» — понятно, они думают о доме, семье, о том, как там они? Как все сложится потом? А когда затихают и погружаются в молчаливое раздумье молодые ребята... По себе знаю, что в это время перелопачивалось все прошлое (и чем меньше оно, тем глубже копалось), настоящее (чем незначительнее, тем серьезней взвешивалось) и будущее (чем туманней, тем категоричней принимались решения). И казались эти решения единственно правильными и обязательными при исполнении. Когда же наступал момент перехода от слов к действиям, то эти думы развеивались, как дым, как утренний туман. Даже нечего было отправлять в загатники прошлого, где должен был накапливаться опыт.

Коротков в это время ревниво заглядывал в ос-

вещенные костровым огнем лица товарищей, ожидая от них каких-то слов о новой пушке. Наводчик второго орудия Сигбатулин, перехватив ищущий взгляд наводчика первого орудия, ничего лучшего не придумал, как ошарашить товарища задиристой фразой: «Но она (имелась ввиду новая пушка) так и не станет родной». Сигбатулин был наводчиком опытным, кадровым, служил в артиллерии еще до войны. Поэтому его мнение звучало авторитетно. И не зная, что возразить, Коротков, растерянно озираясь, молчал. Зато Архипов, учуяв что-то недоброе, отряхнувшись от раздумий, смело возразил Сигбатулину. Все-таки — командир орудия!

— Ничего. Удочерили? Воспитаем!

— Как меня! — радостно подхватил Степняк.

— Ты же — мальчик! Значит, усыновили, — заметил рассудительный заряжающий второго орудия Фахман.

— Да и ты — старший. Должен будешь ухаживать за ней, оберегать, — разъяснил опытный отец близнецов Сысин. — Вот у меня один старше на одну минуту — и то...

В это время решительно поднялся разведчик Иванов во весь свой исполинский рост. По лицу его читалось, что он хочет сказать: «Дураки, тишину, думу — испортили!» Но вслух он произнес:

— Тут еще осталось...

Второй тост подняли молча, не чокаясь. Этот тост был посвящен Меркулову. Все это подразумевали, но вслух никто не произнес.

Меркулов стал прорисовываться четче и вспоминаться все полней. Оказывается...

О Меркулове я знал такое, чего никто из батарейцев знать, скорее всего, не мог. Связист был очень замкнут, ни с кем никогда не откровенничал — ни в батарее, ни во всем дивизионе у него не было сколько-нибудь близких знакомых, тем более друзей. Поэтому никто ничего не знал о его прошлом. Ну а я... Мне под большим секретом поведал его историю (короткую, но довольно цветастую и запутанную) уполномоченный СМЕРШа. Не для сплетен, разумеется, а для службы.

Отца Меркулова, партработника областного масштаба на Урале, осудили без права переписки. Мать от отца отказалась под влиянием деда — отца матери, бывшего лавочника, не любившего Меркулова, «партейца», и его детей, — сошлась матушка нашего связиста с другим мужчиной и уехала в другой город. А перед этим забрала Артема (так звали Меркулова-младшего, но по имени у нас его никто не звал: Меркулов, и все). Так вот, забрала она сыночка из школы (так ей посоветовали учителя, будто учиться плохо стал, баловаться, грубить) и отдала в ФЗУ по линии телефонных дел. Вроде как в жизни



может пригодиться. Но оттуда Артема попросили: связь все-таки, а он сын врага — доверять нельзя. Потом никуда не брали. Бродяжничал. Изолировали. А когда в 43-м стукнуло ему семнадцать лет, отправили на фронт. Брали тогда и с шестнадцати. Не поладил с начальством — попал в штрафную. После госпиталя — к нам. У него есть сестренка, младше его. Ту мать отдала в детдом. Там ее бьют все время, все отнимают, потому что дочь «врага народа». Она часто пишет Меркулову: просит забрать на фронт дочкой полка. Цензура, разумеется письма эти обрабатывает — он ведь и так озлобленный. В заключение уполномоченный посоветовал посматривать за Меркуловым.

Я не только посматривал, я смотрел. И очень внимательно — ничего не получалось. Не раскрылся связист. Искры не было.

Озлобленный?! Молча безвинно страдающий, обиженный на весь свет?!

Да безвинно пострадавших полно было. Даже у нас в батарее. Из сегодняшнего далека я отчетливо вижу сидящих у костра моих школьных товарищей: Сергея Дановича, Стаха Ясинского, Вацлава Ташкова. Из-за того, что их отцов в один несчастливый день арестовали или, как тогда говорили, забрали, очень покорежились судьбы моих одноклассников. Но они цепко хватались за жизнь и каждый за свою мечту и верили, что их отцы не виноваты — в этом обязательно разберутся. А если и виноваты, то, как сказал товарищ Сталин, дети за отцов не отвечают. Хотя их до войны даже в армию не брали. А когда война началась — на фронт не пускали. Только в 43-м...

Командир второго орудия Патрин — из раскулаченных. Ермоленко — высланный с благодатной Белгородщины в казахстанскую степь как подкулачник.

В части, конечно, все об этом знали, и их все знали хорошо. Но никто их беду никак не обсуждал. Да и сами потерпевшие не жаловались, относились к своей судьбе и положению философски. Война как-то сдвинула их трагедии. Они, естественно, жили общей болью и мечтой. Серега, скажем, ухитрялся находить время для рисования, которым увлекался с детства — каждую свободную минуту все и на чем угодно он рисовал. В тот момент у костра на дне закопченного котелка — горный пейзаж. Стах был болел поэзией, Вацлав — историей. Ермоленко, должно быть, станет поваром: в Казахстане он научился готовить из конины такие блюда — пальчики оближешь. Нас часто балует своими изысками. Вот и в тот момент, о котором ведется рассказ, возвращаясь с пушкой из ущелья, он не забыл захватить окорок погибшей во время обстрела лошади. И сразу стал

замачивать мясо особым способом (у него для этого все припасено).

Только Патрин при каждом удобном и не очень удобном случае вспоминал: «Ка-а-акое хозяйство у нас было!» И гонял свой расчет, приговаривая: «У-у, гольтыба! Работать не любите! Я вас научу!» — и заставлял, заставлял рыть, рыть окопы и укрытия, драить пушку и тренироваться... Но, как ни странно, эта муштра не угнетала его пушкарей — совсем наоборот: они видели, что у них самые лучшие окопы, самая чистая пушка, лучшая экипировка и дополнительное питание.

Меркулов должен был это все видеть, знать? Но уж очень он был погружен в самого себя. Иногда мне казалось, что я уже научился понимать его, причину его замкнутости, настороженности и неадекватности. И я порой был даже уверен в том, что у Меркулова нет ни от кого никаких тайн. Да-да, он сам (уговаривал я себя) мучительно разгадывает таинственные причины событий, которые с ним постоянно происходят, а до того, что происходит с другими, вокруг, у него и руки не доходят. Может быть, умишка не хватает или духовных сил не хватает. Возможно, он от перенапряжения и устает, и где ни попадая засыпает. Может быть, поэтому и молчит? У нас с ним никогда не получалось душевного доверительного разговора. Но молчание, мне казалось, было всегда очень содержательным. Я часто ощущал его потребность раскрыться, заговорить, тепло его души вот-вот, казалось, должно было прорваться наружу. Но уж очень велика была толщина коры.

Меркулов наверняка не мог вычленив понятия «жизнь», «Родина», «друзья» из всех жизненных нагромождений, из сложных и часто малопонятных человеческих отношений, как это сумели сделать его товарищи. Правда, они были постарше. Пограмотней. А он у нас был самый молоденький. Одно время его даже называли сыном полка. Но он обижался, и тогда перестали.

«Чем бы ему помочь?» — думал я тогда в ту ночь у костра. И тут же себя оборвал: о чем это я? Его и в живых наверняка нет!

Костер стал увядать. По звездам можно было определить полночь. Не мешало проверить посты, как они друг друга подстраховывают. С немецкими альпийскими частями нужно было постоянно держать ухо востро. Они в горах особенно проворны и коварны. Однажды их егеря уже пробовали утащить нашего заснувшего на посту солдата, насилие их догнали и с большим трудом отбили бедолагу.

Когда я вернулся к костру, дежурный подбросил пару полешек, и языки пламени оживились — заплясали, стали обниматься, ласкать друг друга, да



так разыгрались, аж искры полетели. В высоте они превращались в маленькие звездочки и устремлялись к своим небесным сестрам. Благо они были совсем близко.

В горах вообще звезды очень близко. Кажется, не поленись, поднимись, протяни руку — и дотронешься. Но мне было лень. Неподвижность и сон мне показались дороже. И я предпочел полудрему.

А когда я очнулся, небо посветлело, и звезд уже не было видно. По огневой просто так разгуливали облака. Батарейцы между ними двигались, казалось, не касаясь земли. И было полное впечатление, что за ночь мы превратились в небожителей. Это впечатление еще больше усилилось... явлением Меркулова!

Да-да, именно явлением — никто не видел, как он пришел или приполз, или пуще того — прилетел. От него можно было всего ожидать. Я спросонья привычно обзирал батарейное хозяйство и случайно наткнулся взглядом на погибшего вроде нашего связиста, уже сидящего рядом со мной у костра.

А напротив нас — ошарашенный, с открытым ртом и переполненными ужасом глазами — сидел Степняк. Рука его — выполнявшего обязанность ночного хранителя очага — так и не донесла до огнища очередного поленца. Возможно, он тоже вздремнул, потом будет оправдываться: «Я ж тикы нахилился, щоб узяты оце во (при этом он будет показывать в качестве вещественного доказательства то самое поленце, с которым он как с талисманом долго не сможет расстаться), а вин — тута...»

Степняк происходил из глухого западно-украинского села, которое только перед войной в 39-м году вернулось в лоно основной неньки-матери Украины, — из села, где еще верили в вурдалаков, нечистую силу и всяких там оборотней. И в том, что он опешил, увидев отпетого было товарища, притом очень походившего в тот момент на лешего, ничего удивительного не было.

Но то, что я растерялся при виде неожиданно явившегося подчиненного, достойно было удивления. Не обрадовался, не заключил в свои объятия, не поднял на ноги всю батарею, а...

Да, конечно же, в тот момент Меркулов походил на лешего: простертые к костру грязные, распухшие, разбитые в кровь руки пугающе торчали из рваных рукавов шинели. Такими же грязными, синюшными, с запекшимися кровавыми подтеками были и босые ноги. На одной не было сапога вовсе, только прилипший кусок портянки, а на другой от сапога сохранилось лишь голенище... И шаровары, и вся шинель, и шапка-ушанка, туго подвязанная под подбородком, ершились клочьями. Видимо, много ветвей карликовых сосен, можжевельников кустов и



терновника старались спасти незадачливого телефониста. И если бы судьба не сохранила у него за плечами целехонькой катушку с телефонным проводом, а на левом боку — сам телефонный аппарат, то его вряд ли можно было бы узнать.

Но не только это, что-то еще мешало мне предпринять какие-то действия: заговорить, расспросить, как и что, оказать первую помощь, наконец, — не получилось. Почему? До сих пор ломаю голову.

Откуда-то, будто вынырнув из-под земли или свалившись с неба, как всегда первым в нужное время появился гигант-санструктор Гичкин. Но... тоже замер перед Меркуловым, как завороченный.

Батарейцы, укутанные облаками, будто патриции в туниках, бесшумно подплывали на чаепитие, но, завидев воскресшего связиста, тут же замирали, и никто из них никаких эмоций не проявлял. Будто и не было перед ними живого существа! Так, картинка. Да и то...

И словоохотливый шутник Лакманчик умолк, словно парализовало его. Обычно шумный Патрин тоже очень тихо подплыл со своей большой жестяной коробкой, украшенной эмалевой росписью, запечатлевшей полунагих подавальщиц заваренного чая развалившимся на подушках, укутанным в шелка мужчинам. В этой коробке были собраны неизвестно где раздобытые Патриным экзотические чаи, которыми он потчевал избранных, и то за особые заслуги.

Неземная тишина парализующе затягивалась. Только батарейные чайники глухо фыркали, недозвольные тем, что никто не обращает внимания на то, что костер давно разогрел их до полного кипения.

Сейчас вспомнил, что меня тогда почему-то за-



няло сравнение немой сцены у костра с рисунком на патринской коробке для хранения чая. И подумалось, что для небожителей, должно быть, в порядке вещей при встрече не здороваться и не прощаться, ничему не удивляться.

А по земным меркам — надо бы. И что угодно, только не безразличие хотелось читать в глазах товарищей: удивление, испуг, радость, тревогу... Но почему всех нас сковало мертвящее оцепенение! Моих товарищей — веселых, жизнерадостных, верных, надежных и заботливых! А меня? — спрашивал я себя, стучась в собственное сердце. И не слышал никого отклика.

Да, явившегося многие не принимали. Он озадачивал, раздражал, отталкивал. Его удивительная неговорчивость, мистическая загадочность... Сколько происходило с ним непредсказуемого, необычного, даже по меркам военного времени!

Совсем недавно под Будапештом, когда выходил из боя и связист сматывал телефонный кабель, на бруствере пехотного окопа он нашел противотанковую гранату, поднял ее и спросил пехотинцев: «Чья валяется?» К гранате потянулось несколько солдатских рук. Граната вдруг разорвалась в руке нашего связиста, только опалив ему запястье, а желавшие заполучить ее потеряли руки, ноги, глаза, жизнь.

А прошлым летом? В румынском селе мощный снаряд большого немецкого калибра разорвался у Меркулова в ногах. Многие пострадали, а самого телефониста взрывной волной забросило на абрикосовое дерево. Меркулов оттуда долго не спускался, думали — лакомятся фруктами. Но оказалось, что той же волной его от пят почти по плечи раздело до гола! Осталась только верхняя часть гимнастерки с погонами и шапка ушанка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом. Он называл ее походной подушкой...

А сколько всякого случалось с ним по мелочи?! И смех и грех. Некоторые удивлялись, посмеиваясь, другие недобро покачивали головами, подозревая его в сговоре с нечистой силой. Может быть, все это вместе и послужило поводом столь странной встречи товарища. Уж больно чудовищным было его возвращение. Даже старший на батарее лейтенант Иосиф Коваленко, записной балагур, не нашелся над чем посмеяться, кого разыграть — не решился. Не тот случай.

Но разве можно привыкнуть к таким фокусам судьбы? Человек все-таки. И кровь у него — вон есть, и боль, должно быть. Поэтому тогда эти вопросы висели в воздухе, но никто не сумел их, как теперь говорят, озвучить...

Как удалось парню спастись? Как добрался обратно по камням, по скалам, схваченным снегом и

льдом? Как дорогу нашел обратно, ведь он ее проспал, когда батарея выбиралась на эту огневую? Как? Почему?

И все при этом понимали, что Меркулов на эти вопросы ответить не может, потому что на них просто не существует ответов. А я подумал, что он, должно быть, упрямо двигаясь на батарею, к нам, сам себя умучил вопросами, которые начинались и кончались обязательными «почему».

И новые вопросы товарищей тоже остались бы безответными, пополнив и без того туго набитую несуразностями, неприятностями и бедами копилку его памяти.

Я так долго, пространно рассказываю, а тогда оценил обстановку мгновенно, как научился и привык на войне. Но быстро принять решение не смел. Шестым или даже седьмым чувством я руководствовался, давая время всем вместе выработать отношение и принять решение. Но когда я понял, что решение затягивается и впечатление сильнее их способностей и невольно снова повернулся к своему телефонисту, чтобы что-то все-таки предпринять, — я опешил. Он показался мне совершенно замерзшим, окаменевшим, неживым... Я невольно дотронулся до него.

Связист как-то очень быстро среагировал. От неожиданности я даже отдернул руку. Но Меркулов успел перехватить ее своими ледяными клешнями, прижаться к ней холодной щекой... И я ощутил на своей руке его не остывшие еще слезы. Жив! Захотелось приласкать его другой рукой, но боязно было — потому что он выглядел как одна большая открытая рана. Мое произвольное движение рукой послужило командой, которую, как мне показалось, ждали. Могучий санинструктор в момент легко и весело, как игрушку, подхватил на руки пострадавшего, строго и властно распорядился освободить пространство у костра, подстелить доски, принести простыни (из санинструкторского загашника)... Распахнулась его огромная санитарная сумка, в которой, казалось, запакован целый медсанбат; пригодились закипевшие чайники...

Чьи-то руки освободили связиста от телефонного аппарата, от катушки с телефонным кабелем. Передавая их из рук в руки, каждый не преминул произвести взвешивающее движение, чтобы лишний раз убедиться в их солидной тяжести.

Патрин неожиданно сунул кому-то в руки свою заветную чайную коробку и скрылся куда-то. Никто не удивился этому, не буркнул: «Видать, в лесу медведь сдох?» (Имея ввиду его прижимистость.) Вскоре командир второго орудия вернулся с новым полушубком и валенками из своего личного склада.



Хлопнул себя по лбу Ермоленко, что-то припомнив, и тоже убежал, чтобы принести оприходованный им автомат, на ложе которого выжжено увеличительным стеклом слово «Меркулов».

«Операционный стол» батарейного санинструктора окружило много помощников. И в это время дежурный по огневой доложил, что с наблюдательного пункта звонил Еська и передал: пехота готова к броску, и пора начинать обработку пристрелянных накануне целей. Я отдал команду «по местам!». И когда многие пушкари отбежали от «операционного стола» — увидел, как Меркулов, сделав огромное усилие, приподнял свои тяжелые веки, и из щелочек его глаз впервые струился непривычный вопрос: «Ну? Почему?», а целый набор слов: «Простите, лейтенант, что не могу с вами идти». Комок в горле не позволил мне произнести слова утешения, и я только кивнул болящему, мол, ничего, справимся.

А может быть, мне только показалось, что между нами состоялся такой разговор, и воображаемое сохранилось в памяти? Но то, как в дальнейшем развивались наши отношения с Меркуловым, позволяет думать, что начало было положено именно тогда.

Я, а следом за мной Иванов карабкались на НП. Молча. Сопели. Но еще и думали — о предстоящем наступлении и о том, что произошло совсем недавно. И, конечно, не смогли не оглядываться и не посматривать на огневую позицию, где пушкари, расталкивая облака, готовили орудия к стрельбе, а шоферы помогали Гичкину лечить Меркулова.

Мы уходили все дальше, а случившееся этой ночью продолжало оставаться с нами. Цепляясь за выступы скал и ветки кустарников, я медленно двигался вверх и неотступно думал: «Много лет из своей совсем недолгой жизни Меркулов искал свой дом, которого его лишили по непонятным ему причинам. Дом, где было бы тепло, уютно, приветливо, где бы его ждали и были бы рады ему. Ему было не так мало лет, и он должен хорошо помнить свой дом, что потерял вместе с ним. И вот сегодня, кажется,



он поверил в то, что снова обрел такой дом. Пусть в нем нет стен и кровля, удобного ложа, отца, матери, неизвестно куда исчезнувших, но в новом доме есть люди, которые его ждут и всегда смогут согреть теплом своей души. Поэтому он не пошел в санбат, не прибился к другой части, а пришел, приполз — явился на свою батарею».

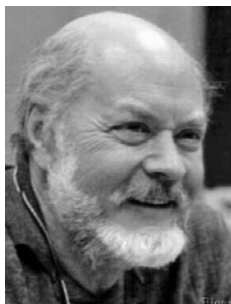
Перед тем, как прыгнуть в окоп НП, я еще раз оглянулся. Разумная, деловая суета на огневой не прекращалась. Но я обратил внимание на то, что почти каждый боец улучал момент, чтобы подбежать к Меркулову справиться о его состоянии, оказать внимание. Жалеют, подумалось. Мне стало как-то по-особенному легко и радостно. Хотя через несколько минут должен был начаться бой, который мог унести не одну жизнь! И безвозвратно.

Одни лишь горы оставались безразличными ко всему. Или только делали вид, угрюмо затаив недобрую думу. Холодными бесстрастными огоньками вспыхивали осветительные ракеты противника, прочерчивающие пунктиром затейливую линию фронта. Уже было довольно светло, и казалось, что хозяин там, за нейтральной полосой, просто забыл выключить свет...

*Продолжение следует.*



Лев АННИНСКИЙ



## КЛАСС КЛАССИКИ

**П**ока публицисты спорят, как бы нам вернуть классику в круг школьного чтения, Вячеслав Спесивцев на сцене своего Молодежного театра решает эту проблему практически. Жанр — спектакль-урок. В программу входит около десятка инсценированных шедевров. Я видел «Преступление и наказание» Достоевского.

Режиссерская фактура — резкая, броская. Подхват массовок! Темп! Ритм! Параллельно мимика героев проецируется крупно на экран, занимающий весь сценический задник, так что когда в финале звучат предостережения классика о том, что презираемые неудачники сплотятся в бунтующие массы, мы видим теперешнюю хронику: бешеная энергия русских коноводов смуты прожигает северокавказским жаром.

Но не только эта наглядность делает спектакль уроком. Фишка в том, что Порфирий Петрович не просто руководит следствием на сцене, преподавая зрителям логику судопроизводства, он еще и руководит залом, как учитель классом. И пока Родион

Раскольников крадется убивать старуху-процентщицу, зал по знаку Порфирия громко отсчитывает его шаги, отбивая такт ладонями. Сколько задач решается этим подсчетом! Зрители (сплошь школьники), вымеряя душой расстояние от преступления до наказания и от наказания до покаяния, заодно упражняются в устном счете, что, по-моему, заставляет их испытывать особый кайф.

В какой-то патетический момент Порфирий делает знак залу разделиться на две половины, и в зрительский кайф впадаю уже я — от воспоминания, как на старте своей режиссерской стези Спесивцев, нащупывая режиссерский стиль, делил зал на две половины: половина публики болеет за Капулетти, половина — за Монтекки.

Сколько времени прошло с той театральной поведи о Ромео и Джульетте?

Сорок лет...

Три поколения сменилось!

Жив театр. Жива классика. Жива культура.



Александр М. КОБРИНСКИЙ



*Родился в 1939 году в Запорожье.  
Жил в Днепропетровске. С 1987 года — в Израиле. Автор прозы,  
ряда философских монографий и поэтических сборников.*

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП

«В начале было Слово» в поэтическом смысле понимаю буквально. Поэзия — это выраженный с помощью Слова некий эмоциональный всплеск. И бессознательное в данном случае превалирует над сознательным. Отсюда следует, что не я выстраиваю Слово (детерминирую нечто), а совершенно противоположно — Слово выстраивает и определяет направление моего мышления. И в этом смысле я архетипист. Пределы моих возможностей не выходят за рамки той культуры, на основе которой протекала почти вся моя сознательная жизнь. Перебирая в памяти прочитанное, пережитое и пройденное, я не могу отдать родственное предпочтение, например, южным городам, селениям и просторам в сравнении с северными. В Омске я жил в эвакуации во время Великой Отечественной войны, в Красноярске строил завод автомобильных прицепов, в Липецке занимался надвижкой доменных печей. И также я не могу сказать, кто занимает больше места в моей душе — Пушкин, Достоевский, Гоголь или Шолом-Алейхем... И стоит ли перечис-

лять то, что каждый из нас несет в себе неотъемлемо и в степени совершенно неопределимой?.. Позволю себе описать один из биографических моментов. Летом 1944 года мама, я и сестра переехали из Омска в город Днепропетровск, освобожденный к этому времени от немецких захватчиков. Днем я с сестрой уходил в город. Иногда мы заглядывали в церковь. Нравились свечи, иконы с изображениями святых и великомучеников, старики и старушки, чем-то очень на них похожие. Я и сестра тоже становились на колени, подражая молящимся. В один из таких дней служитель церкви ходил меж прихожан и раздавал деньги. Подошел ко мне. Посмотрел внимательно и спрашивает: «Ты еврей?» «Да, — говорю, — еврей». Он взял мою ладошку, раскрыл ее, положил в нее рубль. «Ничего, — говорит, — молись!..»

Этот момент произвел на меня неизгладимое впечатление. Я никогда не пытался дать этому происшествию моральное или какое-либо другое определение. Оно произошло, и его невозможно изъять из моего сердца.

*Александр М. Кобринский*

### СЧАСТЬЕ

Тучи выросли грозные из ничего  
там, где речка дугой изогнулась и небо:  
хлестко камушек плоский я кинул в него,  
оттолкнувшись не правой ногою, а левой.

НЛО мое мигом взлетело — ого! —  
от броска удалилось за видимость: выше!..  
Сил прибавило мне на меду молоко  
и привычка гудеть на соломенной крыше.

Тот, кто падал с нее, никогда не хромал,  
если смазывал йодом худую коленку,  
здесь в любые дожди был сухим сеновал  
и дружила со мной — Коновалова — Ленка!..

### **ЧЕКАНЩИК**

Чудак чеканил чудских чудаков,  
чумазых чудо-юдо чудотворцев,  
чувашей, чувственных чувашек, чуваков,  
чухонцев, чукчей, чохом черноморцев.

### **ОКТЯБРЬ**

Влага промозглая, клен опадает,  
к березе склонило  
осину.  
Ползучий холодный туман заполняет  
белесым раствором  
долину.  
Над полем, под ежик подстриженным,  
небес голубая  
бумага...  
И какими-то знаками кто-то крылатый  
испещряет пергамент  
оврага.

### **ПЕРЕГРЕВ**

Плетется день  
на поводу необъяснимой лени.  
  
Есть!.. Будет сделано!.. А перемен не жди.  
  
Палящая симметрия заката —  
голодный птеродактиль.  
  
Кому предъявишь иск  
и кто предатель —  
кого винить, когда в полнеба диск...  
  
Глаз птеродактиля  
не диск ли автомата?..  
  
Подозревать имеет право лишь чекист,  
а ты на всю катушку журналист.





Стоять солдатам насмерть не мешает  
твое присутствие с попыткой интервью...

Картина жаркая: бойцы  
на диск кивают  
и говорят:  
   оно с утра в бою —  
и добавляют: перегрелось,  
   стало красным, —  
прикуривают от него махру...

И ножки конусные тлеют,  
   солнце гаснет;  
и лунной фазы косоглазье зоркое  
над городком военным и задворками,  
над поймой и кустиками моркими  
лучисто мечет млечную икру.

### **Увы, увы, увы!..**

Остались сбоку падшие системы — остались сбоку,  
поскольку в них не находили проку  
живые — те же, кто мертвы —  
увы, увы, увы! —  
они земному неподвластны року  
за исключением аз-буки по пророку  
в крови тех правнуков, которые прапра...

Унылая, осенняя пора! —  
ее ли плодотворной мы представим  
и болдинской по-прежнему объявим  
на поводу коммуникабельных газет?..

Народ играет в карты, бит валет —  
одни тузы в руках у дяди Вани,  
музеятся общественные бани,  
и пахнет ливерною колбасой буфет...

Звереет в комнате моей простор угрюмый —  
притом, что стены прячутся за книгами,  
как будто комната обвешана веригами,  
как будто нате! — на всемирном подиуме  
в манишке хорохорится юридивый...

Куда ты, светлая, от этой горькой думы  
(которая сидит во мне занозой)  
сбежала вдруг застенчивой мимозой,  
рогатку декольте украсив розой? —

и в сером городе собой явила свет  
без всяких но, воистину святая;

хотя мне ведомо за злым исходом лет —  
в твоей душе осталась запятая,  
когда ты дверью хлопнула в ответ!..

### Кроссворд

Соседка соседку с утра посещала...  
Коморка — подушка — салфетка — комфорт:  
столлик — оконце крест-накрест — хватало  
четыре деленья — простейший кроссворд.

Первый квадратик — застрявшее слово  
в пройденных нами без нас временах:  
бронтозавр и мамонт, акула-корова,  
и — тень: перепончатых крыльев размах.

И слово не слово из букв, а сгущенье  
за квадратом — за первым — такой темноты,  
что совсем обесцветилось в блюде варенье  
и увяли в графине мгновенно цветы.

А в квадрате втором приковал их вниманье  
настоящий, не книжный — живой Гуинплен:  
в чем мать родила, выходил он из бани,  
предназначенной для незамужних сирен.

Хохотали сирены — смешней Гуинплена  
не встречали и в мыслях они мужика:  
он в переднике кухонном был до колена  
и казался серьезным: валял дурака!..

И третий квадрат (безразмерно вместимый) —  
о, изгибы дельфинов на желтом свету! —  
иллюзорно висела луна над Цусимой  
и пахли кальмары в японском порту...

И еще аберрация — в третьем квадрате —  
солнца — оно превратилось в конфорку —  
катилось обратно к той памятной дате,  
где девочек пить заставляли касторку...

«Ы-ы...» Учтем и последний квадратец  
оконца — четвертый (в худой крестовине),  
где соседок потерянный общий их братец  
от рождения связан констант-пуповиной...



Все быстрее кружа, на отрыв, не в испуге —  
супостатно пример непомерных усилий  
проявлял он... А что планетарные други?! —  
их в хазарской упряжке когда-то крестили.

### ЭЛЕГИЯ

Стыло оседает воздух,  
хаты блеклые видны,  
падает отвесно круча,  
речка медленно течет.

До утра мигают звезды,  
рыбам снятся рыбы сны,  
дым седые пряди сучит,  
и зарылся в землю крот.

Ветер кроны обучает  
гимнастическому маху,  
адское обличье дышит  
сквозь магнезию луны.

То ли воет, то ли плачет  
за болотами от страха  
мавка-ангел, очутившись  
в черных лапах сатаны!..



Марианна ТАРАСЕНКО



### **Кое-что о Марианне**

*Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске, в младенческом возрасте эмигрировала в Таллин, где благополучно выросла и прожила всю свою сознательную жизнь. По свидетельствам очевидцев, как только научилась говорить, сразу начала всех поправлять и поучать и так допекла этим родителей, что по окончании школы была принудительно отправлена ими на филологический факультет Тартуского университета. Получив диплом по специальности «филолог-русист, преподаватель», продолжила удовлетворять пагубное пристрастие к поучениям, работая сначала учителем в школе, а затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После того, как в начале 1990-х кафедру — за ненадобностью «языка оккупантов» — ликвидировали, еще пять лет проработала в школе. Распрощавшись с педагогической деятельностью, занялась журналистикой, по-прежнему продолжая поправлять и поучать все и вся уже со страниц газет, а в устной форме — коллег, которые относятся к этому снисходительно: как к неизлечимой, но не особо опасной форме душевного заболевания.*

*В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».*



## **СТАТЕЕЧКА ПРО СУФФИКСИКИ**

**П**редставьте себе, что вы обедаете в хорошем ресторане. Не в новомодном, а имеющем свою историю. Допустим, в «Славянском базаре» в Москве и, может быть, не сейчас, а лет сто назад. Или хотя бы двадцать. Итак, вы, стало быть, сидите, небрежно листаете меню, а перед вами склонился услужливый официант с вечным «чего изволите-с?». «Ну, пожалуйста, — вальяжно растягивая на московский манер гласные, говорите вы, — граммов сто водочки. И закуски к ней, братец, неси: грибочков маринованных, огурчиков, осетринки...» — «А икорки белужьей не желаете? — подобострастно интересуется половой. — Исключительно свежая у нас нынче икорка». «Что ж, можно и икорки», — соглашаетесь вы. А официант продолжает: «На горячее я бы вам настоятельно рекомендовал котлетку из цесарки».

Но довольно, прекратим это издевательство, пока никого не замутило. Тем более что замутичь может не только от перечисления буржуазных деликатесов, но и от обилия уменьшительно-ласкательных суффиксов. Откуда взялась эта манера нежно именовать еду? Причем не только гастрономическую от-кутюр, но и самую обычную. Достаточно вспомнить диалог Жеглова и Шарапова, когда один из них мечтал навернуть «щец горячих», а другой «супчика с потрошками».

Оказывается, в уменьшительно-ласкательной форме человеку свойственно именовать нечто «свое» и «привычное». (Вы будете смеяться и плакать, но автор лично слышал от гинеколога рассказ, изобиловавший такими терминами, как «миомка» и «кровотеченьце») То есть все эти «салатики», «жюльен-



чики», «волованчики» и прочие «буженинки» для официанта — нечто вроде профессионального сленга, а в посетителе ресторана они выдают завсегда и тонкого гурмана; ничего общего с сюсюканьем типа «Петюнечка, кушай кашку с хлебушком» это не имеет. Но если «селечку с картошечкой» зачастую мы воспринимаем как нечто старомодное, то есть и современный «ответ Керзону»: стиральная... машинка.

Эта, по выражению Макарушки Нагульнова, кошмарная жуткость приползла в широкие массы из рекламы. Ни о каком «своем-привычном» здесь речи не идет. «Машинка» — и в нашем представлении, и по утверждению словарей — это либо маленький автомобиль, либо детская игрушка. А еще — небольшая машина в «неавтомобильном» значении этого слова. Например, швейная или пишущая. Или для стрижки волос. Наверное, крошечную — на полпростыни и пару носков — стиральную тоже можно назвать с уменьшительно-ласкательным суффиксом, но никак не полноценную, рассчитанную на пять-семь килограммов.

А что мы постоянно слышим? «Боже, моя машинка сломалась!» — причитает дама, бегая вокруг домашнего монстра, занимающего половину кухни. «В машинке образовалась накипь!» — вторит ей мастер. И народ радостно им вторит: «О, машинку купили! Как рояль: впятером еле дотащили». Но если здесь мы имеем дело с агрессивным просторечием, то есть примеры и более печальные.

В одном из предыдущих наших выпусков мы говорили о том, что люди путают слова «домохозяйка» и «домработница», и объясняли это тем, что не у всех, имеющих деньги на содержание прислуги, в придачу имеется хорошее образование. Аналогичный случай: русские нувориши взяли моду нанимать для воспитания своих детей... нянечек.

Лезем в словарь.

*Нянечка.* 1. Ласкательное к «няня» (1-е значение). Быстро смотрим первое значение.

*Няня.* 1. Работница, занимающаяся уходом, присмотром за детьми.

Боже, неужели наниматели так любят свою прислугу? Наверное, еще у них есть шоферчик, садовничек, кухарочка и пара этих, как их... горничненьких? Но на всякий случай продолжаем изучать словарь.

*Нянечка.* 2. Няня (2-е значение).

*Няня.* 2. Разговорное. Санитарка в лечебном учреждении.

Заодно находим еще одно слово.

*Нянька.* Разговорное. 1. Няня (1-е значение). 2. Тот, кто постоянно опекает кого-либо.

Внимательно изучив все эти словарные статьи, приходим к смелому выводу: няни и няньки присматривают за детьми, нянечки ухаживают за больными.

Господи, ну почему к женщинам, это знающим, не сватаются олигархи?



Петр ПУСТОВАЛОВ



*Петр Семенович Пустовалов — преподаватель русского языка и литературы с шестидесятилетним стажем (МГПИ им. Ленина, Полиграфический институт, московские школы), кандидат педагогических наук, доцент, методист. Отличник народного образования СССР, отличник народного просвещения РСФСР.*

*Автор более пятидесяти литературных статей, восьми учебных пособий для вузов, школ и техникумов. Его работы публиковались в ГДР и Польше. Под руководством П. С. Пустовалова защищено восемь кандидатских диссертаций.*

## О СТРУКТУРЕ ТЕКСТА

### БЕСЕДА ПЕРВАЯ

**И**звестно, что текст — один из сложнейших объектов лингвистического исследования. Вот почему нет до сих пор как общепринятого определения текста, так и приемов его анализа. Поэтому в этой статье мы не будем углубляться в теоретические аспекты проблемы, а постараемся сосредоточиться на приемах создания целостного текста (статьи, репортажа, информационного сообщения и т. д.), его языкового оформления. Журналистам, преподавателям русского языка важно знать семантическое и синтаксическое строение текста, его функции в речи, правила выделения абзацев, виды и средства межфразовой связи, смысловые отношения между предложениями.

Вслед за Л. М. Лосевой («Как строится текст», М., 1980) мы считаем, что при создании какого-либо определенного текста надо «исходить из признаков, присущих всем текстам». К таким признакам следует отнести следующие: текст — это сообщение (то, что сообщается) в письменной форме; текст характеризуется содержательной и структурной завершенностью; в тексте выражается отношение автора к сообщаемому (авторская установка).

В синтаксическом отношении текст представляет собой совокупность предложений, связанных по смыслу и с помощью необходимых для этого лексико-грамматических средств. Таким образом, по мнению Л. М. Лосевой, «любой правильно организованный текст представляет собой смысловое структурное единство, части которого тесно

взаимосвязаны как семантически, так и синтаксически».

Естественно, что семантические отношения, образуя смысловую структуру, взаимодействуют с экспрессивными средствами языка и таким образом создают общий стилевой рисунок текста.

Как видим, любой текст представляет собой единство двух аспектов: конкретного содержания, принципов его конструирования и языкового оформления. Безусловно, не следует при этом забывать и еще об одном: информация, которая ляжет в основу будущей статьи, во многом будет зависеть и от того, на какой круг читателей она рассчитана, каков их уровень общей и языковой культуры, конечно, и каковы взгляды и интересы самого пишущего. Определяющим же фактором, по которому будут судить о материале, все же остается позиция автора, его оценка того, с чем он обращается к читателю.

По мнению известного писателя С. Антонова («Постройка рассказа. Советы молодому автору», М., 1965), «главное в рассказе — изложение событий и его эпическая мотивировка». Мотивировка, считает он, — это цепь факторов и умозаключений, с их помощью автор помогает читателю глубже понять сущность написанного. В то же время мотивировочная часть — это не только логическая схема (замысел, идея, последующая аргументация, выводы), она должна эмоционально воздействовать на душу читателя, подготовить его к восприятию информации и выводов автора.



Общепризнано, что два основных речевых типа (сообщение и воздействие) определяют характер любого текста, хотя в сфере массовой коммуникации, несомненно, один из типов может доминировать или же взаимодействовать с другим. По мнению известного лингвиста В. Г. Костомарова («Русский язык на газетной полосе», М., 1971), «любая убеждающе-организующая массовая информация должна быть эмоционально-заражающей, а не только содержательно-рационалистической». Фактически с таким же утверждением мы столкнулись и в работе французского языковеда Ш. Бали («Французская стилистика», М., 1961): «Таким образом, живая речь во всех своих проявлениях обнаруживает рассудочную сторону и эмоциональную сторону, представленные в очень различных пропорциях в зависимости от душевного состояния говорящего, конкретной ситуации и социальной среды». В этой связи, на наш взгляд, будут интересными для работающих в средствах массовой информации и мысли М. Д. Феллера («Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования», Львов, 1978): «На основе опыта построения сообщений постепенно формируется совокупность приемов, преимущественно структурного характера, традиционно используемых как интуитивно и в результате раздражения, так и сознательно, с целью достичь соответствующего результата восприятия сообщения».

Знакомясь с материалами наших статей, читатель, бесспорно, замечает, что наши рекомендации обращены главным образом к тем, кто работает в СМИ. Это объясняется тем, что газетные корреспонденции по сравнению с другими имеют свою специфику прежде всего потому, что любой материал, поступающий в газету, отбирается с расчетом на конкретного читателя (а у большинства газет он свой) и должен быть строго достоверным и злободневным. Ведь серьезная газета, стремящаяся отвечать запросам общественности, не допустит как абстрактности, бессодержательности на своих страницах, так и неряшливости в оформлении, сухого, казенного языка. Напомним еще раз слова А. П. Чехова: «Какая гадость чиновничий язык!» В свое время М. И. Каменин, выступая 5 мая 1935 года на торжественном заседании, посвященном Дню печати, говорил: «Если вы хотите, чтобы газета была нескучной, чтобы ее читали с интересом, надо быть в центре тех событий, которыми живет масса. Живой газета может быть только на действенных фактах. И чем вы будете правдивее, чем ярче будет эта правда, тем статья будет живее и интереснее, и ее будут читать» (сб. «Об ораторском искусстве», М., 1959).

Как мы уже говорили, эти рекомендации обращены в основном к журналистам, работникам

печати, тем не менее прислушаться к ним должны и преподаватели русского языка в школе, так как именно они начинают учить школьников работать с текстом: показывают, как озаглавить текст, выделить в нем основную мысль и доказать правильность своего выбора, разделить текст на смысловые части, составить связный текст из предложенных слов и предложений и т. д.

Обобщив материал и подготовив статью к печати, автор должен еще раз подвергнуть ее «внутреннему редактированию», то есть убедиться, что:

- тема статьи актуальна и значима;
- она достаточно полно раскрыта, факты, отобранные для ее раскрытия, убедительны, выводы и обобщения сделаны;
- композиция статьи не вызывает сомнений (части ее соразмерны, логическая последовательность в изложении материала не нарушена и т. д.);
- заголовок статьи подобран удачно;
- язык отвечает не только характеру материала и поставленным целям, но и общепринятым нормам языка.

До сих пор мы говорили о требованиях к содержательной стороне публикаций. В дальнейшем постараемся остановиться на «технических» аспектах создания текста, на возможных приемах его «развертывания».

Первый этап разработки темы (содержательный) в той или иной степени полноты мы рассмотрели. Второй этап мы связываем с композиционным развертыванием содержания. Он, по нашему мнению, не менее важен, ибо «успех сочинения зависит не столько от важности мыслей и совершенства слога, сколько от порядка изложения — как общего, так и каждой части сочинения» (Плаксин В. «Краткий курс словесности», СПб., 1832). Таким образом, основной для стилистики текста оказывается проблема композиции. Как считает В. В. Одинцов («Стилистика текста», М., 1980), «композиция — это каркас, на котором держится текст». Нужно сказать, само понимание композиции разными учеными трактуется неоднозначно, поэтому мы не будем касаться дискуссионных вопросов, а выделим и охарактеризуем лишь основные, общепринятые части композиционной структуры текста: вступление, главную (основную) часть и заключение.

Наиболее простым и легко поддающимся описанию представляется, на наш взгляд, вступление. Уже само название подсказывает, что это введение в тему, в содержание текста. Как правило, в этой части автор указывает на тот материал и на ту проблему, с которой он намерен познакомить читателя, намечает план рассмотрения выдвигаемой пробле-

мы. Но и здесь, в этой части, он не должен забывать и о психологических целях: как овладеть вниманием читателя (слушателя), как вызвать его интерес и, наконец, как привлечь аудиторию на свою сторону (установить с ней контакт). Об этом нужно всегда помнить как выступающему перед «живой» аудиторией, так и пишущему.

Очень убедительно об этом говорит герой рассказа А. П. Чехова «Скучная история»: «Передо мною полтора лица, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, когда читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. <...> Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива». Понятно, что ценность вступления не в его яркости, необычности, а в том, насколько удачно оно вводит читателя в тему, подготавливает его к восприятию предлагаемой информации.

Выдающийся адвокат своего времени А. Ф. Кони рекомендовал использовать в этом случае так называемые зацепляющие «крючки»: «Этих зацепляющих “крючков”-вступлений может быть очень много: что-нибудь из жизни, что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, какая-нибудь странность, как будто не идущая ни к месту, ни к делу, но на самом-то деле связанная со всей речью...» («Избранные произведения», М., 1956).

Рассмотрим композицию небольшой статьи «Ранний брак обернулся тюремным заключением», опубликованной в газете «Метро» 15 мая 2009 года. Поскольку газета рассчитана на массового, порой случайного читателя, то автор статьи поступает правильно, избрав так называемый нулевой уровень композиции. Выделяем вступление: «Юноша, ставший отцом в 19 лет, сел за это в тюрьму. Его осудили по статье 134 УК РФ (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетия). Дело в том, что его жене пятнадцать лет». Нетрудно заметить, что оно удачно входит в общую композиционную схему статьи: при минимуме фактов четко формулируется ведущий тезис («Ранний брак обернулся тюремным заключением»), в основной части сообщаются ос-

новные сведения, излагается суть дела. Чтобы достичь нужного ему эффекта в освещении взятой им проблемы, автор прибегает к линейной исследовательности изложения, располагая факты в следующем порядке:

1. Что? (Юношу, ставшего отцом в девятнадцать лет, осудили по статье 134 УК РФ.)
2. Где? (Город Ефремов Тульской области.)
3. Когда случилось? (Он и она поженились 17 января, невесте пятнадцать лет.)
4. Результат. (Суд нашел в действиях юноши нарушение Уголовного кодекса. Ему дали три года и один месяц колонии.)
5. Авторская позиция: судьи не обратили внимание на тот факт, что молодые люди вступили в брак и хотят вместе воспитывать своего ребенка.

Легко заметить, что мы взяли простейший текст-информацию, хотя на газетной полосе таких текстов встречается немало. Но ведь есть статьи, в которых журналисту приходится анализировать серьезный материал, где от него потребуются изложить свою точку зрения по затронутой проблеме, и здесь уже нельзя ограничиться линейной исследовательностью в изложении фактов. Приходится заменять ее реальной (автор в этом случае часто вынужден менять временные рамки происходящего, отойти от пространственной последовательности в группировке событий, явлений) или даже логической (автор заменяет дедукцию индукцией). Безусловно, меняется и характер вступления к статье, так как автору уже в этой части нужно искать пути воздействия слова на читателя, сделать его или единомышленником, или оппонентом. Приведем образец такого вступления: «Впервые тема “Интеллигенция и революция” публицистически прозвучала в статье “Заметки о мещанстве”, опубликованной в газете “Новая жизнь” в ноябре-декабре 1905 года в разгар революционных событий в Москве. “Заметки о мещанстве” своей резкостью и революционностью понравились Ленину и вызвали возмущение в среде либеральной интеллигенции, на что Горький (стремившийся — путем даже эпатажа — к славе бесстрашного революционера, ниспровергателя отживших кумиров) во многом рассчитывал» («На тонкой согласительной черте. От Горького до Солженицына», М., 1995). Прочитав только это вступление, читатель без особых усилий убедится, что речь пойдет о важнейшей общественно-политической проблеме того времени, о сложности взаимоотношений между Горьким и Лениным в первые послереволюционные годы. Поэтому автора вряд ли удовлетворит линейная исследовательность в отборе фактов и их ана-



лизе, он заменит ее реальной (поменяет в ряде случаев временные рамки происходящих событий) или логической (заменит по мере надобности дедукцию индукцией). Путей развертывания текста известно несколько. Так, при иллюстративном развертывании эмоциональный потенциал в изложении минимален, не увеличивается он и в ходе последующего развертывания темы. При этом не нарушается также и нормативность «нулевого уровня», оно затрагивает лишь содержание или объем понятия (такой подход характерен для деловой и научной (научно-популярной) речи).

Рассмотри следующий текст: «Без воды нет жизни. Это аксиома. Наш организм на 80 процентов состоит из воды, и при ее нехватке большинство внутренних органов перестают работать. Вода стимулирует деятельность иммунной системы при изменении климатических условий и когда организм борется с инфекцией. Без воды невозможна работа мозга и нервной системы. Вода выступает в качестве смазочного материала в суставах... Потеря воды позвоночными дисками — главная причина остеохондроза. Без воды невозможно нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. Вода — натуральное лекарство...» («Труд», 14.05.2009). Попутно подчеркнем, что в этой статье автор идет от индукции к дедукции, от отдельных наблюдений к обобщению. Есть еще один путь — путь «концентрического развертывания» (спирали). Этот прием характерен для убеждающей авторской речи и сочетает повторение основных положений, их логичность и экспрессивность. Концентрическое развертывание, по словам И. Эренбурга, часто встречается в политических выступлениях В. И. Ленина: «Его речи походили на спираль: боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое» («Сочинения», т. 8, М., 1966).

Этим же приемом часто пользовался в своих очерках и В. Солоухин. Вот один из характерных примеров (текст нами адаптирован. — П. П.): «Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией». Далее в его очерке следует первый виток спирали: «Она не похожа на радиоприемник, или на газету... или на телевизор... или на вывески, рекламы и лозунги...» Затем В. Солоухин вновь обращается к исходной мысли: «Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация... все внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам...» Затем следует второй виток спирали: «Один лучик — к ромашке, второй лучик — к березе, третий лучик — к лесной опушке, четвертый — к летящей птице». Развернув эти две спирали, писа-

тель делает своеобразное обобщение (заключение): «И пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления...»

Как видим, в заключении обычно подводится своего рода итог, суммируется сказанное и в конечном итоге снимается нарастающее психологическое напряжение. В. В. Одинцов («Стилистика текста», «Наука», М., 1980) утверждает: «Проще всего схема развертывания реализуется в “логизированных” (по выражению В. В. Виноградова) композициях (подобные построения обычны в деловой, научной сфере). Усложнение схем развертывания происходит в языке массовой коммуникации, в тексте беллетризованном, публицистическом». Но какими бы сложными ни были преобразования, главное в них, на наш взгляд, — определить, что будет на выходе (в заключении). В этом отношении газетные тексты занимают особое место, ибо в наше время газета — органическая часть всей нашей жизни. Среди других средств массовой информации ей всегда принадлежала и принадлежит ведущая роль в формировании общественного мнения, мировоззрения человека, в становлении его взглядов. Особую актуальность газетная публицистика приобретает сейчас, когда мы являемся свидетелями возрастающего с каждым днем интереса к политике, к общественным проблемам среди самых широких слоев населения. Поэтому задача журналиста — квалифицированно осветить факты, которые он отобрал для раскрытия выбранной им проблемы, донести до читателя самое значительное в оценке того или иного события, побудить его к определенным действиям и т. д. Работая над материалом, нужно ясно, четко определить при этом и свою, авторскую, позицию (она может быть полемической, агитационной, резкой или нейтральной по экспрессии и т. д.).

Безусловно, каждый журналист стремится к всестороннему, глубокому освещению той проблемы, которую он ставит в центр своей статьи, однако при этом, по нашему мнению, ему никогда не помешает предостережение А. Г. Тимофеева, известного в свое время теоретика судебного красноречия: «Но быть правдивым в изложении не значит, однако, перечислять все известные обстоятельства: оратор имеет право выбора, может останавливаться лишь на тех, которые представляются для него существенными и полезными» («Речи сторон в уголовном процессе», СПб., 1897).

Поскольку в газетных, публицистических текстах преобладающими выступают рационально-логические структуры, то важную роль в статье играет и ясность членения текста в его последовательном развертывании, «обнажение» в нем его централь-



ных структурных звеньев. Тогда и точность, «ударная сила» статьи будет обусловлена не только качеством приводимого материала, но и особенностями его организации, особенностями структуры текста в целом.

В статье мы не рассматриваем особенности работы над газетными жанрами (репортажем, заметкой, очерком, путевыми заметками и т. д.), потому что каждый вид такой корреспонденции имеет свою специфику, что, конечно, влияет и на приемы работы над ним.

В особый раздел статьи нам хочется выделить и роль заголовка в статье, ибо с него фактически и начинается обработка полученной, собранной автором информации. С него же начинается и знакомство читателя с интересной для него статьей. Известные писатели-классики, журналисты видели в названии (заголовке) произведения, публицистической статьи своего рода ключ к пониманию того, о чем автор хочет говорить с читателем, перекинуть своеобразный мостик к его сознанию, взглядам и вовлечь его в активный процесс сотворчества. Вспомним всем известные со школьных лет названия: «Горе от ума» Грибоедова, «Кто виноват?» Герцена, «Что делать?» Чернышевского, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Не могу молчать!» Толстого, «Прокляты и убиты» Астафьева.

К сожалению, современные журналисты перестают думать о значимости заголовка статьи: часто берут название, ни о чем не говорящее читателю, или же, стараясь быть во что бы то ни стало не таким, как все, оригинальничают, чуть ли не фокусничают, забывая при этом, что взятый им заголовок и предлагаемая читателю информация никак не связаны между собой. Для иллюстрации

мы заглянули в газету «Московский комсомолец» от 13 апреля 2012 года и вот что там увидели (названия статей взяты нами вне каких-либо связей между ними):

1. «Власть в России должна быть с яйцами» (в статье говорилось о том, как депутаты Государственной Думы готовятся к встрече Светлой Пасхи).
2. «Звезда с звездой говорит» (строка из философского стихотворения Лермонтова потребовалась корреспонденту для названия репортажа о посещении В. В. Путиным Московского планетария).
3. «Мой брат не завалится...» (название интервью корреспондента М. Зубова с Ириной Дмитриевной Прохоровой).
4. «Ворота на тот свет» (статья о несчастных случаях на детских спортивных площадках).
5. «Без труда виноватые».
6. «Осечка на фоне любви».

Повторяем, эти названия статей взяты нами только из одного номера газеты, довольно популярной в наше время.

Завершая статью, еще раз подчеркнем: мы коснулись лишь некоторых, наиболее значимых аспектов структуры текста, приемов его развертывания. Дело в том, что текст — явление очень сложное и многогранное, как сложна и многогранна духовная сущность самого человека. Кроме того, в тексте главная роль, по словам В. Г. Костомарова, «переходит от дифференциации средств языка к принципам отбора и композиции общего материала, к организации индивидуальных высказываний...» («Причины и характер прогресса русского языка в наши дни», Вестник АН СССР, 1976).





## Алла ДУДЧЕНКО



*Алла Дудченко родилась Волгограде в семье военнослужащего. В детстве и юности жила в Германии, г. Грозном, Подмоскowie, с 1970 года — в Москве. Все перемещения по миру связаны с очередным местом службы отца.*

*Окончила физико-технический факультет Московского горного института по специальности «горный инженер физик-радиоинтроскопист», Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы по специальности «патентовед».*

*Работала экспертом во Всесоюзном научно-исследовательском институте государственной патентной экспертизы и патентоведом в «Оргэнергострое» (Всесоюзный институт по проектированию организаций энергетического строительства).*

*Несколько лет жила в Афганистане в связи с работой мужа.*

## Золотое сечение

У меня всегда имелась в характере особая черта: безудержный интерес к окружающему миру, желание знать, понимать, как же он, мир, все-таки устроен, на чем держится и какая в нем главная движущая сила. Но вместе с этим было в моей душе еще одно беспокойство, некое ее обмирание, когда звучала великая музыка, когда читала сражающие мое сердце книги, стихи, когда побежали мурашки по спине перед фасадом Казанского собора в Питере, когда услышала и увидела певца Марусина, Пьявко, Архипову и многих, многих. Соборы, картины, любой вид искусства рассказали мне, что существует во Вселенной какое-то золотое сечение, то есть некое идеальное соотношений частей, «гармоничное деление» создаваемого будущего целого объекта, и если то, что ты строишь, пишешь, рисуешь, стараешься вывести голосом — все равно что, — качественно приближается к соотношениям золотого сече-

ния, то у тебя получается истинная, настоящая работа. Однако и это не все, достижение такого результата потребует от человека еще и необходимости по-настоящему вывернуть душу, вычерпать ее до доньшка правдой, чувствами, любовью. Это тяжелые и счастливые вериги, носят их гении, им это по силам и дарованию. Но чувствуют все склонные к творчеству люди.

Я писала с детства, бросала это дело, ходила в литературные кружки, иногда что-нибудь печатали в какой-нибудь местной прессе. А вообще была заводилой в школе, и везде, где бы ни жила, чем бы ни занималась, устраивала литературные, музыкальные вечера, рассказывала людям то, о чем им думать некогда. Потом стала писать простые рассказы о том, что узнала, что свило гнездо в моем сердце. Были же на Руси рассказчики, сказочники, да и в мире, кобзари, менестрели... Так и живу, насвистывая эти рас-

сказки, как песенки, что мне по силам. Мое кредо — осень ли, зима ли в жизни-природе, да весенние сады все равно будут в цвету. Я уверена в этом, во-первых, потому, что каждый год вижу цветущие сады; а во-вторых, истинность закона золотого сечения мне воочию подтвердил соловей. Совершенно случайно я увидела, как он выводит свои гимны жизни: невероятно напрягши маленькое тельце, максимально вытянув шейку с трепещущим горлышком и приподняв, невозможно отведя в стороны, вытянув к хвосту крылья, он делал порученное ему дело. Каждая нотка была на своем месте и звучала чисто, каждое коленце строго попадало в ритм, во всем читалась, слышалась царящая в его существе гармония. Достигалось это большим трудом. Он знал о золотом сечении. В его мастерстве была не одна капля крови. Такую творческую биографию миру представить не стыдно.

*Алла Дудченко*

## МАНИФЕСТ ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА

*Взрослым женщинам девяностых годов двадцатого века, «стойким оловянным солдатикам», посвящается*

Добираться домой вечерними поездами метро очень утомительно. Уходит много сил на преодоление препятствий. К тому же ехать среди понурых людей с суровыми лицами и закрытыми глазами — тягостно. Вокруг подземная страна утомленных людей, утомленных днем, суетой, словами, всей многозаботной жизнью. Таких же, как она сама. Увы, таких же. Одно хорошо — практически никто ни на кого не смотрит. Не донимает вниманием. Она подумала: вот если бы сейчас ей вздумалось совершить преступление, то вряд ли милиции удалось бы составить фоторобот ее лица. Не запомнят ее соседи-попутчики. Потому что и не смотрят. Не смотрят... Как давно, интересно, случилось и ей стать невидимкой? Есть такая категория пассажиров, которых не замечают, не различают между собой, привыкшая к ярким телевизионным картинкам публика не заглядывает в обычные лица. Зачем? Сами такие. На виду всегда дети, животные, уродства или яркая индивидуальность. Остальные могут расслабиться. Теперь вот и ее «посчитали». Вообще-то ей повезло в жизни. Сначала маленькой хорошенькой девочкой умиляла родных и близких, потом, когда выросла, ее тоже замечали. В этом классе женщин, которых замечают, она жила очень долго, даже устала. И вдруг стала невидимкой. Нет, конечно, не вдруг. Просто у нее были некоторые проблемы, и она не сразу обратила внимание, как постепенно, «повозрастно», от ее лица и тела стали отваливаться заинтересованные взгляды. Ну что ж, можно вздохнуть свободней, теперь уже точно. Наконец она вернулась к себе, такой, какая есть. Теперь вам не интересно? И вам тоже? А и не смотрите, ей все равно. Она прикрыла глаза: жизнь и смерть — процесс взаимосвязанный, непрерывный с глобальной точки зрения. Только продолжительность и скорости протекания жизни и смерти разные. Поэтому и жалеть, собственно, не о чем. Ведь все — процесс! Родился, влюбился, женился, разбогател, заболел, разорился, потерял родителей, любимую собаку, сам умер... Только больно до

седины и морщин. Ну а так — процесс, объективная реальность. Что-то принес, что-то унес...

И к любви, к слову сказать, надо относиться именно так! Именно так. К большой, вечной — тоже. Большая, вечная любовь, другая ее не интересует. Другая у нее была несколько раз, а большая и вечная — несколько раз не бывает. Наверное, вот так серо все когда-нибудь и закончится в ее жизни. Тем более актер... Все наперед знала и все же надеялась. Какая нормальная женщина любит актера? К этой породе наших дорогих мужчин и подходить-то нельзя, кто же не понимает! Но сунулась. Зачем? Ну-у! Там мерцает талант — ворожба какой-то неземной, невещественной материи. Так близко! Так чарует, манит, будто огонь живой! Да пламень тот очагом не оказался. Такой огонь не может постоянно быть рядом. Нельзя жить на пожаре, домов не напасешься. А вот у нее-то самой талант, настоящий талант быть не в том месте и не в тот час.

Поезд начал притормаживать, и она, придерживая на плече ремень сумочки, стала протискиваться к выходу. Народ ужимался, поворачивался, пропускавая выходящих. Очутившись на платформе, она отряхнулась, как кошка, возвратила одежду на свое место, поправила ремень сумки и аккуратно расправила спину. Мясорубка. Но водить машину ей еще страшнее. Мужчины за рулем на наших дорогах — это конец света. В своем большинстве — хамы и бандюганы. Зато в метро куда ни глянешь — бабы! Чего-то хлопочут, сумищи всякие волокут или просто красиво идут. Ее коллеги по жизни, многие из них — поколение советских женщин после тридцати. В свое время именно от них первых избавились вошедшие в капитализм НИИ, конструкторские бюро и среднее чиновничество, всегда держащее нос по ветру. Мужики-сослуживцы, развращенные в развитом социализме бездельем, пьянством, пресмыкательством перед беспринципной властью, зачуяв надвигающийся дефицит рабочих мест, предали своих коллег-женщин. В жесткой перестроечной



борьбе, не гнушаясь ничем, они выдавили их с насиженных мест. В рынок баб бросили первыми, как штрафные батальоны. Или, как когда-то в войну, отступающая армия бросила свой народ — тех же баб, детей, стариков — в оккупацию. А потом, после войны, вот такие же мужики, сами-то подпираемые со всех сторон оборванным истощенным населением, строго вопрошали брошенный ими же народ, женщин особенно, праведно глядя им в опухшие от слез и голода глаза: «Чем занимались в 41–45-м годах?» Чем?! Да тем! Чем бы ни занималась, а детей и родителей тебе уберегла. Так и сейчас кинули. Сначала заставили уйти на пенсию старшее поколение, потом расправились с бабами. Причем нередко профессионально более талантливыми и деловыми, чем эти «главы прайда». Оттеснили их кого куда — в бордели, продавать газеты на улице, раздавать рекламу у метро, в уборщицы, посудомойки, в «Гербайфы», в какие-то диспетчеры у аферистов и бандитов. В «челночницы» на рынках, наконец. И опять смотрят брезгливо, строго — чего, мол, так низко пали-то? Но женщины, не самые хилые инженеры и конструкторы, не пропали на рынках, они зародили там свой приличный «мелкий бизнес», одели, накормили, не дали пропасть себе, своей семье, а в целом всему населению. Некоторые так вообще поднялись высоко. Именно!

Оглядываясь назад, надо честно признать, что на советских мужчин, за редким исключением, рассчитывать никогда не стоило, уж больно они были робки и гибки перед начальством, ленивы, безынициативны. Мягкие телом, томно млели пред властью. Попивали себе водочки в закутках да травили анекдоты. А бабы на них и не рассчитывали, между прочим. Бабы в России впрягаются в жизнь, как тяжеловозы в те самые возы. Они добывают и доставляют семье продукты, одежду, тянут дом, сражаются с воспитательницами в детских садах, учителями и врачами, покуда дети учатся, болеют. Потому что у нас что ни образуют в помощь населению — те же школы, детские сады, больницы, — везде получается концлагерь. Со всеми вытекающими унижающими людей законами его существования. И менталитетом «вершителей судеб» их сотрудников-надсмотрщиков. Но людям-то и детям надо как-то выживать? И кто тогда встает под ружье? Кто делает уроки, в срочном порядке изучает медицину, законодательства, сопромат? То-то. В стране Россия, начиная, наверное, с первобытного строя, все бесчисленные жизненные проблемы всегда висели на женщинах: землю пахать, нередко самим впрягаясь в плуги, сеять горстями из мешка, висящего на боку, шпалы класть, снаряды тачать, детей рожать от того, что было... малярить, кухарить, добывать, добывать, защищать...

Да что говорить! Но наконец-таки пришло, пришло времечко! Молодые длинноногие женщины России, насмотревшись на муки и страдания старших сестер-матерей, бабушек, сделали выводы, уперлись и стали сопротивляться. Умницы и красавицы, они научились энергично трудиться, ладить бизнес, зарабатывать деньги. Если надо, то и за рубежами своей нерадивой родины, где живут такие неумехи мужики, по сути, жадные предатели, что, дорвавшись до обломившихся им денег, теряют лицо, совесть и честь. Молодцы современные барышни и женщины! Bravo!

На улице моросило, октябрь. Она открыла зонтик и решила купить какую-нибудь еду. На осень, конечно, нечего пенять, она и без того выдалась теплой, солнечной, маловетреной. Но за осенью маячила зима, промозглая и беспощадная к жизни — выкарабкивайтесь сами как знаете! И ее-то, всегда не жалуюмую, женщина совсем невзлюбила. Прошлой вот такой же равнодушной мерзкой зимой от цирроза печени, мучительно страдая, умер ее любимый пес. Тогда-то, с трудом таская его на руках на улицу, чтобы он мог хоть как-то облегчиться, делая ему уколы и вводя в вену через катетер какие-то препараты, она держала по ночам голову своего собачьего ребеночка на коленях, давала ему пить с мокрого бинтика... Лишь бы он хоть немного поспал, забылся, перевел дыхание... Вся сжавшись пружиной, она отчаянно сражалась за жизнь своей собаки. И в эти же дни рассталась со своим обожаемым мужчиной — талантливым актером. Она тогда вдруг, очевидно нутром, поняла разницу между страстью и любовью. Страсть — это засуха, сушь, она безжалостна. Нет в ней милосердия, она знает, хочет и все равно возьмет только свое, она бесстыдна и требовательна. Она слышит только себя. Любовь же, как ни странно, желание — потом, а во-первых и во главе — «моя кровь — твоя кровь». И навечно — очарованность. Тот, кто любит, верит в тебя до конца, не мыслит плохого в тебе, до последнего вздоха прижимается, льнет к твоей руке. А когда уходит, в тебе неотступная сердечная боль и память о страданиях, не своих — его! Пережив смерть верного пса, казалось бы, всего лишь собаки, она поняла, какова цена настоящего страдания живой души. И вымученные иллюзии человека, желающего искусственных восторгов и потрясений, перестали ее волновать. Настоящая жизнь — другое, незачем бродить в бесплодных дебрях придуманных бед и потрясений, расстреливать душу попусту.

Она зашла в вечерний супермаркет, взяла тележку и покатила ее по сверкающему полу магазина меж длинных рядов с товарами в ярких упаковках. Изредка перед чем-нибудь останавливаясь, бросала

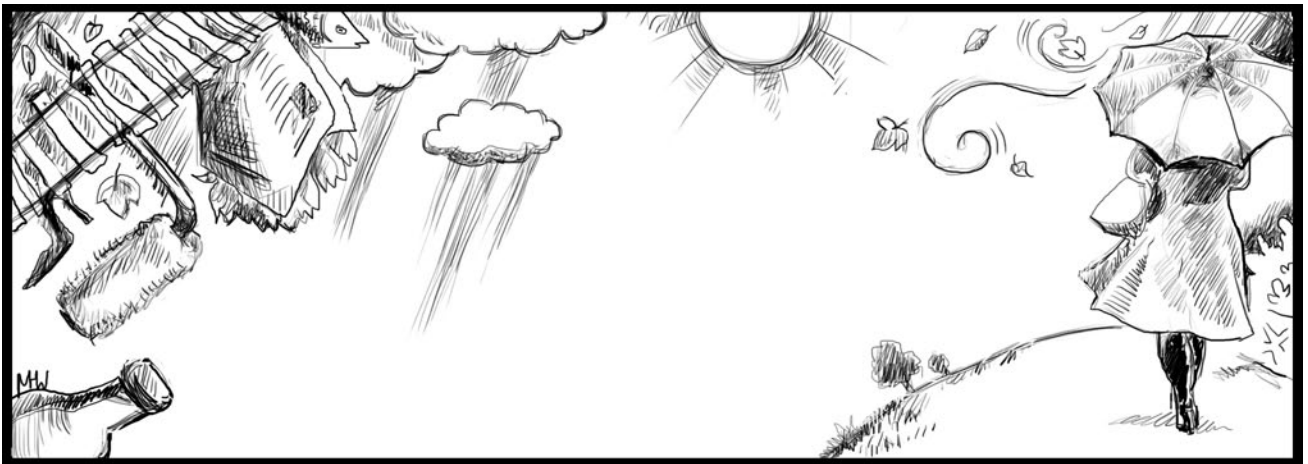


Рисунок Елизаветы Горяченковой

на дно бездонной корзины пачку творога, два йогурта, булочку. Задержалась у лотка с книгами, ничего не выбрала и встала в хвост очереди к кассовым аппаратам.

Перед ней маячила крутая спина мужика с тележкой, доверху набитой дорогими продуктами, бутылками коньяка, одноразовой посудой и прочая, прочая. Устало оглядев возникшую впереди кучу, она оценила ее стоимость, свое потерянное время и тоскливо отвернулась от этого неизбежного препятствия, как собака перед высоким двухметровым барьером, которая поняла — хочешь не хочешь, а придется прыгать. Сначала вроде бы даже дернулась попросить мужика пропустить ее вперед, в виду явного дисбаланса затрат времени. Но подняла голову, встретилась с его веселыми глазами и решила ничего не говорить. Ей не захотелось никого ни о чем просить. В торговом зале по местной радиотрансляции надрывалась Аллегрова со своим «Транзитным пассажиром». И мужик с тележкой тоже выглядел транзитным пассажиром. Проездом в Монте-Карло. Она выпрямила спину и окончательно отвернулась. Господи! Полжизни уходит у женщины на воспитание в мужчинах понимания сущности и порядка вещей в мире, прививание им элементарной культуры! Оставшееся время он обязательно у нее украдет. На что? Да на унылое терпение его самодурства, лени, скупости вместе с уборкой, стиркой, готовкой. Непременно стырит. Ох, до чего же хорошо она понимала все свои печальные, глубокие мысли!

А он, «мужик с тележкой», заехал в этот магазин по случаю, и теперь, отоварившись, в длинной очереди в кассу расслабился, оглядывая публику. Он и не подозревал, какие печальные, глубокие мысли приходят в голову его соседке, он просто так рассматривал окружающее его пространство. Например, видел, что девочка-кассирша явно кокетничала,

бросая ему говорящие взоры, а сразу за ним стояла женщина на высоких каблуках с влажным зонтиком в руке, другой — придерживала практически пустую тележку. И он стал потихоньку поглядывать на нее, случайную соседку. Кстати, у него был повод поворачивать голову назад — компаньон Серега больно долго шнырял среди стеллажей с пивом. По местному радио гоняли экзальтированную Аллегрову, она надрывалась там со своим «Транзитным пассажиром». Песенка показалась ему к месту, он даже стал подмурлыкивать ей. Мельком взглядывая на соседку, подумал с усмешкой: интересно, попросит или не попросит пропустить ее вперед? С этими сиротскими кефирчиками-то. Ага, смекнула! Но... окинула его светлыми глазами и передумала, отвернулась. Он даже чуть подался к ней, желая предложить любезность! Да вдруг сообразил, что она ведь сразу уйдет из магазина. За пять секунд пробьет в кассе булку с творогами — и гуд бай. В нем шевельнулась некая досада. Нет, если попросит, он, конечно, пропустит ее, без вопросов. И, может, даже заговорит, какие проблемы. Но она отвернулась читать этикетки на дурацких банках со специями. И он опять почувствовал досаду. Нормальная баба, не дерганая. Лет сорок. Взгляд открытый, скользнула по нему, и все. Никаких завлекалок, явных или тайных. Небось в юности макулатуру на книжки сдавала. И ноги хорошие. Упругие, округлых правильных линий с тонкими щиколотками и маленькими ступнями, как ему нравится. Ну, точно, из тех времен, теперь таких не делают. Совсем неплохо бы после такой удачи в Москве, хо-о-орошего навару во все же сыгравшем дельце, после угарных суток в сауне с компаньонами и голыми девчонками посидеть с этой в тишине. На диванчике под абажурчиком. Поговорить за жизнь. Этой-то есть что сказать. Но тормозит, явно тормозит. Нет, ни к чему ей такой расклад. Не интересен





ей и весь его наворот, просто откровенно до фени, вона как!

Они с Серегой вышли из супермаркета, открыли багажник джипа и стали выгружать в него покупки из магазинной тачки. Он поглядывал назад, в магазин. Сквозь большие витринные окна было видно, как его соседка, не торопясь, сложила свои творожки в полиэтиленовый пакет, подошла к цветочному ларьку. Стоит, внимательно рассматривает бесчисленные горшочки-цветочки, поправила ремешок сумки на плече. Какая-то медленная, до тошноты сосущая тоска маленькой, противной змейкой все-таки вползла в его сердце. Все, что эта женщина делала, практически ничего такого и не делая, нравилось ему, очень нравилось. Вот он всегда знал, что когда-нибудь ему встретится женщина, которая повернет голову, взглянет спокойными светлыми глазами именно так, как надо, а он увидит все это из окна мимо идущего поезда.

Они с Серегой забрались в машину, он сел за руль, Серега — рядом. Сквозь лобовое стекло он наблюдал за выходом из магазина, а Серега — за ним:

— Ты че, Васильич? Уснул?

— Сейчас.

— Ждешь, что ли? Эту мадаму?

— Какую мадаму?

— Да ладно. Вон, вышла. Увидела! Ухом не повела. Давай! За ней!

— Я что, сумасшедший? Мальчонка?

— Дык потому и давай!

— Нет. Слушай, ты из этого ража-то уже выходи как-нибудь. Хватит.

— Ну, тогда выруливай на хайвей, и нах хаузе, домой, в Тулу! Мы с тобой честно, почти праведно, заработали сумасшедшие деньги! И хватит. Погуляли, погудели — и харэ! Все, домой, в Тулу!

— Да успокойся ты. В сауну заглянем?

— Вообще мы там за все рассчитались.

— О! Забрезжило.

К мадаме подбежала бездомная собачонка, подняла к ней мордочку. Мадама остановилась, достала из пакета свою булочку, отломала от нее половину, дала собачонке и пошла к ближайшему подъезду ближайшего дома. Все. Он включил зажигание. Пла-

точек, небось, от Версаче на головке повязан. Под Мэрилин Монро. Ясенько! Не абы чего, не хухры-мухры. Во всем облике — отвалите все! И духи — ненавязчивое дыхание Арктики. Понятно. Не извольте беспокоиться, мадам! Волосы под платочком темно-русые, вьются, а руки — красивые. Жаль, да жаль... Он стал выруливать со стоянки.

Она же, поднимаясь в лифте на седьмой этаж, размышляла о том, что в ее сердце холодно без любви. Суровость женщины — признак пустоты, отсутствия любви в ее доме. А тот мужик из супермаркета был классный. Такие начали рождаться, наверное, лет десять спустя после ее дня рождения. Хозяин. Умные, быстрые глаза... Да-с, ничего не поделаешь, все великие открытия как-никак принадлежат им, мужикам. Они же, как известно, написали лучшие картины и песенки... К тому же только мужчина мог когда-то давно так легко присесть на корточки возле ее ног и завязать распустившийся шнурок ее левого сапожка. Посреди улицы, белым днем, в плотном людском потоке, на виду у всех, прикрыв ее от толпы вот такой же широкой спиной... Ей понравился живой взгляд крутого мужика из супермаркета. Хороший, прямо скажем, взгляд! Заинтересованный, азартный, как у таксы. Жаль, очень жаль... Но — другое это поколение. О чем с ним говорить-беседовать? Есть ли вообще это «о чем»? Да и бежать с таким лидером по следу денег, на их запах ей скучновато. Сама заработает, сколько сможет. У молодых мужчин другого времени пусть будут свои, тоже другие, женщины. А на нее, глядишь, набежит кто-нибудь из «своих», остался же, в конце концов, среди них кто-то с душой и совестью?

Она развязала платок, сняла его и вспомнила из «Синей птицы» Метерлинка: «Я никогда не видела Блаженства, даже самого маленького!.. Дайте же мне посмотреть!»

Лифт остановился, выходя из него, она смахнула капли дождя с одежды. Не Блаженство, конечно, удалось увидеть ей нынче, а тенденцию, какими будут будущие героини будущих дней. Однако, господа героини, судя по бойцовским чертам характеров будущих и уже нынешних женщин, непросто вам с ними придется в жизни — «одно зло вытекает из другого».



## ИСТОРИЯ — ВЕЩЬ ВРЕДНАЯ

**И**стория — вещь вредная, потому что она все помнит. Мэри подумала: эта ее мысль вполне тянет на афоризм.

За окном стояла молодая осень, начало сентября. Мэри сидела на родине, в Москве, на кухне и заканчивала перевод популярной книжки «про косметику». Нет, не то чтобы она любила делать переводы литературы именно в этой области, наоборот, терпеть не могла. Но однажды, как-то польстившись сдуру на бешеные деньги, что ей предложил один кандидат медицинских наук, стремившийся пробиться на Запад и сделать там карьеру как косметолог, она неожиданно для себя приобрела в своих кругах славу хорошего специалиста в переводах именно по этой специальности. И в дальнейшем даже была вынуждена всячески скрываться от клиентов-«косметологов», потому как такие переводы — это головная боль, всегда и надолго, в смысле — трудоемко и времени уходит вагон. Она вообще зареклась братья впрямь за нечто подобное. Но вот опять соблазнилась. Жизнь есть жизнь, и когда-то вновь подкатывает нужда в большой сумме денег. Сейчас она впряглась в этот хомут, почитай, из-за своего же собственного желания красиво выступить. Ей захотелось сделать сюрприз мужу Леве, преподнести ему в такой маленькой коробочке с бантиком деньги, как раз ту сумму, которой не доставало на покупку новой машины, что занимала все его мысли... А текст-то новой книжки оказался уж вовсе невыносимым, просто пересыщенным специальными медицинскими и химическими терминами. Мэри корпела над ним день и ночь, отказываться от работы или халтурить было не в ее правилах.

И вдруг посреди этой тяготы позвонил ее коллега-переводчик Гриша и попросил Мэри поменять его в срочной поездке в Питер. В некую российскую компанию приехали испанцы, их партнеры по винному бизнесу, а сам Гриша вырваться не может, платят нормально. Выслушав Гришу, уточнив программу посещения, количество и длительность переговоров, сроки пребывания и грозящие ей деньги, Мэри согласилась, а закончив разговор, даже потерла от радости ручки. Как же здорово! Нежданно деньги — это раз, но главное — ей уже давно хотелось оторваться от опостылевшего текста. Вроде бы и время сдачи этой муторной книжечки особо не подпирало, да бросить такую черную пахоту без видимой причины рука не поднималась. А тут Питер! Так почему бы и нет? И Мэри взяла билет на самый крутой питерский поезд, и почистила перышки, и уложила чемоданчик.

За десять минут до отправления экспресса она не торопясь вошла в вагон с сумочкой на плече и этим чемоданчиком на колесах. И поплыла себе, умиротворенная, расслабленная, по красной ковровой дорожке, а впереди вдруг открылось купе, и из него вышел седоватый, уже заматеревший с годами Гречко, ее несчастная институтская любовь. О как! Извольте радоваться, как любит говорить Гоша, муж ее подруги Кэрри. Гречко с интересом глянул на Мэри, не узнал, но, когда она прошелестела мимо него поблескивающим в приглушенном вагонном свете плащом, оставила в тесном пространстве завиток запаха мудреных духов, он встрепенулся и стал смотреть, как она открывает дверь недалевого от него купе, как завозит туда чемоданчик. И зачуял неладное, и постепенно понял — Мэри!.. А она тем временем вошла в свое купе, поздоровалась с попутчицей и, снимая плащ, чуть не рассмеялась — подарочек, что называется! Дорога полна неожиданностей, как говорится.

Большую часть жизни Мэри проводила в дороге, преимущественно в машинах и самолетах. Поезд как-то выпадал из списка средств ее перемещений по миру, она редко им путешествовала. Но именно его-то и любила. И вдруг Питер подвернулся. Это же совсем другое дело! Во-первых, Питер был близко, срочного прибытия туда обычно не требовалось. Во-вторых, именно в Питер ей всегда хотелось ездить только поездом. И обязательно ночным. Так уж всегда сходилась — поездом и ночным. Даже собираться в эту поездку ей доставляло удовольствие. Она брала с собой не спортивную сумку, а франтовской чемоданчик на колесах, позволяла себе красивую одежду, туфли на высоком каблуке, любимую книгу.

Ночные поезда вообще трогали ее душу, тревожили, отстукивая колесами чьи-то печальные, потерянные слова — «ку-да, ку-да ты? За-чем, за-чем?»... Там, в покачивающемся купе несущегося сквозь тьму экспресса, всегда горит синий ночной свет, на откидном столике в стакане с металлическим подстаканником дрожит чай с лимоном и везде витает призрак угольного паровозного дыма. Для нее — витает. Конечно, современные составы уже давно ведут за собой электровозы, но для Мэри — ночные поезда всегда пахнут дымом из огромного черного с неотразимыми красными колесами трудяги паровоза. И тогда всю ночь она вдыхает этот горьковатый, овевающий только ее дымный запах. И грустно спит в нем, покачиваясь и вспоминая... Это были даже не воспоминания, а ощущения, которыми она



дорожила и которые так бережно хранила. Стоило ей, особенно зимой, сесть у темного вагонного окна и взглянуть в него, как перед ее взором возникала давняя завораживающая картинка: пепельно-серая ночь, полнолуние, бесконечная заснеженная степь, и вдаль такой же бесконечный, темно-синий зубчатый оеом леса на краю земли... И по твердому по-сверкивающему насту этой равнины близко к поезду размеренно, видно, уже долго бежит цепочка больших сухопарых серых собак. С черно-серебристыми спинами. Маленькая Мэри из-за шторы на окне вглядывается в эту зловещую цепочку страшных собак, в трескуче-холодную ледяную безграничность за стеклом, и ей очень страшно. На сильном морозе, в бескрайней вечной степи поезд показался ей маленьким, ненадежным, а тепло в вагоне — непрочным, зыбким. Скорость поезда была не намного больше скорости бегущих грозных собак. Их было хорошо видно. Некоторые собаки иногда поворачивали большие головы в сторону поезда, и Мэри тогда в ужасе видела их спокойные морды и светящиеся светлые глаза. Она даже помнит, что первым повернул голову вожак — первая собака. Мэри была уверена, что вожак зорко всматривался именно в нее, а другие собаки — присматривались ко всем остальным пассажирам в поезде и облизывались. Она совсем съезжилась за шторкой, но оторвать взгляд от этой прекрасной жуткой картины у нее не было сил. Мать тогда обняла ее:

— Смотри, дочка! Такое ты вряд ли когда-нибудь еще увидишь. Это — стая волков. На охоту бегут. Как страшно какому-нибудь путнику сейчас с ними встретиться, оказаться на их пути! Одному в такой ледяной пустыне...

А бабушка, лежащая на противоположной полке и тоже смотрящая в окно, тут же ласково сказала:

— Не бойся, Машенька, они нас не достанут и не догонят. Чего ты проснулась? Спи, дорогая, скоро будет утро, взойдет солнце, станет светло, снег засверкает. Что ты ее пугаешь, мать! Смотри, у нее глаза как блюдца!

Мэри помнит то свое чувство полной незащитности перед громадным холодным миром. Но — очень красивым! Она представила тогда, что вдруг выпадет из поезда в своем байковом платьице в эту серебряную от снега и инея в воздухе степь, как поезд уйдет, она останется одна, к ней подойдут черно-серые с серебристыми спинами волки, окружают ее, уставятся на нее своими светлыми прозрачными глазами... Только мамины теплый бок и рука, обнявшая Мэри за плечи, да бабушкин спокойный любящий голос спасли ее той ночью от уже готового поселиться в ее душе страха перед жестоким миром, чувством одиночества в нем. Впоследствии, когда,

будучи уже школьницей, она рассказала маме с бабушкой о своих воспоминаниях, те удивились:

— Ты не можешь этого помнить! Тебе не было и двух лет! Мы ехали из Сибири, ездили туда знакомиться с семьей твоего отца. Сибирского деда мы не увидели, он погиб, нас встречали твоя другая бабушка и родственники. А их ты помнишь? Кстати, волков первой увидела твоя мама, разбудила меня, мы тихонько смотрели, а ты вдруг проснулась и тоже полезла к окошку. Встала коленками на подушку, спряталась за шторкой на окне и все смотрела, смотрела.

Сибирских родственников Мэри не помнила на-чисто, но поезда с тех пор навсегда стали для нее хранителями осязаемого тепла мамы и бабушки, их любви и защиты. Засыпая в ночном поезде под любимый стук колес, взрослая Мэри видела кадры одного и того же старого, сочиненного ею же фильма: их вагончики уверенно тянет за собой громадный красивый паровоз с большим прожектором во лбу и красной звездой на груди. Мощным лучом света он смело, сильно рассекает перед собой тьму и пространство. Громко гудит, подбадривая себя в ночи, распугивая врагов, и неустрашимо мчится к цели... В ту сибирскую поездку именно такой паровоз однажды остановился напротив их вагонного окна. У него-то и были большой прожектор, замечательные красные колеса и звезда на груди. В клубах белого пара, сверкая черными лаковыми боками, он стоял совсем близко, на соседнем пути, подставив свое нутро под «клюв» какой-то трубы, которая, изогнув к нему шею, проходила где-то высоко, поверх всех составов. Из этого «клюва» в паровоз вдруг хлынул целый поток парящей на морозе воды, паровоз довольно запыхтел, зафыркал под ним... и моментально запал Мэри в душу. При неотразимом том паровозе она сразу почувствовала себя спокойной и счастливой. И с тех давних минут Мэри пребывала в непоколебимой уверенности, что в поезде с ней никогда не могло случиться несчастья. Ей было очень комфортно в них. Просыпалась иногда со слезами на щеках, это — да. Но всегда — полная сил и даже вдохновения, такой готовности души к глубоким впечатлениям.

Сейчас Мэри с удовольствием располагалась на своем месте. Попутчица оказалась деликатной пожилой дамой, не утомлявшей ее своим присутствием. Мэри достала из чемодана бутылку минеральной воды, поставила ее на столик, рядом положила салфетки и апельсин. Ее апельсин лежал на столе в черном мельхиоровом кольце, такое специальное приспособление для транспорта, Мэри купила его в антикварной лавке во Франции. Любит Мэри такие прикрасы. Она еще хотела взять в дорогу кольцо для салфеток и держатель с подсветкой для

книги, но подумала, что это уже перебор, даже для нее. Пришла проводница, забрала билеты, освесомилась, когда подать чай. Мэри заказала чай на поздний вечер и решила, что пора бы навеститься в вагон-ресторан. Кстати, это тоже входило в ритуал поездки в ночном поезде: неспешно выпить в вагоне-ресторане граммов пятьдесят коньяка, маленькую чашечку крепкого кофе с лимоном и, выкурив одну длинную сигарету, глянуть на окружающих. Потом, уже у себя в купе, полистать прессу и совсем на ночь пригубить дорожный чай из стакана в металлическом подстаканнике. Все, сон до утра ей гарантирован. Вообще в поезде она немного играла на публику, это всегда ее взбадривало, но бесцеремонности попутчиков, которые могли обмануться ее смелостью и одиночеством, она не боялась, ее всегда защищали навыки корректного, холодноватого общения с людьми, выработанные долгой мобильной жизнью в Европе. Перед выходом из купе Мэри поинтересовалась у попутчицы, не нужно ли ей что-нибудь к ужину из ресторана, чуть прошлась обувной губкой по тонкой коже туфель, поправила узкую юбку, одернула жакет, прошлась расческой по челке и открыла двери.

В коридоре уже появился народ, преимущественно молодежь, желающая поболтать и скрасить время в дороге. Коротать время болтовней и смехом в таком ночном поезде! Какие молодые и глупые. Они еще не понимают, что сама дорога до Питера может скрашивать жизнь. Мэри появилась в обществе, и любопытная молодежь, а также граждане, знающие толк в прекрасном, повернули в ее сторону головы. Мэри шла, все без исключения смотрели на нее, и, значит, все отлично, все пока как всегда. Вполне довольная собой Мэри вошла в ресторан, увидела в конце зала свободное местечко у окна, спиной к входу, как она любит, приземлилась там, сделала заказ и открыла прихваченный с собой журнал. Как же все-таки хорошо! Да! Ничего над душой не висит, время принадлежит только ей. Оно расписано, определено, в него нельзя вмешаться с какими-нибудь неотложными делами. Не надо вскакивать, заполошно кидаться в машину... Пора тишины, часы с собой. Долгие ли, короткие — неважно. Главное — они сейчас есть.

Конечно, она понимала, что может нарваться на Гречко, но прислушалась к себе и убедилась — это ее почти не волнует. Она смаковала кофе с коньяком, листала журнал, задержалась на странице с книжным обозрением... Как-то в книжном магазине Барселоны на одном из прилавков ей попались на глаза две лежащие рядом книги. Одна из них — ее собственная «Испания, диалоги», другая — «Моя любовь — Испания», Гречко. Разумеется, где же

еще и встретиться однокашникам, как не в Испании! Книгу Гречко она тогда купила, внимательно прочла. Ну, что? Она была такой же, как сущность ее автора, — профессиональна, комплементарна, гладка, как шар. То есть узнать что-либо о человеке, написавшем все это, его истинную позицию по тем или иным острым вопросам, о чувствах, в конце концов, не представлялось возможным. Чувств, страсти в ней как раз и не было, но — приличная, достойная. Только где же тут «моя любовь», а, Гречко? Видимость, одна видимость. Как всегда, да? Хорошо издана, даже шикарно. В общем, вылитая ты, Гречко. Нет, Мэри не хотела бы так писать. Да и не напишет никогда, ведь «каждый пишет, как он дышит», а она дышит иначе. И со словами — слушает свое сердце... Мэри посмотрела в окно — эй, волки с себребристыми спинами! Где вы? Взгляните на меня своими прозрачными глазами, чтобы пробежал по спине холодок, проснулось в душе от забвения чувство надмирности человеческой сущности, парения в недалекой бесконечности и близости чьих-то всевидящих глаз! Мэри тряхнула короткими волосами. Что же, мир по-прежнему играет комедию — *totus mundus agit histrionem!* Да и на здоровье! Но я — нет! Мэри листнула страницу журнала.

— Добрый вечер, мадам! Разрешите вас побеспокоить? — на низких воркующих нотах тут же прозвучало над ее плечом.

— Добрый вечер, господин Гречко! — ответила Мэри, не поворачиваясь и не поднимая от журнала голову. — Садитесь, пожалуйста.

— *Con mucho gusto!* — Гречко сел напротив.

Мэри опустила журнал, окинула бывшую любовь взглядом:

— Хорошо выглядишь, солидно. А чего в морской форме?

— Пригласили, я не отказался. И не жалею.

— Родители, небось, сосватали? Что ж, форма тебе идет. Тем более с неплохими звездами на погонах.

— Все-то вы знаете, сударыня.

Гречко склонил голову к плечу. Крепкий, благоухающий дорогим парфюмом, с шевелюрой от хорошего мастера. Не слабо у нас некоторые военные ночью живут!

— Ты тоже — ничего себе, — констатировал и он. — Почитываю тебя иногда: статьи, книжка хорошая. Как всегда — не в бровь, а в глаз. Все на переднем крае, все горишь на поприще? Мама моя часто ахает, читая твои опусы. Бежит к отцу или у меня интересуется, кто тебе позволяет такие комментарии.

— Батюшки, а ей-то что?

— Никак не привыкнет, что сейчас все можно. А почему такая неотразимая стала? — Он повернулся к официанту.



— Да так, сошлось. Позволяю себе. Кстати, можешь передать своей татап, что вольные комментарии я позволяла себе задолго до «можно».

К столу одновременно с официантом подошла высокая беленькая девочка лет семи. Гречко обнял ее, сделал официанту заказа.

— Приятного аппетита! — кивнула девочка Мэри. — Знаешь, пап, я передумала ужинать, я пойду к себе. Принеси мне сок и шоколадку.

— Мэри, вот это чудо — моя дочка, Дарья. А это, Дарья, — моя однокурсница Мэри.

Мэри приветливо протянула девочке руку, та вяло ответила на ее короткое рукопожатие, придиричиво обожала незнакомку взглядом:

— Так я пойду, ты приходи побыстрей, — с ударением на последнем слове сказала девочка. Она выскользнула из-под руки отца и пошла к выходу.

— Дарья! — окликнул ее Гречко. — Бегом. Из купе не высовываться. Закройся. Слышишь?

Девочка, не оглянувшись, подняла руку и покачала ладонью. Мэри улыбнулась этому, а Гречко подмигнул ей:

— Ревнивая. А у тебя есть дети?

— Пока нет.

— Что, неужели все в девках сидишь? — Он развернул салфетку. — Принца не нашла?

— Где уж мне.

— Шутить изволите? Хочешь, с другом познакомлю, — великодушно предложил Гречко, приступая к бифштексу.

— С адмиралом, надеюсь? — допила коньяк Мэри.

— Ну, я тебя не в любовницы ведь сватаю.

— Спасибо, Гречко, за доброту твою. Обойдусь как-нибудь. Где живешь на суше-то?

— Да в Питере. А твой домик в Мадриде с квартиркой на третьем этаже мне при случае показали. Ничего себе домик, хороший.

— Ой и ой-ей-ей. Мне даже страшно представить, какой еще не специальной информацией у нас владеют отдельные морские офицеры-переводчики. Или это папины каналы, с маменькиной подачи?

Гречко укоризненно глянул на нее:

— Будет тебе.

Мэри улыбочиво помолчала.

— Верю, верю, что сам добыл.

— Раньше такой жесткости в тебе не было.

Мэри пожала плечами:

— Выросла. А домик на самом деле хороший. Я и в Москве на третьем этаже живу. Взгляд с небольшой высоты зорче, но не отрывается от реальности.

— Конкретной девушкой ты, смотрю, заделалась.

Мэри отодвинула от себя чашечку:

— Ладно, господин полковник — так ведь? — пора мне. — Она промокнула салфеткой губы.

— Убегаешь? — хмыкнул он. — Тебя в Питере встречают? А то давай подвезу.

— Меня встречают, но — спасибо. И я не убегаю, я хочу еще кое-что глянуть по делам. Что же, рада была увидеться, дочка у тебя хорошая, будь здоров! — Она оставила рядом с блюдцем деньги, вышла из-за стола и, кивнув, пошла к себе.

В тамбуре своего вагона Мэри все же остановилась перевести дыхание. Она подошла к окну, достала сигарету, зажгла ее. Смотрела на мельканье столбов и деревьев, а чуть погода достала из сумочки мятную жвачку. Вот тебе и все равно. Нет, все-таки «время рисует нечто другое, чем воспоминание»! Остается лишний раз убедиться в пронзительной правоте этого изречения некоего неизвестного ей О. Людвиг, где-то и когда-то попавшегося на глаза. Это высказывание сразу запомнилось ей своей пугающей недосказанностью, огромным пространством за ней, этой недосказанностью. Блаженно заснуть, как хотелось раньше, теперь, естественно, не удастся. Она будет лежать и вспоминать. Как там дальше у этого О. Людвиг? «Воспоминание сглаживает старые морщины, время — прибавляет их». А морщины-то на душе, на сердце. Хоть и было это давно.

Как-то в начале 1993 года в студенческие каникулы они с Гречко, будучи еще третьекурсниками, подрядились сопровождать по спортивным объектам одну испанскую группу, представителей футбольных клубов. Пристроила их в это дело мамочка Гречко, она вращалась в мидовских кругах по месту службы Гречко-старшего, отца. В то время младший Гречко уже свободно говорил на двух языках. А Мэри в английском еще запиналась. Но испанский! В группе никто не мог сравниться с ней, это была ее стихия, она чувствовала этот язык, будто родилась в Испании. Гречко, например, не мог вжарить в контексте перевода какой-нибудь летучий анекдот, а она — с серьезным видом, без паузы, могла выдать такое, что слушатели, взяв время на осмысление такой неожиданности, ржали, как лошади. Ну как минимум улыбались. И тогда лед между людьми таял, впоследствии таял даже на тяжелейших переговорах, которые сразу начинали двигаться в нужном направлении. Мэри была тогда озорной девчонкой, дерзкой, но ранимой.

В то время она походила на лошадку-пони с черным длинным хвостом и густой челкой ниже бровей. И в то время у них с Гречко был пик любви. Жить друг без друга они не могли категорически. Но мать младшего Гречко очень Мэри не полюбила, она рисовала сыну блестящую карьеру, хотела для сына жену из своей среды. Мэри ей мешала, она решила убрать Мэри обходными путями — показать сыну на деле,



что, несмотря на весь талант, Мэри не сможет достичь высот в профессиональной карьере или быть достойной женой такому подарку, как ее сын. Эмоциональность, принципы, смелость, чувство свободы не позволят Мэри достичь нужного положения в обществе, и, значит, она помешает ее сыну в его продвижении к вершинам социального и материального благополучия. Человек, опытный в тонкостях игры на минном поле посольской жизни, она не сомневалась, что неискушенная, искренняя Мэри обязательно и даже очень скоро вляпается в какую-нибудь историю. А ее умный сыночек сам все увидит и сделает выводы. Он сумеет остановиться, он вырос в правильной атмосфере.

Тем не менее Гречко и Мэри получили это задание вместе и поехали с группой по крупным спортивным сооружениям. Все было замечательно до последней на тот день встречи. После приема в красном уголке очередного спортивного общества все вышли на воздух, а руководитель российской стороны решил похвастаться новинкой — полем с искусственной травой, защищаемым от осадков легкой мобильной крышей. Ее-то как раз в данный момент и возводили. И только все вышли на строительную площадку, вокруг началась нервная суэта, все бегали с вытаращенными глазами, указывали на башенный кран. Мэри тоже подняла голову и побледнела — на стреле крана, у ее основания висел удавившийся человек! К нему подбирались люди, чтобы снять несчастного. Внизу уже подъехали скорая помощь и милиция. Мэри бросила группу на Гречко, пробралась к машине скорой помощи, что-то в силуэте повесившегося бедняги ей померещилось знакомым. Гречко нашел ее и тихо напомнил, что надо тактично, но настойчиво увести испанцев в автобус.

— Я не могу. По-моему, я знаю этого парня, он мой сосед по дому с первого этажа. У него мать — сердечница. Такой хороший парень!

— Мэри, так нельзя, это не профессионально, у нас будут неприятности. Мы должны вернуть их в гостиницу, сдать. Вдвоем.

— Вот ты и сдавай! Они не багаж, нормальные люди, как мы! Что, у них несчастий не бывает!

— Хорошо, успокойся. Я все сделаю, — развернулся он от нее.

Испанцы, увидев взволнованную Мэри, подходили к ней, спрашивали, она отвечала им как есть. Тем временем на носилках принесли парня, его лицо, как и все тело, было накрыто простыней. Мэри подошла к носилкам, откинула простынь с лица и заплакала.

— Доктор, я соседка этого парня. У него мать — сердечница, ей нельзя сообщать, возьмите телефон его сестры, ей сообщите. Пожалуйста! Я вас очень прошу!

Доктор подождал, пока Мэри трясущимися руками на клочке какой-то бумажки напишет номер телефона, взял эту бумажку, сунул в карман и кивнул.

Мэри потерянно вышла из толпы. Стояла и плакала. Испанцы отказались бросить Мэри в такой ситуации, утешали ее. Только вместе с ней они поднялись в автобус и поехали в гостиницу. Это все, что было. Со следующего дня начинались студенческие каникулы. А в первый день нового семестра Мэри вызвали к декану и устроили ей страшное судилище, объявили, чтобы готовилась к отчислению за недостойное поведение перед иностранцами. Мэри объясняла, как было на самом деле, призывала в свидетели Гречко, но оказалось, его нет на занятиях и не будет недели две-три, он сидит в больнице у постели заболевшей матери. Никто Мэри не слушал, не защитил, слова доброго не сказал. От крушения всей ее жизни Мэри спасли все те же испанцы. Они по своей инициативе написали письмо ректору института, где благодарили его за то, что в его стенах выросла такая прекрасная девушка, поросль новых россиян, современных, открытых, сердечных людей, отлично владеющих профессиональными навыками, истинных представителей новой Европы!.. После этого, чего уж... ректору пришлось соблюсти лицо современного европейца, и Мэри не отчислили. А потом одна девочка-секретарша из деканата рассказала ей по секрету, как пришел Гречко к декану, обрисовал ему ситуацию, снял с себя ответственность — доложил. Тот посоветовал отличнику Гречко исчезнуть куда-нибудь на время от греха подальше, пока вопрос не утрясется тем или иным образом. Мэри, выслушав все это, заболела. Она лежала дома и молчала, она вполне поняла своего соседа Костика, повесившегося от несчастной любви. Прямо на глазах у отвергнувшей его секретарши директора, кабинет которого как раз выходил окнами на стройку и злосчастный кран. Костя полгода назад демобилизовался из армии.

Дня через три Мэри приступила к занятиям, Гречко она ничего не сказала, просто под разными предлогами перестала с ним общаться. Мама Гречко была, наверное, очень этому рада... Тем более что в те страшные для Мэри дни они с сыночком не мучились в больнице, а отдыхали в санатории-профилактории.

Но 1993 год для Мэри не закончился просто так. Она сумела встрять еще в одну историю. В дни кризиса с Верховным Советом и дальнейшим обстрелом Белого дома Мэри отважно примчалась туда, на место событий — ведь там вершилась история! Какими-то переулками она совсем близко подобралась к месту трагедии, спряталась в глубокой подворотне ближайшего дома за двумя мусорными





контейнерами. Под курткой, на груди, у нее висела видеокамера, в кармане лежал газовый пистолет. Она видела цепь милиционеров, у которых не было никакого оружия, кроме дубинок. Они стояли в оцеплении. Неожиданно со стороны Белого дома из народа вырвалась группа мужиков с обрезками металлической арматуры, накинулась на милиционеров и принялась жестоко их избивать. Первым из милиционеров упал молодой парень, двое мужиков с остервенением стали пинать его ногами, били железными прутьями. Парень лежал, вздрагивая от ударов. Мэри кипела от возмущения, но ей было страшно. Она стояла за мусорными ящиками, топталась на месте, как испуганный щенок, и поскуливала — гады, какие же гады! Вдруг по ее спине прополз холодок... Мэри прислушалась к себе, ей показалось, что за ее спиной встал лобастый волк-вожак из детства, из той заснеженной сибирской равнины! Стоит он за ее спиной и смотрит светлыми глазами прямо ей в душу... Дальше — больше. Волк большой своей мордой властно подтолкнул ее вперед — давай, двигай, пора! От ужаса Мэри завизжала, как милицейский свисток, вылетела из-за мусорных бачков и бросилась к лежащему парню:

— А-а-а! — очумело верещала она, вытаскивая на бегу из кармана куртки газовый пистолет. — Вы что делаете, сволочи! Отойдите от него все, гады! Это мой брат! Я вас всех перестреляю! Отойти, я сказала! Отойти!

Мужики обомлели, оторвались от убийства. Мэри подлетела к ним:

— Убирайтесь! Отойдите от него! Всех перестреляю! Игорь, Игорь, ты живой?

Мужики отступились от своей добычи. Потом развернулись, кинулись бить других.

Мэри опустилась на колени рядом с парнем, он был весь в крови, голова разбита, одна рука висела плетью, но глаза он открыл. Мэри помогла ему встать, они вместе побрели в подворотню, где пряталась Мэри. Они уже почти дошли до места, когда в конце улицы раздалась автоматные очереди, и появилась группа каких-то быстро бегущих в их сторону военных. Мэри еще больше поднатужилась, заторопилась и наконец затолкала парня за мусорные контейнеры, где он, теряя сознание, сполз по ним на асфальт. Мэри спрятала пистолет в карман, встала у контейнера перед парнем, прикрыв его сбоку от случайных взглядов, и пригнула голову за бортик ящика, чтобы их не увидели бегущие мимо подворотни солдаты. Кто его знает, кто они, с какой стороны... Солдаты пробежали, даже не взглянув в их сторону. Парень лежал без сознания, она присела перед ним, стала потихоньку тормозить и редела, не знала, что ей делать! И опять кто-то сзади коснулся Мэри,

ее плеча, она уже не взвизгнула, просто обернулась. Перед ней, приложив палец к губам, стоял молодой мужчина:

— Давай затащим его во двор, у меня там машина, я здесь живу. У меня есть друг врач, отвезем парня к нему в больницу. Не бойся, мы ему поможем.

Мэри даже не кивнула парню, она вместе с ним подняла милиционера, и они потащили его к машине. Положив раненого на заднее сиденье, нежданный спаситель жестами показал Мэри, что милиционера надо накрыть пледом, чтобы не было видно ни его формы, ни ранения. Окольными путями они кружили по Москве, пока все-таки не въехали во двор какой-то больницы в дальнем спальном районе. Потом спаситель милиционера долго пробивался к врачу, а Мэри сидела в машине, проверяла пульс у недвижимого парня и без конца что-то говорила ему, просила держаться, горячо объясняла милиционеру, что его долг — выжить. Потому что иначе его мама не переживет, потому что он должен родить хороших детей... Наконец из больничного корпуса вышли этот самый спаситель со своим другом и носилками, на которые они все вместе осторожно переложили парня из машины. Дальше Мэри и парень-спаситель сидели на корточках у стены в каком-то унылом коридоре, курили, ждали — где-то оперировали их милиционера. Кто-то сжалился над ними, вынес им два стула, и Мэри, свернувшись на них клубочком, уснула. Парень-спаситель, которого звали Лева, разбудил ее уже ночью. Она встрепенулась, села. Перед ней стоял доктор, он сказал, что — обошлось. У Миши Панкратова травма черепа, ушиб головного мозга, сломаны ключица и предплечье, многочисленные ушибы, но жить будет. Мэри заплакала. Доктор предложил сделать ей успокоительный укольчик, на что Мэри рассмеялась:

— Раз мильтончик живой, так и на фиг мне этот укольчик, дорогой доктор! Спасибо вам за Мишу Панкратова! И за предложение уколиться и забыть.

Доктор улыбнулся и предложил Мэри «рюмашку спиртяшки», от этого она не отказалась. После небольшого перекусона с водкой в ординаторской Лева повез ее домой. Потом они с Левой несколько раз навещали Мишу, так серьезно пострадавшего на второй день своей работы в милиции. И до сих пор они с Мишей иногда перезваниваются. А спаситель Миши Панкратова — Лева как раз и стал любимым мужем Мэри. Такие дела.

Утром Мэри проснулась в пустом купе, ее попутчица сошла с поезда ночью. Мэри привела себя в порядок, позавтракала, уложила вещи в свой хорошенький чемоданчик и стала смотреть в окно. Она

почему-то вспомнила, как в детстве, маленькой, лет трех-четырёх, она с мамой куда-то ходила, поднималась в горку по дорожке. Ей было трудно идти в шубе и валенках, тёплый шарф, повязанный под воротник поверх шубы, оставлял на ее лице не закрытыми только глаза. Шли они к каким-то ажурным воротам, перед которыми прямо на снегу, на стареньких ковриках лежали яркие деревянные игрушки: матрешки, ложки, чашки, погремушки, корзинки. Мэри просила мать купить ей что-нибудь из этой красоты, даже плакала. Но мама говорила, что это ненужные им вещи, и не покупала, не купила ни разу. Мэри очень обижалась. Потом вспомнила еще, как они с Гречко ходили на ипподром, а выигрыш (он всегда везучий был, Гречко-то) проедали-пропивали в ресторане «Бега». А вот цветы он никогда не дарил, странно. Еще они оба очень увлекались латынью, могли целый день обмениваться афоризмами на этом языке... Пришла проводница, принесла ей билет, рассчитала за чай, а уходя, не закрыла за собой дверь в купе. Мэри сняла с крючка над головой сумочку, положила в нее кошелек и билет. Из коридора в открытый проем ее купе заглянул Гречко, оперся рукой на косяк:

- Доброе утро, Мэри!
- Привет, Гречко! — повернулась она к нему.
- Как спалось? — Он опять рассматривал ее.
- Хорошо, хорошо, — успокоила его она.
- Так как, Мэри? Может, позволишь мне тебя отвезти? — Он барабанил пальцами по дереву косяка.
- Да не стоит. Меня встречают, и я сразу еду на переговоры.
- Круто. Деловая. А визитку мою возьмешь? Или — совсем невозможно?
- Возможно, но зачем?
- Так уж и незачем? Ну, встретились бы, поболтали.
- Так встретились, поболтали. — Она спокойно, открыто смотрела ему в глаза.
- Гречко кивнул:
- Ладно, воля твоя. Ну, тогда всего тебе хорошего, успехов и все такое, Мэри!
- Спасибо, господин полковник.
- Капитан первого ранга, на флоте полковник — капитан первого ранга. Это к сведению, чтоб могла где-нибудь блеснуть эрудицией.
- Это интересно. И где же этот «капитан» на тебе «написан»? — живо заинтересовалась Мэри.

Он качнул головой:

- Пытливая ты, как прежде. Вот, — и повел подбородком в сторону рукава мундира.
- Вон та широкая полоска и одна звездочка над ней? Благодарствую, господин капитан первого ранга. Это непременно мне когда-нибудь сгодится. Вот ви-

дишь, Илья, я вновь узнала о тебе нечто неожиданное для себя. Совсем как когда-то... Ну, *adios, querido!*<sup>1</sup> — Она козырнула ему, лихо коснувшись виска двумя идеально вытянутыми пальцами. — Хоккей?

Гречко на мгновение смешался от ее слов и жеста, которым они приветствовали друг друга в юности, но улыбнулся, ответил ей тем же и пошел к дочери. А у Мэри зазвонил телефон, ее уже ждали на перроне. Мэри вышла из вагона в первой пятерке, встретивший ее молодой человек подал ей руку и подхватил чемодан. Гречко с дочкой шел позади Мэри и, пока было можно, не терял ее из вида. Он думал, что из всех встреченных им в жизни женщин ни одна не годилась сейчас Мэри в подметки. Но она-то руки ему — сердечно, дружески — не подаст, не подала. Они с ней принципиально разошлись по разные стороны баррикад. Однако и в другом он не сомневался: случись с ним чего, ну, рану глубокую, например, получит у нее на глазах от ее же, скажем, соратников — она первая к нему подбежит, дорогой чулок с ноги снимет, жгут из него наложит, кофту батистовую, эксклюзивную, на бинты порвет, рану перевяжет, жемчуг с груди таксисту отдаст, чтоб в больницу лучшую отвез, часы в бриллиантах с руки — врачу. Жизнь спасет и уйдет. Ему в ее сердце угол не положен, она идейных предателей не прощает, она в них навсегда разочаровывается... Он не считал, что когда-то совершил относительно Мэри какое-то предательство, просто у него другие правила жизни. Вот только со временем ему стало думать, что история — вещь вредная, она сохранила его деяние, поставила на нем иудину печать и подпись его окрасила кровью. То есть в полном смысле — «алеа якта эст», что значит — решение принято бесповоротно, не допуская возврата к прошлому. И можешь, «господин» капитан первого ранга, сколько хочешь думать о себе что хочешь!

И Мэри в несущейся по Питеру машине тоже думала: хватит ей мотаться по миру да за деньгами. Пора рожать детей и любить Леву, как он того хочет. Он мечтает о пирогах с капустой и каких-то шанежках. Что такое шанежки, она понятия не имеет. Надо будет у мамы спросить, нет, лучше у бабушки своей подруги Кэрри. Матери-то неоткуда это знать. А Илью Гречко она давно простила, он ей чужой, никто. И тоже давно. Пусть себе живет, как может, судить всех нас — есть кому.

<sup>1</sup> *Adios, querido* — прощай, любимый (исп.).



## ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ ИЗ ВЕКА В ВЕК

Временем зарождения новейшей польской поэзии считаются первые послевоенные годы. А в середине 50-х годов начался настоящий поэтический бум, как и во всей Восточной Европе, и к поэтам, которые дебютировали ранее, как, например, Тадеуш Ружевиц и Вислава Шимборская, присоединились Збигнев Херберт, Станислав Гроховяк и другие. Ни один из поэтов не оказал такого влияния на польскую поэзию, как Ружевиц, коренным образом изменив ее характер, создав свою поэтику с характерной разговорной лексикой. Он полностью отказался от рифм и уравнял язык поэзии с обыденным разговорным языком. Некоторые критики утверждают, что после Ружевица любой может быть поэтом, достаточно текст сообщения разбить на строки. Однако это будет лишь текст. Потому что при видимой легкости не так просто написать хорошие стихи, которые выходят за рамки банальности. Гораздо сложнее оценивать, здесь нужен эксперт, который из такой манеры написания многочисленных последователей способен выделить черты действительно новой поэзии. Тем не менее сегодня эта модель практически полностью завоевала польскую поэзию. В одном ряду с ним — Шимборская и Херберт. Шимборская — лауреат Нобелевской премии. Это поэтесса, стихи которой будут читать всегда, потому что в них затрагиваются вечные вопросы человеческого бытия. А Ружевица воспринимают как реформатора польской поэзии. Существует мнение, что между вышеназванными поэтами функционирует вся остальная новейшая польская поэзия. Разумеется, это говорится с большой натяжкой.

Заслуживает внимания поэтика с так называемыми деревенскими народными корнями, имевшая своих лидеров. Выдающимся представителем такой поэзии является Тадеуш Новак.

Кроме того, в начале 50-х в Польше появилась небольшая группа поэтов, которых называли проклятыми избранниками, потому что все они умерли молодыми. Один из них — Эдвард Стахура. Этих творцов отличала позиция бунта против жизни, одержимость смертью, эстетические и моральные провокации. После самоубийства Стахуры в 1979 году он стал на два десятилетия бесспорным лидером в польской поэзии. Поэтическое кредо Стахуры — жизнь в пути и спонтанность — созвучно идеологии хиппи. Критики называют его поэтом с ощущением экзистенциального страха — от угрозы жить в современной цивилизации, обособленным бунтарем-одиночкой, постоянно убегающим от смерти. Так было до середины 90-х годов прошлого столетия. Позднее молодежь взяла курс на Запад, то есть на карьеру и деньги. И Стахура, раздававший людям деньги, полученные за изданные книги, стал для молодежи чем-то чужеродным и непонятным. Несмотря на это, он один из самых оригинальных творцов второй половины XX века.

Стоит обратить внимание на поколение, дебютировавшее в конце 60-х годов. Поколение, к которому относятся Анджей Заневский, Станислав Нычай и другие. Девизом этого поколения был прежде всего этический экзамен мира и поиск непреходящих ценностей. Не любой ценой

жить и выжить, не желание накапливать все новые и новые предметы, но сопротивление идеям, к которым нет доверия. Они верили в воздействие поэзии не через бунтарство, а через аргументы: идеи свободы, общественной справедливости и тайны человеческой души. Они были под впечатлением философской мысли о том, что человек — это слабая тростинка, но тростинка мыслящая. Следующее поколение, к которому принадлежат Эва Липская, Юлиан Корнхаузер, Станислав Бараньчак, называют неоклассиками.

Сегодня в польской литературе одних только поэтических дебютов насчитывается около пяти тысяч в год, поэтому при почти полном отсутствии критики сложно делать оценку. Новоявленные авторы не хотят помнить о традиции и сознательно не знакомятся с поэтами, которые старше их. Для них отсутствуют объективные критерии. Они оперируют совершенно другой лексикой — лексикой Интернета, СМС-сообщений и т. п. Для них характерна предельная сжатость текста, их стихи — это сочетание сообщения с лирическим переживанием. Есть, однако, принципиальная разница между польской поэзией до 1989 года и после. Первая была многопланова, многогранна, и в каждом слове, метафоре, тексте читалось как минимум два подтекста. Сегодня текст один и означает то, что означает. Тотальная свобода стала зачатком тотальной упрощенности. Несмотря на это, в последнее время наметился сдвиг, и вновь зарождается потребность в искусстве, которое убеждает, а не шокирует, и это вселяет надежду.

Этими словами мы хотели пред-  
варить публикацию, которая  
представляет выборку творчества  
польских поэтов, вошедших в анто-  
логию «Польская поэзия XX—XXI»  
из серии «Славянская поэзия.  
Из века в век». Польский том — это  
десятый том серии, где уже выш-

ли тома македонской, сербской,  
белорусской, украинской, болгар-  
ской, чешской, словацкой, хорват-  
ской и словенской поэзии.

Почти все переводы, вошед-  
шие в антологию, выполнены  
известными авторами специально  
для этой серии. Среди них такие

поэты и переводчики, как Анато-  
лий Гелескул, Вячеслав Куприянов,  
Виктор Широков, Анна Бессмерт-  
ная, Юрий Баранов, Елена Исаева,  
Сергей Мнацаканян, Евгений Лесин,  
Елена Иванова-Верховская и другие.

*Сергей Гловюк, Александр Навроцкий*

Тадеуш РУЖЕВИЧ (род. в 1921 году)

### ПРОСВЕТЛЕНИЯ

я блуждаю в себе  
уже взрослом  
в этом мрачном пространстве  
скрывается другой  
образ  
это детство  
чистое белое поле  
открытое всем ветрам  
издали тихо  
появляется  
свет

и два черных лика  
во сне

*Перевод Сергея Гловюка*

### РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ПОЭМЫ

сквозь ночи тьму  
несутся две поэмы  
в мир брошенные  
мною

их формы  
современны  
и точны  
и авангардны  
свет в обеих

столкновенье

взрыв образов  
и скрежет  
сжатие  
распад



и умиранье форм  
разрывы линий  
комканье  
выкручиванье слова

и новая поэма  
третья  
рождается в агонии  
плывет  
сквозь океан околплодных вод  
хаоса  
новое творенье  
с загадочной усмешкой  
затаясь  
уже готовится  
и быть  
и разрастаться

*Перевод Анны Бессмертной*

Вислава ШИМБОРСКАЯ (1923–2012)

#### **Ключ**

Был ключ, а теперь его нету.  
И как нам вернуться домой?  
Но кто-то найдет, вероятно,  
да только на что ему это?  
Посмотрит, немного повертит  
в руках, как простую железку.  
О, если с моею любовью  
к тебе вот такое случится,  
не только у нас, но у всех  
любви станет чуточку меньше.  
И руки чужие  
дверей никаких не откроют  
ключ будет не нужным предметом  
и пусть его ржавчина гложет  
Ни карты, ни звезды, ни птицы  
на сей гороскоп не влияют

#### **Влюбленные**

Кругом такая тишина,  
Что песенка, начатая до сна:  
«Ты пойдешь горами, я долиной...»  
И слышим и не верим, что звучит.  
В улыбке нашей нет и тени грусти,  
смирение без самобичеванья.



Но даже больше,  
 чем они достойны, жалею не влюбленных.  
 С собой мы удивляемся настолько,  
 что более ничто не удивит?!  
 Ни радуга во тьме. Ни летний снег.  
 Заснув в объятьях, видим расставанье.  
 Но этот сон хорош,  
 поскольку исчезает с пробуждением.

*Перевод Сергея Гловюка*

Тадеуш НОВАК (1930–1991)

### **Песня о писании стихов**

Пишутся стихи пишутся сами  
 майские воды трава луговая  
 Слово в траве обретет словесами  
 меркнет листок по воде уплывая  
 лист за листом подбираю слова я

С майских лугов собираю траву я  
 в ноги тебе охапку бросаю  
 ты прочитай про мечту луговую  
 с писем из мая печати ломая  
 что там за травы не понимая

Я прикачу к тебе все озера  
 круглые как караваи хлеба  
 чтобы омыть помутнения взора  
 чтобы избавить от мрачного вздора  
 очи зверей и очи неба

Листья я сброшу с березовой кроны  
 Вечность запишем на листике бренном  
 ты из березы возникнешь бессонно  
 все что шептало так утомленно  
 станет соломой словом и сеном

### **Ивовое солнце**

На ярмарке солнца  
 из ивовых прутьев  
 стрекочут за лесом  
 на сосновых колесах.

Правоверные свято  
 берут из кадки от века



из мака заката  
отжатое масло

Сковородки — озера,  
пахнет выпечка сладко.  
Пирог для нас выпекает  
Бог ржаного достатка.

И пирог уже съели,  
масло все исчерпали.  
Лесной колыбельной  
позванивают ели.

И когда мы от звона  
в сон уходим счастливый,  
кто-то солнце из ивы  
заплетает за лесом.

*Перевод Вячеслава Куприянова*

Богдан ДРОЗДОВСКИЙ (род. в 1931 году)

#### **Моя мадонна**

Я трогаю тебя невыразимо  
руками своего воображенья  
но ты всегда глядишь куда-то мимо  
и даже нет намека на движенье

а я тебя глазами обнимаю  
шаги твои беру в свои ладони  
и вижу только то, как образ тонет  
как ты скользишь — куда не понимаю

но ночью ты вернешься из разлуки  
приходит сон, чтоб ты могла вернуться  
и утро заставляет ужаснуться  
росою спермы на роскошной суке

я на тебя гляжу и я не знаю  
что вижу я: святую или шлюху  
ты недоступна зрению и слуху  
хоть мысли очень зримо ощущаю

ты плачешь и смеешься я влюбленно  
гляжу и слышу хохот или шепот  
невинности развратен верный опыт  
моя мадонна

*Перевод Евгения Лесина*

## Станислав ГРОХОВЯК (1934–1976)

\* \* \*

А осень в этот год пришла седая,  
 Деревьям очертанья нагадала  
 И облакам скомандовала «стройся»,  
 Они идут по небу серым войском.

Кипит работа, на полях так шумно,  
 И хлебом пахнут мельницы и гумна.  
 Как будто и не пронеслись над нами  
 Полотна боли с черными крылами.  
 Как будто бы не опускались руки,  
 И слово «мир» не стало просто звуком.

А там, откуда шлю тебе страницы,  
 Большую тишину прядут нам птицы.

Тростник растет из молчаливой ряски,  
 Кувшинка закрывает лоно сказки,  
 Тут поле — тополю, а тополь — перепутью,  
 Бор — лесу отдает молчанья суть, и

Как будто вправду чижики-синички  
 По небу пронесли Плат Вероники.  
 И словно бы за ближней рощей где-то  
 Обычный ручеек впадает в Лету.  
 Прости: иду сквозь села утомленный,  
 А мне дают холодные поклоны.

*Перевод Анны Бессмертной*

## Анджей БАРТЫНСКИЙ (род. в 1934 году)

**РАЗМЕРЫ ПОЭТОВ**

Между большим и маленьким поэтами  
 разницы нет  
 Нет если в сантиметрах  
 То большой поэт ростом в сто и двести  
 Или знаете в тысячу и более метров  
 Поэт большой как университет  
 Или самый большой отель Европы  
 Америки  
 Азии  
 Африки  
 Австралии  
 Такой большой как столица



как Каир  
 Афины  
 Рим  
 Москва  
 Нью-Йорк  
 Сидней  
 Пекин  
 Как самая большая колонна  
 Или большая транспортная колонна  
 Или колонна Солнца Луны и Звезд  
 Что ведет в космическую даль  
 А маленький поэт  
 Не более полуметра  
 как Ложка  
 Тарелка  
 Бутылка вина  
 Очки  
 Или удобные ботинки  
 Ночной фонарь  
 Или дверной замок  
 Маленький поэт уютен  
 Как букет фиалок весной  
 Воскресный поцелуй в беседке на даче  
 Маленький поэт это кусочек хлеба  
 В морщинистой ладони  
 И стакан остывшей тоски  
 Маленький и большой поэт отличаются и словами  
 У большого поэта большие слова для больших дел  
 У маленького поэта маленькие слова для маленьких дел  
 Большой поэт скажет:  
 народы Земли  
 пошли биться за мир  
 Маленький поэт скажет:  
 моего сына  
 убили на этой войне  
 Между большим и маленьким поэтом  
 нет разницы  
 Если они бессмертны

*Перевод Евгения Лесина*

Кшиштоф ГОНСИОРОВСКИЙ (род. в 1935 году)

### **Гомункул**

Шлеп, шлеп, шлеп... падают  
 слезы каштана.  
 Я немею от этого каменеющего  
 плача польской осени.

Словно навывкате очи, Эдип,  
снова год потерян.

Целые столетия  
в поистине кровосмесительной связи  
со стареющей Отчизной,  
которая все еще не может надолго  
восстать из мертвых; оргазмы —  
агония за агонией.

Шлеп, шлеп, шлеп... мертвые глаза  
греческой статуи — каштаны  
стучащиеся в ворота в песках  
Мазовии,

А ангелы сюда не прилетают  
или прилетают ненадолго.

Печальные мои жесты  
надежды? Когда-то  
каждую весну я принимался  
разводить гомункулов:

черная ночь Каштана, в вазе  
на столе за которым мы молчим  
среди птиц и увядания.

Снова осень. Слезы каштанов  
падают, тянутся вдоль изгороди  
глаза навывкате...

На что они не хотят смотреть?

Шлеп, шлеп, шлеп... как револьверный  
десерт после экзекуции  
или пира богов...

редкая барабанная дробь.

*Перевод Виктора Широкова*

Кшиштоф БОЧКОВСКИЙ (род. в 1936 году)

### **ВЕРЛЕН**

Никогда не знаю, правда ли это, или мой сон о Тебе —  
стоишь в дверях и скулишь: «Матильда, я больше не буду  
убегать от Тебя, Артур остался в Штутгарте, не хочу больше знать  
это дерьмо, в узких брюках, с прыщами на лице».





Я устала, Поль. Я стара,  
 а ты все еще что-то хочешь от мира и от людей —  
 как малый хлопчик, избалованный матерью.  
 Выбегаешь в аптеку за лекарством, а возвращаешься через три года,  
 моя мать говорит — ты хуже шлюхи, подруги  
 смеются надо мной. Ты можешь вернуться к этому прыщавому  
 подростку — не знаю, как вы занимаетесь любовью, — но я видела вшей  
 в черных волосах Рембо — этого с меня достаточно. Можешь  
 шляться по Лондону или уходить  
 в ночь, куда хочешь, и с кем хочешь пить абсент.  
 меня это не касается, но не стой в дверях  
 и не скули — а то разбудишь сына  
 и не плачь — а то подумаю  
 что твои щеки и синий нос  
 растекутся с пудрой и помадой — ты труп,  
 Верлен, нарумяненный труп, и старая баба —  
 которая жалуется и стонет.

### Ангелы

Если бы стихотворение было грудной клеткой дня  
 или спиной ночи  
 или только дыханием между их крыльями  
 как снег или сумерки —  
 то мог бы привлечь Тебя  
 окном открытым в мартовскую ночь,  
 гиацинтом горящим голубым огнем между свечами

Ты умер,  
 а я живу —  
 и ничто этого не изменит:  
 ни любовь, ни смерть

*Перевод Виктора Широкова*

Эдвард СТАХУРА (1937–1978)

### Иди дальше

Для меня уже все потеряно, кончено?  
 Прорицатель, ты читаешь, как в книгах, по облакам,  
 Посмотри и прочти, что обо мне наворочено.  
 Пробей отверстие, приоткрой завесу, что там?  
 Плотная завеса, клубится все гуще;  
 Мое пророческое око видит за ней немного:  
 Пересекаются дороги, спутано прошлое и будущее,  
 Что было, что есть и что будет в итоге.  
 Страшная завеса, клубится все гуще,

Вьюга безумствует, день с ночью смешала.  
 Мчится табун лошадей, и горит пуца,  
 Дым поднимается, его только больше стало.  
 Я уже ничего не вижу, объятья вьюги тесны.  
 Иди вперед неуклонно, а мне оставь сны.  
 Ничего не потеряно и не закончено. Только вперед иди,  
 Горизонт недосыгаем, а ты всегда позади.

#### **ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ**

Человек человеку волк от веку  
 Человек человеку виселица от веку  
 Только ты окажись сильнее  
 Не дай накинуть петлю на шею  
 Человек человеку шпага  
 Человек человеку предательство а не благо  
 Но ты не дай себя убить  
 Не дай предать и погубить  
 Человек человеку пантера  
 Человек человеку холера  
 Но ты не давайся в лапы пантере  
 Но ты не сдавайся легко холере  
 Человек человеку глыба  
 Человек человеку дыба  
 Но ты не дай себя оглушить  
 Но ты не дай себя сокрушить

Человек человеку волк ночью  
 Но только ты не завой по-волчьи  
 Человек человеку сосед  
 С соседом можно избежать бед

*Перевод Виктора Широкова*

Александр НАВРОЦКИЙ (род. в 1940 году)

#### **К АННЕ**

*А потом, вновь обратившись  
 к себе, пусть человек сравнит  
 свое существо со всем сущим...*

Блез Паскаль

Анна, наше совместное бытие —  
 Только след в абсолютной безмятежности мира.

Я это знаю, и движением рук очерчиваю тебя  
 А бегущую за нами тишину очерчивает звезда



своим стремительным падением.

Ты говорила:

мы найдем берег наперекор преходящим веснам,  
где цветы скрывают крик закипающих в устах вопросов  
и спугивают проблески страха, выглядывающие из-за деревьев,  
а птицы уносят часы на легких и сильных крыльях.

Ты говорила:

на тихом берегу  
мы забудем о глазах человека,  
оставившихся на танго исчезающих теней,  
запуская лодочки по реке  
мы избавим наше время  
от каприз Бога,  
влюбленного в страдание земли.

Анна светловолосая, мы — порождение нашей воли  
и, сотворив любовь, мы ищем ее подтверждения в недрах своей души,  
глубокой, как вздох моря.

### Ошейник

Мне подарили замечательный ошейник.  
И сказали. Он будет твоей радостью  
и десятью заповедями.  
Когда он протрется, почини,  
заботься о нем, как о себе,  
сравнивай с ошейниками других и гордись,  
жалко, что принесли его слишком поздно,  
уже после рождения.  
Создай общество любителей ошейников:  
чем больше людей ими придушишь,  
тем будешь ближе к абсолютной истине:  
нежно сжимающий шею ошейник  
дает ощущение безопасности  
и веры в себя ...  
Я смотрю на их доброжелательные руки.  
И пытаюсь объяснить — я не собака.  
Мой ошейник — это лабиринт трущоб  
и петли дорог, окутанных подвываньем коллег.  
Мой нос не ощущает человеческого смрада,  
поэтому и вою я искренне от всего сердца

*Перевод Сергея Гловюка*

Анджей ЗАНЕВСКИЙ (род. в 1939 году)

**МЕДЕЯ**

Уж скоро вечность, как не спит Медея,  
седых волос потоки делит гребнем,  
решеткой облака поймать надеясь  
и мысли тяжкие отправить в небо.

Уж скоро вечность, как не спит Медея,  
жива лишь память, в ней она скрывает  
лицо от мира и зеркал овальных.  
В дверь робкий стук, а гребень космы делит.

Уж скоро вечность, как не спит Медея,  
предвидеть все о нас она успела,  
меня, себя — как черное на белом —  
латунный сплав, истрепанные деньги.

Уж скоро вечность, как не спит Медея,  
сошла с ума от ожидания смерти.  
На белых стенах луч надежду чертит,  
но ничего нельзя уже поделать.

Не спит Медея, через зал проходит  
седое войско мертвецов уснувших.  
Ей наказание — мерный шаг их слушать  
и эхо, умножающее годы.

Не спит Медея, только вспоминает  
слова любви горячечной и клятвы.  
Их жизни я на счастье обменяла,  
я в жажде счастья только виновата.

Не спит Медея, временами плачет  
не от раскаянья, от гнева и бессилья.  
Деревья за окном от влаги сгнили —  
и в череде прозрений что-то значат.

Не спит Медея, продолжает верить  
в возможность возвращения и мести.  
Больной и старой, ей в больнице тесно.  
В борьбе с судьбой она должна стать первой.

Не спит Медея, вечная, живая,  
и гребень делит волосы упорно.  
В просторных коридорах мыслей черных  
Она меня все время убивает.



Укрывшись в безопасности аллеи,  
Решетки вижу в белом павильоне.  
Старухи сморщенные, жалкие ладони  
Грозят деревьям, облакам, земле, и

Уж скоро вечность,  
как не спит Медея,  
А мы уснули,  
повинуясь ей.

*Перевод Анны Бессмертной*

Анджей ВАСЬКЕВИЧ (род. в 1941 году)

### Город

из руин другие руины поднимаются торопясь,  
вместо прежних стен — другие стены,  
самые настоящие, может быть, на этот раз,  
если б только щербины пуль  
и сырости пятна,  
вместе с кровью и запахом тел  
повторить

город —  
призрак,  
пока еще непонятный  
уцелел, может быть

*Перевод Елены Ивановой-Верховской*

Станислав НЫЧАЙ (род. в 1943 году)

### Неплохой

Человек я неплохой, должно быть,  
коль стихии молкнут предо мною,  
жар восходит от земной утробы —  
тает лед на полюсах от зноя.

А заглянешь в трубку телескопа —  
словно в старый фильм на школьной практике —  
неизменно со времен потопа —  
видишь — разлетаются галактики.

С пониманием головой качаю  
и, прощаясь, руку поднимаю —  
только этот жест, я замечаю,  
за угрозу новую считают.

*Перевод Елены Исаевой*



## Станислав БАРАНЬЧАК (род. в 1946 году)

\* \* \*

Жаль, что Тебя здесь нет. Я поселился в пункте,  
 где даром получил из окон горный вид:  
 над точкою любой промерзшей тверди грунта  
 порочный свой ответ молчание хранит.  
 Что ж, климат сносный, да. Но всякое возможно,  
 а воздух лучше тут, чем там, где я бывал.  
 Здесь тени журавлей ложатся осторожно  
 на тени зданий, пальм, на пустоты провал.  
 Но хватит обо мне, что у тебя там слышно?  
 Мне интересно знать, как там моя любовь?  
 Так странно ощущать себя пропавшим лишним.  
 Скажи, что видишь ты?  
 Что, если быть Тобой?  
 Жаль, что Тебя здесь нет, и я один в минуте,  
 которая горда, тем что она родит  
 бесчисленность эпох, в которых жить кому-то  
 и на культурный пласт  
 наш век превосходить.  
 На нашем прахе, лжи, на пластике бессмертном  
 они свой сор и боль, должно быть, создадут.  
 Так новый день еще стоит на старой жертве,  
 но чувствует уже грядущую беду.  
 Но хватит обо мне, как у тебя проходит  
 то, что известно мне как «время» или «боль»,  
 и думаешь ли ты, скажи, об их природе,  
 и если да, то как в их мире быть Тобой?  
 Жаль, что тебя здесь нет. Я погружаюсь в тело,  
 хранящее в себе все коды страшных тайн,  
 и пусть в них жизнь и смерть еще не отболели,  
 но надо же и мне здесь что-нибудь читать.  
 И я читаю свой отчаянно-нелепый  
 кровавый детектив, течет роман-река.  
 Финал узнаю я тогда, когда ослепну,  
 когда холодных век коснется вновь рука...  
 Но хватит обо мне, скажи, как ты живешь и  
 хранишь ли боль мою на том краю земли  
 в доставшемся тебе в наследство нашем прошлом...  
 Скажи, как у тебя твой человек болит?

*Перевод Анны Бессмертной*



Юлиан КОРНХАУЗЕР (род. в 1946 году)

### ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ

что такое стихи колыбели простых истин  
замок из песка на незримом холме  
исписанный листок унесенный ветром  
что такое стихи груз памяти  
штабная карта учащенное дыхание  
вспышки бессмысленных но дорогих тебе мгновений  
на самом деле я не знаю  
впускают ли они в бессмертие  
и помогают ли выжить

### ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Я многое бы отдал, чтобы  
Стихотворение это стало  
коробкой спичек или лампой  
на письменном столе, квитком  
из прачечной. Мечта об этом  
и делает меня поэтом.

*Перевод Елены Исаевой*

Юзеф БАРАН (род. в 1947 году)

### ИГРА

все начиналось как игра  
на самом деле так и было  
обычный двор  
обычная игра  
король и королевство  
трон и шут  
веселый парень у подножья трона  
и полицейский с деревянным пистолетом  
бандит с густою бородой из льна  
строитель с кубиками из набора,  
солдатик, марширующий ать-два  
и наконец — министр в заправдашних очках

смеялись до упаду  
проиграв весь день  
потом сходились всей компашкой  
играли в дурака  
или  
в слова придумывая дружно

но как-то незаметно, потихоньку  
мы перестали понимать друг друга  
кивать и улыбаться  
на улице  
случайно встретив, узнавать.  
король поверил первый, что все правда  
и трон не покидал  
сидел надутый  
и даже орехи  
скипетром из золота колот

за ним и полицейский так подумал  
и улыбаться перестал мгновенно  
и выправку армейскую обрел  
и так гонялся за бандитом  
что тот бедный удрал навек  
поверив  
что и вправду он бандит.

судья уставился  
в законов мертвых букву

рабочий от рассвета  
до заката работал

ксендз лишь Господу служил  
не замечая мира остального

а вскоре реальность перестали видеть все

и только шут  
последний из последний  
все бегал  
в заколдованном кругу

крича — ну это же игра  
вот двор наш  
ну, ребята, перестаньте!  
но мы сказали  
чтобы замолчал  
мол дураку здесь вовсе  
нету места

и наконец он  
для полного спокойствия, конечно  
был заперт в сумасшедшем доме  
болтать не надо лишнего, дурак

*Перевод Елены Ивановой-Верховской*



Лешек ЖУЛИНСКИЙ (род. в 1949 году)

### Поэзия и критика

На бруклинском мосту  
 сидел незрячий нищий...  
 Однажды кто-то подошел  
 и картонку с надписью: слепой с рожденья  
 заменил на другую:  
 придет весна, а я ее не увижу.  
 По мнению французского критика  
 Роже Кайуа  
 именно на этом строится поэзия.  
 От себя же добавлю:  
 нужно соблюсти  
 главное условие —  
 т. н. безусловную веру в весну...  
 Занятие критикой — уже мелочовка:  
 Бруклин должен ассоциироваться с Авиньоном,  
 слепой — с Питером Брейгелем,  
 весна — с Дионисом,  
 а главным условием в этом случае  
 является опись места происшествия на мосту.

### Неколыбельная

За полночь по-над садами тиха,  
 Тьма — одеялом, под нею, тесны —  
 И у собаки, и у петуха —  
 Крепкие, длинные, сладкие сны...  
 Лишь только соловушке-парубку  
 Нету покоя. Творец-вокалист,  
 Он сцену уступит жаворонку.  
 Пернатый — каждый! — искусный артист.  
 Пусть шуруется солнце на облаке,  
 Утром оно бледновато с лица,  
 Падает в нервные обмороки,  
 Как будто без ласки любовница.  
 У птички утренней горло дрожит,  
 Непросто дается звонкая трель.  
 А солнце рвет пути, оно спешит  
 Пролить на проснувшихся акварель.  
 Но люди вповалку лежат-храпят,  
 Их головы пухнут, как в злой запой.  
 И каждый — раздавлен, зноем распят,  
 Вот-вот их смерть приласкает рукой.  
 А ну-ка, планета, крутись скорей!  
 Вставай, земшара прогнившая плоть!  
 С большим удивлением в новый день,

Как в спящие улы, глядит Господь.  
 Но мир неподвижен в блаженном сне.  
 Бока вздымаются, судорог нет.  
 И видится миру, что он, как все,  
 Вернуться не хочет на белый свет.

*Перевод Александра Герасимова*

Стефан ЖАГЕЛЬ (род. в 1949 году)

### **КАМЕНЬ**

Я волоку этот камень,  
 который скатился по сердцу,  
 но счесть мне не удастся  
 всех тех,  
 кто о камень споткнулись,  
 калеча ноги и шеи...  
 И я волоку этот камень,  
 не зная —  
 чем-то он станет:  
 памятником  
 или надгробьем, стеной  
 иль дырою в стене?  
 Чем дольше  
 тащу я камень,  
 тем больше  
 им становлюсь.

### **Если любишь**

Если любишь подавать  
 милостыню беднякам,  
 что смиренно стучатся  
 в двери твоего дома...  
 Если нищим на улице,  
 что с протянутой молят рукой,  
 ты кидаешь кусок  
 или пару монет,  
 это значит:  
 твое сердце полно доброты  
 и отзывчивости  
 и не чужды ему  
 милосердья порывы.  
 Если ты с удовольствием  
 милостыню  
 подаешь беднякам,  
 это значит, что хочешь,  
 чтоб в мире была нищета.

*Перевод Сергея Мнацаканяна*





Павел КУБЯК (род. в 1950 году)

### ТО ВРЕМЯ УШЛО

Это — не утраченное время  
Это — вишня, что не зацвела,  
это нива бедная — без хлеба,  
это осень, что прошла давно,  
это незамужние старухи  
и покинутые города...  
Нам остался пот бывшего времени,  
поддельная правда,  
источник понимания и согласия,  
скрытой горечи,  
горячей краски стыда,  
упрямство времени,  
слепота его, глухота его, немота.  
Даже наивность.  
Мы — неразумные дети  
этого времени:  
мы улыбаемся.

### НАЕДИНЕ С СОВЕСТЬЮ

Господь, освободи  
от ледяной пустыни в сердце  
от переоцененной преднамеренности  
дай мне любви, чтоб различать людей  
во всеобъемлющей  
неразберихе времени.

*Перевод Сергея Мнацаканяна*

Эугениуш КУЖАВА (род. в 1954 году)

\* \* \*

Это Америка  
Это те самые Ю Эс Эй  
вечером в 19:00  
они возникают в телике  
там репортер из наших  
но похлеще самих американцев  
он весь напоказ  
он прост как шериф из вестерна  
который палит из кольта  
И поминает Господа  
и сам как Господь  
сотворяет мир и нас загоняет  
в положенный нам угол  
Его мира

\* \* \*

вот какое задание  
 важность утратить  
 и стать неприметным  
 тебе предложена роль  
 иголки в стоге  
 всемирной деревни  
 вот такое задание  
 тебе поручает Начальник  
 нелегкое это задание  
 ответственное задание  
 но ты человек с головой  
 и справишься наверняка  
 вот что ты можешь дать  
 всемирной нашей деревне  
 надо выйти во двор  
 и убедить соседей  
 перестать сомневаться  
 и осознать  
 что все у нас первосортно  
 планета же наша  
 планета номер один  
 она на тебя надеется  
 смотри же  
 не подкачай

*Перевод Юрия Баранова*

Ян ТУЛИК (род. в 1951 году)

### **Стабильность**

Ведь что-то осталось из детства:  
 жадность, с которой следил я за жизнью лугов,  
 рощ и озер, делящих бытие  
 надвое — на нутро  
 безвоздушное и  
 надзеркалье.

Ведь что-то осталось из юности —  
 робость, с которой я провожал  
 качание женских бедер,  
 взгляды украдкой на губы,  
 томление, волны страстей,  
 безрассудная смелость желаний.

А что же будет потом,  
 когда окажусь не у дел



в неуклюжем моем ожидании —  
 питаться былым,  
 тщетою его плодов,  
 при беззубости мыслей и тела?

Так может быть, рядом с презрением к себе —  
 за алчность и трусость, готовность подпеть недоумкам в нимбах,  
 нахлобученных собственноручно,  
 с полным правом берущих чужое —  
 может быть, рядом с поздним прозрением  
 найдется и пядь для достоинства?  
 И вот что скажу я: друзья,  
 будьте как дома, никто вас не гонит.  
 Нравится вам — гостите.  
 А я бы свой кофе  
 выпил в своем углу.  
 Не взыщите — мне надо видеть  
 уцелевший клен под окном,  
 ведь когда валят древо, его  
 сперва  
 покидает птица.

*Перевод Жанны Перковской*



*Сергей Гловюк — славянских земель  
 и славянской поэзии собиратель*



Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 за 2012 г.

Рисунок Юлии Спасовской

## ГАЙДЕБУРОВСКИЙ СТАРИК

РОМАН

Э то был мой паспорт. Не старика антиквара. А именно мой, Григория Карманова. Я его узнал издалека. Ноги мои стали ватными, руки почему-то резко похолодели, словно я долго их держал в ледяной, очень ледяной воде. По всему телу пробежала нервная дрожь. Моя реакция была — оцепенение. И это, пожалуй, меня спасло. Как спасает всех моржей холодным и очень холодным холодом. Внешне я выглядел невозмутимо. Я давно заметил, что нервный шок разные люди переживают по-разному. Кто вздрагивает, кто впадает в истерику, кто бледнеет, кто краснеет. Я, к счастью, в основном цепенею. Внутри у меня все бурлит. А снаружи я камень. Даже голос не меняется. Ну, как у ледяной фигуры.

— Вы узнаете этот документ?

Еще бы! От ледяного голоса Романа мои руки еще больше похолодели. Хотя куда уже больше.

— Нет, впервые вижу.

Роман вновь кивнул Тасе. Она радостно подбежала ко мне и всунула в руки паспорт, намеренно открытый на странице с фотографией.

Я мельком на него взглянул.

— Вот теперь узнаю. — Мой голос совсем не дрожал. Мне кажется, он стал от пережитого даже тверже. — Насколько понимаю, это паспорт пропавшего парня. Я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь. И не ошибетесь еще больше, если скажете всю правду.

— Правда — одна. Я никогда этот паспорт не то что в руках не держал до этого времени, — я вернул паспорт Роману, — но и в глаза не видел. И объяснить его появление в моей комнате, в моем столе, увы, никак не могу. Хотя... Есть один ответ. Такой же незамысловатый, как и вопрос. Его сюда подбросили!

Последнюю фразу я произнес смело, с каким-то возвышенным торжеством. Потому что она единственная была честной. Подбросили. Ну конечно подбросили! Я не брал паспорт с собой, когда выходил на улицу в тот грозовой день. Как и не мог знать, что судьба или рок приведут меня в лавку антиквара, где я совершу убийство.

— Подбросили? — Роман взметнул густые брови. — Это серьезное обвинение следствию.

— Не следствию, а всего лишь одному человеку, который этому следствию желает во что бы то ни стало воспрепятствовать. И который более всего заинтересован в судьбе пропавшего Карманова. Как равно и в том, чтобы насолить лично мне. — Я повернулся лицом к Тасе и, вытянув руку, указал на нее. То был указующий перст. Рука правосудия.

Тася подпрыгнула на месте. И неожиданно расхохоталась. Я был чертовски наивен, на секунду надеявшись, что она испугается или тем более обвинится в своей бесстыдной лжи.

— Нет, ну совсем уморил меня старичок! Я подбросила улику! Нет, вы такое слышали! Словно я фокусник какой-то! Да я у вас на глазах открывала ящик этого дурацкого стола! Вы сами все видели! И вообще! С какой стати я должна тут оправдываться? Тут и без меня есть кому оправдываться! Это серьезнейшая улика! По одной такой улике можно уже арестовывать запросто!

И Тася вновь подперла руки в боки. Она прекрасно знала, насколько я ненавижу эту ее позу. Впрочем, эту позу ненавидел Карманов. Но она, видимо, решила отыграться на антикваре.

— В общем, гражданка Таисия права. — Роман искусственно кашлянул. Явно ему не было необходимости кашлять. Но мне казалось, он тоже ненавидел,



когда Тася подпирала руки в боки. — Улика более чем серьезная. Более того, ее наличие напрямую указывает на то, что Карманова могли убить. Поскольку, если бы он просто захотел уехать, неизбежно бы захватил с собой документ. Вы не находите, Аристарх Модестович?

Я невозмутимо пожал плечами. Я полностью взял себя в руки. И мои руки потеплели. Мои руки оттаяли.

— Но с другой стороны, Роман Романыч, если предположить, как некоторые этого страстно желают, — я многозначительно взглянул на Тасю, — предположить, что убил я, к чему бы я оставил такую важную улику у себя? Я просто бы от нее незамедлительно избавился! Это то же самое, что повесить на себе табличку: я убийца.

— Все очень просто! — вновь встряла Тася. И ее базарный голос как-то ясно, как-то понятно наполнил всю опустевшую комнату. — Более чем просто! Вы слишком забывчивы, уважаемый! Возраст, склероз. Вы даже не вспомнили, что к вам забегал Карманов! Хотя ваша подружка цветочница на это явно указала! Вот вы и забыли уничтожить паспорт. Знаете, убийство вы, поди, не каждый день совершаете. То же, поди, определенный стресс пережили, так ведь? Убить человека — это вам не вещами торговать. Вот вы и перенервничали, паспорт засунули в ящик стола и про него забыли.

Роман развел руками.

— В ее словах есть логика.

— А в моих? — Я нахмурился. Я не знал, что мне делать. Я на глазах превращался в обанкротившегося старика-убийцу. Которому, к сожалению, в тюрьме придется просидеть не пару лет, то есть до смерти. А очень, очень много лет. Поскольку я в силу молодости умирать пока не собирался.

— Можно рассмотреть и вашу точку зрения. Но она очень субъективная и не подкреплена весомыми доказательствами. — Роман прошелся взад-вперед по комнате, скрестив ладони на спине. — У нас на глазах девушка открыла ящик. И мы свидетели того, что она туда ничего не подбрасывала. Это раз. Два — это то, что она как девушка, сильно влюбленная в Карманова, думаю, желала бы отыскать настоящего убийцу. Чтобы свершилось возмездие. К чему ей вы? Даже если у вас и личные счеты.

— Вот именно, к чему! — загремел голос Таси. — Вы уже того... И так на подходе. Так сказать, на заказе. Вам и мстить необязательно. И за меня отомстят. Ваши годы!

Я слегка поклонился Тасе. Господи, неужели я с ней умудрился прожить столько лет! Я определенно сумасшедший! И счетовод был сумасшедший. И Сенечка сумасшедший. И я от души пожалел этого пар-

ня, хотя он меня чуть не предал. Неплохо бы Сенечку все же надоумить, подумал я. Хотя подобная благотворительность в моем положении была не к месту.

— Вы весьма тактичны и весьма любезны.

На мою иронию Тася ответила лишь громкой ухмылкой.

— И все же, — я еще не сдавался. — Ваше «во-первых». Тасе не обязательно было сегодня подбрасывать улики. У нее для этого было предостаточно времени. Если вы не забыли, она у меня проработала некоторое время. А в верхний ящик стола я давненько не заглядывал, поскольку нужные документы лежат в нижнем. И ваше «во-вторых». Которое следует из «во-первых». Тасе очень нравилась эта работа. Ей, бывшей продавщице, она казалась верхом положения. Почти путем в высшее общество. Эта работа не только дала ей материальное обеспечение, которого у нее никогда не было. Не только дорогие вина, одежду, наверняка холодильник, да?

Тася от неожиданности, что я попал в точку, то есть в холодильник, только кивнула, слегка приоткрыв рот от удивления.

— Эта работа дала гораздо, гораздо большее! То, о чем все мечтают, но достигают лишь единицы!

— Ну же, не томите! Чего это! — Тася от нетерпения топнула ногой.

— Эта работа подарила ей чувство собственного достоинства, о котором она и мечтать не могла в былые годы. И что ни за какие деньги не купишь. И ни по какому благу. Она приобщилась и к истории, и к ее ценностям, и в некотором роде к интеллектуализму (здесь я явно переборщил, но меня понесло), и к самой вечности. И когда она вновь оказалась на улице... Ни дорогих вещей, ни истории, ни достоинства... Как, вы думаете, после всего она ко мне могла относиться? Люди убивают и за гораздо меньшее. За обычную работу. Вернее, ее потерю. А Тася в один миг потеряла все.

Тасины глаза горели, щеки покрылись румянцем. Она меня заслушалась. И торопливо закивала головой.

— Точно, точно, вы так сейчас все точно рассказали. Боже, сколько я потеряла из-за этого старикана! Вас и впрямь убить хочется!

Я повернулся к следователю. И отдал ему почтительный поклон.

— Что и следовало доказать.

Тася от возмущения забегала взад-вперед по комнате. Ее покрасневшие щеки то надувались, как шарики, то тут же сдувались. Наконец она резко затормозила.

— Да мало ли кого и когда убить хочется! — закричала она. — Но никто же не убивает! Вот вам,



разлюбезный Аристарх Модестович, разве никого не хотелось убить хоть раз в жизни?! Учтывая, что у вас жизнь-то была ох какая длинная! — Тася впи-лась своим диким взглядом в мои глаза.

Я предпочел не отвечать на ее истерику. Учтывая, что я убил по-настоящему.

— А вам, уважаемый Роман Романович, неужели никого не хотелось пристукнуть хоть разок в жизни? Учтывая, что у вас такая профессия... В основном-то дело имеете с людишками не из благородного пансиона.

Следователь последовал моему примеру и не ответил Тасе. Он вновь неестественно откашлялся, сверкнул льдинками и сказал:

— И все же вы сделали опрометчивое заявление, гражданочка. Я не обвиняю вас, что вы подбросили этот паспорт. Но и доказать обратного не могу. Хотя, безусловно, наличие одного документа в лавке антиквара — это довольно убедительный факт. Но с санкцией на арест я повременю. Однако подписочку о невыезде, любезный Аристарх Модестович, вы мне таки предоставите.

Я не мешкая подписал документ. Во всяком случае, у меня было еще время подумать. Пока конкретных улик против меня не было. И я даже осмелел и сделал заявление.

— Вот что я вам скажу, гражданин следователь. Для убийства нужны серьезные основания. Даже если предположить, что Карманов забегал ко мне в лавку (хотя я этого и не помню), с какой стати мне его убивать? Для подобных действий я должен был быть по меньшей мере сумасшедшим, разве не так? С парнем я знаком не был и не мог быть. Извините, в моих знакомых значится совсем иной контингент. Насколько я понимаю, парень был беден, так что украсть у него я ничего не мог. Тогда что?

— А может, от зависти! — вставила свои пять копеек Тася. — Он был молодой и очень симпатичный. В отличие от вас. Старого и некрасивого. Вот вы и решили стукнуть его, чтобы жизнь малиной не казалась. Вы-то уже на тот свет, поди, вещички собираете. И с какой стати он должен жить? Может, вы хотели доказать, что возраст не имеет значения. И в любом возрасте можно того...

— Странная логика. — Я усмехнулся. — В таком случае я должен быть каким-то тайным маньяком, убивающим молодых. Интересно, почему это я вас не убил?

— Ну, может, у вас на меня были виды, — нагло продолжала врать Тася.

Роман решил пресечь этот глупый спор. И, кивнув Тасе, направился к выходу. У дверей он резко обернулся, словно вспомнил что-то важное.

— Ах да, Аристарх Модестович, и дайте-ка мне ваш журнал учета купли-продажи. Мне нужно его приложить к следственным документам.

Я на секунду замешкался. Мне это более чем не понравилось. С какой стати им нужен этот журнал? Неужели они решили устроить охоту на Дину?

Я вытащил журнал из ящика, для виду перелистал его. Буквы прыгали, и ничего важного уловить я не мог.

— И кстати, — продолжал Роман, взяв журнал из моих рук, — вы просто обязаны написать заявление о случившейся краже. И перечислить все пропавшие вещи.

— Кражи не было, — категорично ответил я.

— Граждане Косулевы (они вдруг оказались почетными Косулевыми) показывают обратное. Подъехала грузовая машина. И были вынесены все вещи.

— Косульки не из тех людей, кто за этим будет наблюдать из окошка. Наверняка мигом выбежали бы во двор. Я не ошибся? И что им ответила Дина?

Роман сощурил глаза. В глазах по-прежнему плавали голубые льдины. И искрилось снежное царство.

— Ну, хорошо. Ответила, что с вашего согласия. Что вы переезжаете.

Я пожал плечами.

— Вот видите. Я действительно переезжаю.

— В таком случае сообщите мне новый адрес.

— До окончания следствия я поживу по старому адресу.

Роман с откровенной ненавистью смотрел на меня. Мне казалось, если бы весь холод его глаз отпустить, то мой дом превратился бы в ледяную избушку. В царство Снежной королевы или Снежного короля. Или образовалась бы огромная ледяная глыба, которой бы он меня и убил. Наверняка он не раз мечтал кого-нибудь пристукнуть. Тася на сей раз не ошиблась. Впрочем, его за это нельзя было осуждать. Иметь всю жизнь дело с асоциальными типами, а то еще хуже... И я словно в знак извинения почему-то тепло улыбнулся Роману. Но мое тепло не растопило холод его глаз. Мое тепло было искусственным и неярким, словно исходило от масляного обогревателя.

Когда непрошеные гости ушли, я долго вглядывался в окно, расшитое морозными узорами. Там было красиво, за окном. Я давно не помнил подобной зимы. Чтобы все время шел снег. Шел плавно, неторопливо, с каким-то зимним достоинством. И улица становилось замерзшей и бледно-голубой. И небо было бледно-голубое и замерзшее. И даже солнце не могло согреть, хотя изредка пыталось бросить в город свои слабые лучи. И само не могло согреться. И город замерзший сверкал. И сверкал весь замерзший мир. И мне казалось, что у прохожих за-



мерзли все чувства, все мысли и их правильные и неправильные стремления. И такими мне прохожие больше нравились.

И самым оживленным в этом замерзшем городе выглядел Сенечка. Он прыгал на месте и так же виртуозно играл своей полосатой палочкой. И его слушались машины, как никогда. Наверное, потому, что им было тоже холодно. А в холод всегда хочется быть послушным.

На улицу мне не хотелось. Я, как когда-то старик, был уверен, что из окна мир выглядит гораздо добрее, честнее и умнее. И его даже можно пожалеть. Жизнь вне стен меня уже не прельщала. Как не прельщала никогда старика антиквара.

Я приложил лоб к узорчатому окну и помахал Сенечке, когда он грациозно повернулся в мою сторону, взмахнув палочкой. Я не думал, что он заметит мой зов, но он почему-то заметил. И посмотрел на часы. Я машинально взглянул на часы вслед за ним. Совсем скоро закончится его смена. И мне очень, очень хотелось, чтобы он заглянул ко мне. Как ни странно, он оказался единственным положительным персонажем из всех, с которыми в последнее время столкнула меня судьба. И даже его мимолетное предательство я мгновенно простил. Я умел прощать предательство, если оно было вызвано любовью. И за любовь судить я не имел права. У любви нет судей. У нее есть только адвокаты. Которые просто обязаны выиграть процесс. И если процесс не выигран, значит, в любви можно усомниться.

Я тщательно вытер стол. Еда еще оставалась. Косульки все же щедрые люди. Из холодильника я достал бутылку холодного шампанского. Посмотрел с грустью на своего друга — елку. Мне очень не нравилось, что она была ненарядной. Какой-то обнаженной. И обиженной, что так бессмысленно провела праздник. Уж лучше в лесу. Там ее нагота естественна. А не в этих голых стенах.

И я, словно извиняясь перед ней, взял мешок с конфетами (тоже от Косулек), стал к ним привязывать нитки и вешать самодельные игрушки на елку. Елка повеселела. А я подумал с какой-то непонятной тоской, что мы с Диной так и не добрались до конфет. На чем же мы остановились? Я плохо помню. Сон мгновенно меня свалил. А Дине, видимо, уже было не до конфет.

Дина. Я должен был злиться на нее, должен был ее ненавидеть. Но ничего подобного я не испытывал. Кроме нежности. У моей любви был хороший адвокат. Сама любовь. Мне плевать было на вещи, которые были не моими и которые давали мне шанс на безбедную жизнь. Жизнь. Разве это была бы жизнь? Жизнь старика-отшельника, погрязшего в старинных вещах, утонувшего в истории, до которой уже

мало кому есть дело. А свою историю я бы так и не написал. Может быть, Дина была права? Может быть, она угадала? Молодость и бедность. Чем старость и богатство. Но Дина не могла знать, что я могу запросто стать молодым. И уже хочу этого. Но все обстоятельства против меня.

Сенечка был послушным парнем. И как бы ко мне ни относился после неприятного казуса с Тасей, все же после работы сразу заглянул в лавку. Бывшую антикварную лавку.

Я сидел на стуле посреди пустой комнаты. И сам себе напоминал старуху у разбитого корыта. Разве что бутылка шампанского скрашивала мой полнейший крах. Банкроты не пьют шампанское. А еще то, что я был стариком, а не старухой, прибавляло мне чувство достоинства. Вот, пожалуй, и все.

Сенечка сделал несколько робких шагов в мою сторону.

— Сочувствую вам, Аристарх Модестович. — Он даже снял фуражку, словно уже собирался меня хоронить.

— Спасибо за сочувствие, Сенечка. Но умирать я еще не собираюсь.

Я налил ему бокал вина, и мы чокнулись.

— Да вот, — вздохнул Сенечка, рукавом вытирая мокрые губы. — И такое бывает. Копишь всю жизнь, и все напрасно.

— Ну, Сенечка, у всех, по большому счету, все напрасно. И у тех, кто коллекционирует марки, и у тех, кто деньги, кто дома. И кто детей и внуков коллекционирует, тоже все напрасно. Даже если все достается им. И друзей, это уже вообще напраслина. И кто знания коллекционирует — тоже напрасно, и кто собственные книжки, картины, или музыку, или изобретения, даже если они остаются истории. Мы нищими приходим в этот мир, голыми. Собственного-то у нас ничего. Нищими и уходим. Иногда, Сенечка, мне вообще кажется, если считать по абсолюту, не напрасна жизнь, возможно, лишь у бомжей. Чудовищно звучит?

Сенечка опустил глаза. И еще пригубил шампанского. Ему не понравилось мое заявление.

— А ты зря так, с осуждением к моей философии. Я же говорю — в абсолют. А абсолютных категорий не существует. Если только предположить. Тот, у кого нет дома, нет родных, нет работы, в общем, вообще, вообще ничего нет, им, может, только им и помирать не страшно. Ведь страшно терять. А если терять нечего...

— Не знаю, Аристарх Модестович. Ох, не знаю. Но ведь еще страшно терять... Ну, к примеру, раннее утро, или солнечный день, или предновогодний вечер. Или воспоминания, или какие мгновения жизни приятные. Они есть у всех, они не накопи-

ваются, они даются бесплатно. С ними и рождается человек. И с ними умирает. Поэтому тоже страшно.

— Может, ты и прав, Сеня, а может, и нет. Чем больше мы имеем, тем больше зависимы от жизни. От родственников, от своего насиженного места, от карьеры, от родного крова, от накопленных богатств. Зависимость не самая приятная штука на свете. Она сковывает, иногда парализует. А вот независимость — это то, что ты говоришь. Лишь раннее утро, солнечный день, предновогодний вечер... С ними как-то и покидать этот мир не страшно. И не обидно. В одиночку. Только дождь о тебе и заплачет. И после тебя — ничего. И жалеть тебя некому, и псевдожалеть, и радоваться твоему уходу. А под торжественный похоронный марш, многолюдное шествие и рыдания родных и знакомых как-то обидно быть мертвым. Вроде ты еще кому-то нужен в жизни. Когда за тобой целый шлейф остается... То такое ощущение, что этот шлейф и останется. Ну, словно вместо тебя. Не важно, из материальных благ или духовных. А когда ничего — ну, словно имеешь право на повторную жизнь. Потому как ушел из нее ни с чем. И словно еще вернешься. Потому что тебя ничего не тяготит. Тебя словно и не было. И значит, ты еще будешь.

— Это вы так говорите, любезный, когда все потеряли. Философия-то тоже зависима. От обстоятельств. А раньше, когда у вас было все, ваши вещи, вы и думали по-другому. Даже родных не было, а так копили все. И ничего себе не объясняли. Хотя это и выглядело странно. Для кого? Для чего? Ан нет, просто жили среди вещей, и вам нравилось. И к чему объяснения. Если нравилось.

Я встал, прошелся по комнате, закурил. Взглянул за окно. Снег усилился и еще больше сверкал на солнце. Вот, пожалуй, все, что у меня осталось. Замерзшее окно и сверкающий снег. И еще солнце. Разве этого мало? Если бы еще вновь стать собой. Боже, как это было бы много!

— А с Тасей мы расстались. — Сенечка громко вздохнул. И его вздох повис в пустой комнате. Украшенной лишь цветами. Для свадьбы или похорон?

— С Тасей трудно вообще-то расстаться. Но с ней все расстаются. — Я попытался успокоить Сенечку.

— Не везет мне с девушками. И вообще у меня какая-то несчастливая юность.

— А у кого она счастливая? Поверь мне на слово, Сенечка. Ни у кого! Слишком в ней много берешь на себя. И слишком в ней много чувств сваливается на тебя, и грехов тоже, и сожалений. Чаще всего бессмысленных, которые и следа не оставляют. И слишком много непокоя. Знаешь, я гораздо чаще встречал людей, которые больше недобрым словом отзывались о юности, чем добрым. Вот так. Юность — это

всего лишь красота, даже если ты не очень красив. Здоровье, даже если ты не очень здоров. Силы. Даже если ты не очень силен. И все, пожалуй.

— И успокоили и не успокоили, дорогой. — Сенечка вздохнул еще громче. И кивнул на елку, увешанную конфетами: — И игрушки она, значит, того?

— Бог с ними, игрушками, Сенечка. Ты лучше скажи, что ты знаешь о Дине?

— Что знаю? — Сенечка почесал затылок. — Если разобраться — и ничего. Появилась она здесь внезапно, и я почему-то первым делом подумал — цыганка. Такая чернявенькая и бусы на шее. Даже решил за ней присматривать. А потом вижу — ан нет. Гражданочка как гражданочка. Цветами торгует. Ну и ладно себе. Бдительность я и потерял. А оказалась-таки цыганка. Наверняка со своими братьями-цыганами все и умыкнула у вас. Они это запросто умеют.

— Какое легкое всему объяснение — цыгане, — невесело усмехнулся я. — Вроде дашь такое объяснение — и уже легче. Какой с цыган спрос? А если не цыганка? Тогда грустно и обидно, так, получается?

— Вроде так. Но все равно она цыганка. Когда ж она у нас на улице появилась? — Сенечка сморщил свой курносый нос. — Да летом, поди! Помните, Аристарх Модестович? Ну, тогда еще она в цветастой юбке до пят была. Жарко было. Цыгане как-то только в жару видны. Зимой их не видно. Зимой их цыганская внешность как бы пропадает. Ну, словно окрас они зимой меняют. Помню, вам еще тогда глобус завезли, большой такой, ну, навряд ли мяча волейбольного. Там весь мир наш был нарисован. Он еще на витрине стоял, помните? Помню, она осталась напротив вашей лавки, юбку приподняла, чтобы по асфальту не тягалась, уж длинная больно была. И разинула рот, глядя на глобус. Мне кажется, уж больно он ей приглянулся. Одно слово — цыгане! Им же по миру в самую сласть шастать. А тут такая вещица! Весь мир перед тобой! Ткни пальцем в любую точку мира — и давай, иди туда смело! Да видно, ей не повезло. Глобус-то вы раньше сбывли.

Я замер на месте. Не знаю, сколько я так стоял, в оцепенении. Пепел от сигареты падал прямо на пол. И только когда она обожгла палец, я вздрогнул. Да, так про что это, Сенечка? Что меня так испугало и обожгло? Цыгане, шастающие по миру всласть. Нет, не то. Цыганка, укравшая ценные вещи. Опять не то! Весь мир перед тобой! Мир, это уже ближе. Мир. Разные континенты, страны, города, горы, реки. Целый мир, на который так мечтают смотреть цыгане, чтобы ткнуть в него пальцем. И поехать куда глаза глядят. Мир. Нарисованный. На карте. Нет, на глобусе. В виде волейбольного мяча! Вот оно! Волейбольного мяча Моргана. Мяча, ко-



торым я совершил убийство. Который тщательно вымыл, даже продезинфицировал. И который все равно может оказаться важнейшей уликой. Потому что сегодня наука зашла слишком далеко. Сегодня науку не продезинфицируешь. Она выше стерилизации. Черт побери! Этот бестолковый разукрашенный мир в виде мяча сейчас преспокойно покоится у этой расфуфыренной дамочки, которой я его продал. Или нет, он не лежит, им, возможно, играет в футбол ее муж. Вместо того чтобы напиться до чертиков из венецианского стекла. Хотя как им можно играть, он же всего лишь фикция, копия, подделка мяча. Подделка мира. Дамочка что-то перепутала. Он слишком тяжел для игры. Если им можно убить. Запросто убить.

Я взъерошил свои густые седые волосы. Господи, почему я так подумал: свои. Это не мои волосы. Это всего лишь парик. Свой цвет волос я уже стал забывать. Их густоту, их длину. Все подделка. И эта антикварная лавка, в которой за один миг ничего не осталось, — тоже подделка. И кафе у Косулек, где вместо оленины подают свинью. И Дина, которая была не цветочницей, а воровкой. Может быть, Сенечка не подделка, этот лопухий, веснушчатый регулировщик? Впрочем, он уж слишком хорош для этого нехорошего нарисованного мира на глобусе. Мир таких не принимает. И в свои ряды не берет.

— Аристарх Модестович! — Голос Сени я услышал словно издали, хотя сам он вплотную приблизился ко мне и даже положил руку на плечо. — Что с вами, Аристарх Модестович?

Действительно, что? Почему я так переполошился, вспомнив глобус? Нет, я вспомнил орудие убийства. На котором были отпечатки пальцев. А еще. Ну конечно! Журнал, который я самолично отдал Роману. Журнал, в котором черным по белому указан адрес дамочки, которой я продал орудие убийства. Зачем я его продал? Лучше бы я продал весь мир. Только кому он нужен, этот мир. И кто бы у меня его купил. Если он ничего сегодня не стоит. Возможно, завтра он станет раритетом, превратится в антиквариат, в застывшую форму в виде глобуса. С мертвыми городами, странами, континентами. Морями, реками и горами. Возможно, в таком виде им заинтересуются другие планеты. Застывшим, мертвым миром. Без людей. С людьми он ничего не стоит. Человечество снизило его цену до нуля. И превратило в дешевку.

— Что, что вы сказали, дорогой? — Сенечка встряхнул меня за плечо. И я наконец очнулся. Не хватало, чтобы я еще разговаривал вслух.

— Ничего, Сеня, тебе просто послышалась. Я просто... Ну, вспомнил этот глобус. Жаль мне его. Дей-

ствительно была хорошая вещь. Как-то на сердце она мне легла. И от самого сердца-то и оторвали.

— Ну да, — согласился Сенечка. — К своему сердцу и приложили. Мне эта дамочка сразу не понравилась. Из этих, новеньких, у которых только что деньги появились. И они словно торопятся взять реванш за свою прошлую неудачную жизнь. А что реванш! Реваншисты изначально пораженцы, я правильно говорю? Помню, как она важно шла с этим глобусом, словно с короной, прижав к груди. Но вы не волнуйтесь, Аристарх Модестович, я ей сполна отомстил. Я уже научился тоже брать реванш. Справедливый реванш. И научился им мстить. Справедливо.

Я вопросительно поднял брови. О чем говорит этот славный справедливый парень?

— Припарковалась-то она с ошибочкой. Парковка-то в том месте не разрешена! Нарушение! Я еще помню, подумал, у такого уважаемого человека, как вы, покупает такие уважаемые вещи. Которые, можно сказать, из самой истории. А в то же время так невежественно парковаться. Как недоучка! Вот я ей счет по полной и выписал. Ох и визжала она. Но нет, не помогло. Я людей сразу распознаю. Вернее, не людей, а автомобилистов. И уже поверьте мне, я ошибок не допускаю. Мой глаз наметан. Сразу вижу, кого по полной можно наказывать, без зазрения совести, можно сказать, на благо обществу. А кого можно простить. И отпустить с чистой совестью. Вот так, дорогой.

Легкая дрожь, словно морская волна, пробежала по моему телу. Мой голос от волнения охрип. И я выдавил охрипшим голосом:

— И что, Сеня, и бумагу ты составил, как полагаются? И адрес она правильный указала? Не слукавила? Знаешь, от таких можно всего ожидать.

— Нет, любезный. Меня голыми руками не возьмешь. Все отрапортовала. Живет она ведь здесь, недалеко. Из наших она. К чему ей нарываться на скандал с властями? Поди, каждый раз мимо меня на своей «Тойоте» мотает. То сюда, в свою квартиру, то бишь на нашу улицу, где и прописана, как полагается. То в особняк, то бишь за город. Сегодня еще здесь, в квартире сидит. Видел, как недавно вышла из «Косулек». Чего ей там делать? Но видно, от родословной никуда не деться. Тянет их в «Косульки» — и все тут, даже если они из торговки вмиг королевами стали. И даже если такую духовную вещь, как ваш глобус, могут себе позволить. Эх, зря вы, любезный, в такие руки такую вещь!

Я нервно прошелся взад-вперед по пустой комнате. Мне во что бы то ни стало нужно было у Сени раздобыть адрес этой дамочки. Но как это сделать аккуратно, чтобы он ничего не заподозрил, я при-



думать не мог. Сеня это сделал за меня. Он даже стукнул себя по лбу, словно его озарила гениальная мысль.

— Ох, как я вас и понимаю, любезный! Хотя и не философ и от вашей философии далеко стою. На дороге всего лишь. Но понимаю! Вы же один остались! Ну абсолютно один! Хотя вы и говорите, что абсолютных категорий не существует... Но, похоже, здесь тот случай. Ни родных, ни друзей. Хотя вам они и не нужны были. Элеонора Викентьевна и та померла. — Сенечка всхлипнул и перекрестился. — Но главное — пустая лавка! Вот для вас трагедия, дорогой! Можно сказать, горе! Можно сказать, живая могила! Ведь эти ценные вещицы из истории вам заменяли все! И жизнью для вас была история! Так начните ее заново! Ну, словно сотворение мира! Хотя с чего начните! Ну вот хотя бы с этого глобуса. Как никак, а на нем нарисован плохой или не очень, но целый мир! Верните его!

— Как? — я слишком поспешно перебил Сенечку.

Сенечка еще раз хлопнул себя по лбу. Еще сильнее. Словно убеждал, что мысль действительно гениальная.

— А вы выкупите его! Скажите, мол, извиняюсь, кланяюсь, приношу соболезнования. Но глобус и ста рублей не стоит. Ошибочка, мол, вышла. Не исторический он вовсе. А просто старый. Деньжата у вас имеются, чтобы выкупить?

Я утвердительно кивнул. Деньги у меня были. Во всяком случае, чтобы выкупить глобус — хватит. Я до сих пор недоумевал, почему Дина не приоткрылась к этим деньгам. Может, она все-таки не цыганка? Тогда кто? Впрочем, мне было уже не до Дины. Мне нужно было любыми путями получить улику. И, похоже, появился шанс. Я внутренне ликовав. Я не ожидал, что Сенечка был способен на гениальные мысли. Как же я часто ошибался в людях! Но я вовремя взял себя в руки. И проявил сдержанность. Сенечка не должен заметить моего перевозбуждения.

— В общем, это недурно. Неплохая мысль, Сеня. С чего-то же нужно начинать. А там, глядишь, и дело пойдет.

— Вот я о том же, любезный!

Сенечка быстренько раскрыл кожаную папку, которая придавала солидности его не очень солидному виду. И стал рыться в бумагах.

— Ага. Вот оно. И адресок, и телефончик, как положено.

Он переписал мне данные хозяйки глобуса. И пожелал удачи. Я был готов его расцеловать. Но вовремя спохватился.

— Доброе дело хотел для вас сделать, дорогой. — Сенечка приложил руку к сердцу. — Мучит меня со-

весть, что чуть было вас не подставил. Под тюрьму не подвел. Да как такое возможно! Такой уважаемый человек! Эх, все эта ведьма околдовала. И впрямь одно зло от этих женщин.

— Только в молодости, Сеня, поверь, только в молодости. Потом только одна радость.

— А вам откуда это известно, любезный?

Я развел руками. Мне это не было известно. Поскольку я был еще достаточно молод. И понятия не имел, с возрастом зло несут женщины или радость. Просто мне хотелось сказать Сене приятное.

— Хотите сказать, что все еще впереди? — ответил Сенечка за меня. И помахал рукой на прощание.

— Ну, что-то вроде того. Аналогичное.

Зря я радовался, зря ликовал и зря поспешил сказать Сене приятное за добрый совет. Неприятности не заставили себя долго ждать. Едва я набрал номер дамочки. Ее звали ни больше ни меньше — Виола. Наверняка в прошлом Валя. Они как рецидивисты: едва срубят куш — тут же имена меняют. Впрочем, мне до этого не было дела. Виола так Виола.

— Виола?

— Ну.

Кратко и понятно. Похоже, в недавнем прошлом она была массажисткой. Где и словила своего миллионера-футболиста, добросовестно массируя его травмированную коленную связку. Но и до этого мне не было дела. И вообще, какого черта я лезу в чужую жизнь?

Я глубоко набрал в рот воздух и повторил:

— Виола?

— Ну.

Я, как и советовал Сенечка, стал раскланиваться, расшаркиваться перед этой массажисткой. Извиняться и рассыпаться в любезностях. Ну разве что не станцевал перед ней. Трубка мешала. Наконец, мне удалось внятно разъяснить суть дела. Шарканья и комплименты она молча проглотила. А вот суть дела... Мне пришлось даже отодвинуть от себя телефонную трубку, чтобы она меня не оглушила. Там стоял такой ор, что я уже усомнился, массажистка ли она. Скорее, кондуктор в автобусе.

— И вы... Вы смеете еще... Да как вы вообще смеете.

Слово «смеете» она повторяла раз пятнадцать. Пока я резко ее не перебил.

— Я же извинился. Не я виноват. Это ошибка. Меня самого обманули.

— Ах так! Да таких, как вы, в жизнь не обманешь! Жулик! Торгует всяким вторсырьем! И честных граждан надувает! Да тебя бы по башке этой рухлядь! Вон стоит твой мерзкий шар! Кажется бы, взяла да как запустила! Тоже мне — умник! Да я в жизнь секунд-хенд не носила! Здесь живут приличные люди! И знакомые наши приличные! И даже не





знакомые! Антикварная лавка! Да какая, к лешему, антикварная лавка! Лавка уцененных товаров! Смени табличку, лапоть! Лучше повеситься, чем нацепить на себя уцененку.

А я почему-то легко представил, как совсем недавно она ошивалась в уцененках и примеривала на себя секунд-хенд. Черт с ней! Хотя и промелькнула подлая мыслишка, что лучше бы я ее этим глобусом, чем старикашку. Но мне удалось узнать главное. Глобус находился недалеко. В квартале отсюда. Более того, эта дура вообще раскрыла все карты, когда завизжала, что завтра утром подаст на меня заявление в милицию.

— Слыхала, слыхала, что вас грабнули! Да теперь сомневаюсь в этом. Наверняка сами припрятали. Весь свой металлолом, чтобы улик никаких (похоже, она знала, о чем говорит). Но ничего, уж вас-то я выведу на чистую воду! Утром! В милицию! С заявлением!

— Но почему завтра, а не сегодня? — я шустренько вставил словечко.

— А потому как сегодня я в свой особняк еду! У меня званый ужин! И посуда настоящая! От Фаберже! Не из уцененки, как у тебя! (Когда она особенно злилась, то столетнего старика называла на «ты».)

Массажистка? Нет, определенно кондукторша. Или что-нибудь таки из транспортировки фруктов и овощей?

Больше мне слово вставить не удалось. Трубка залаяла отрывистыми гудками, и я бросил ее на рычаг. Нет, она все же заслуживала, чтобы именно ее хоть разок стукнуть по башке этим бестолковым круглым миром, а не старика. Впрочем, меня не покидало предчувствие, что совсем скоро этот бестолковый мир не выдержит и сам свалится на ее голову. И придавит.

В эту ночь я решился на отчаянный шаг. Впрочем, у меня не было выбора. Либо глобус окажется у меня, либо завтра вместе с заявлением будет лежать перед носом Романа.

Погода играла на моей стороне. К ночи разбушевалась метель. С трудом можно было разглядеть, что делается на улице. И я надеялся, что меня тоже будет не разглядеть. Что такое одинокий прохожий, спрятавшийся в широкой куртке с натянутым на голову капюшоном? Вон фонари какие высокие, их и то за метелью еле видать. А я ниже фонарей. Вон дома какие огромные. Их тоже не очень-то разглядеть в пелене снега. А я гораздо мельче домов.

Я быстро нашел нужный адрес. И бегом взбежал по лестнице. Меня обрадовало то, что Виола не успела еще обзавестись солидной дорогой квартирой. Пока ей хватило лишь на особняк. А теперь ютилась в стандартной девятиэтажке с малогабаритными

комнатами и, видимо, очень низкими потолками. Зачем я подумал про потолки. Маленьких комнат достаточно, чтобы быстро найти большой глобус.

Я легко умел открывать замки. Этому меня научила работа охранника в супермаркете. Где не раз приходилось прибегать к помощи отмычек, когда нерадивые пьяные кладовщики теряли ключи. А потом, втихаря, совали в мой карман сотню за помощь и молчание. И я никогда не отказывался. Потому что жил вместе с Тасей. Помню, она даже мне предложила организовать маленький бизнес. Она будет воровать ключи (на нее никто не подумает), а я отмычками вскрывать замки. Ну и, естественно, ставки повысит. Я категорически отказался. Тася была гораздо на ловкие идеи. Но я отлично понимал, что такой бизнес долго не продержится. В таком бизнесе периодичность — ему же гибель. И вместе с ним нам. Хотя теперь... По истечении времени я все же думаю, что Тася изначально все подстраивала. Слишком часто кладовщики теряли ключи. Ну, не настолько же они всегда были пьяные. И не настолько же не уважали кодекс кладовщика.

Вот я легко и открыл этот замок. И осторожно ступил в крошечную темноту. Свет зажигать было опасно. Я в разумных пределах раздвинул плотные занавески. И в комнатах посветлело от уличных фонарей и снега. Квартирка и впрямь была малогабаритная, правда, загроможденная новенькой импортной мебелью, мне на секунду даже показалось, что я на складе. Только, к счастью, не было пьяных кладовщиков. Особенно почему-то обрадовало, что потолки были, как я и предполагал, очень низкие. Казалось, я задеваю их головой. И казалось, что с такими потолками и правда будет легко отыскать глобус.

Я его отыскал быстро. Он возвышался в самой большой комнате на самом большом столе. И схватил его двумя руками и прижал к груди. Я обнимал целый мир. С его морями и реками, с его городами и странами. И мне хотелось плакать от счастья, что я его вновь обрел. И мне казалось, что уже навсегда. И мне казалось, что с его обретением я наконец-то свободен. Он ведь такой большой. И в нем так много всего обозначено. На нем все обозначено, кроме людей. Кроме их сумасшедших машин. Кроме их бездушных домов. И их компьютеров, и их телефонов. И их переживаний, их любви, их предательств. Их рождений и их смерти. Все обозначено на этом глобусе, ничего лишнего. Ничего того, что бы мешало жить этому круглому миру. Только для чего? — я ответить не мог. Но в любом случае я могу скрыться. И меня никто никогда не найдет. И никто на меня не укажет. Потому что указывать будет некому.

Резко вспыхнул свет. Словно в меня щелкнули затвором фотоаппарата. И я от души желал, чтобы это были всего лишь пьяные нерадивые кладовщи-ки. Я в эту минуту был готов их расцеловать. И от-казаться от сотни. Только бы это были они.

Я боялся открыть глаза. Но я их открыл. Я сто-ял посреди чужой комнаты, так напоминающей склад. И мои пальцы до онемения впились в зем-ной шар. Это была дурацкая картина. В стиле аб-сурда. Или воровского абсурда. Мне понравилось это определение. И я подумал, почему не суще-ствует такого жанра. Я хотел думать о чем угодно, только не осознавать реальности, только не при-ветствовать реализм. Но реализм побеждает в лю-бых случаях. Потому что он есть. А всего осталь-ного нет. Все остальное — это выдумки и большое воображение. И большое воображение этот зем-ной шар. И зачем только Галилей упрямо бубнил, что он вертится? Ведь я не верчусь. Я стою на ме-сте. И Галилей не вертелся. У Галилея тоже было большое воображение. Или он тоже не хотел осоз-навать реальность. Как я сейчас.

Потому что этой реальностью был Роман. Ко-торый стоял напротив меня. И молча, как-то очень молча (я не знаю, как может быть очень), но, чест-ное слово, он очень, очень молча смотрел мне прямо в глаза. А потом, еще более молча, протянул руки, чтобы я отдал ему глобус. Если бы у живых было трупное окоченение, то я решил бы, что оно у меня. Но оно бывает только у трупов. Которым я не был. Поэтому я просто молча (я не умею очень, для этого нужно иметь ледяные глаза) вернул ему волейболь-ный мяч в виде глобуса.

— М-да, — ледяным тоном протянул следова-тель. — Это уже переходит все возможные пределы. Старик врывается в чужой дом и ворует антиквар-ную вещь. Впрочем, на вас поступила жалоба, что она вовсе не антикварная.

Нет, эта негодяйка Виола таки успела на меня стукнуть. Пожалуй, я точно скоро стукну ее.

— Я арестован? — Я тоже попытался добавить в свой тон кубик льда. Но не получилось. Кубик растаял.

— Арестован? — Роман нахмурил брови. — Это было бы верно. И по закону. Но... Но учитывая ваш более чем преклонный возраст... Я с арестом повре-меню. Я не хочу брать грех на душу, даже если он прописан законом.

Роман в одной руке держал глобус, а другой при-держивал меня за локоть. То ли он опасался, что я убегу. То ли то, что я в любой момент могу отдать концы. В общем, и то и другое состояние в этот мо-мент было мне близко к сердцу.

Я так же проворно закрыл отмычкой дверь. И по-скольку Роман не препятствовал, у меня зародилась

надежда, что вторжение в чужой дом он мне предъ-являть почему-то не хочет.

— И где вы так ловко этому научились? — Он даже попытался улыбнуться. Но лишь обдал меня ледя-ным паром.

— А вы знаете, сколькому за сто лет можно на-учиться! Так почему бы не этому?

— Действительно, почему бы и нет.

Он провел меня к дому. И даже распахнул передо мной дверь. Он вел со мной себя так, словно я по-чтенный старец, а не без пяти минут арестованный вор. И я подумал, что это очередная уловка. Он что-то наверняка знает. А если и не знает наверняка, то все равно проверит. Потому что я сам себя, как ду-рак, подставил. Возможно, у него не зародилась бы мысль об уликах на глобусе. Ну мало ли что я мог продать, пусть подделку. Вдруг и меня обманули, я мог легко отвертеться. А теперь... Теперь мне остава-лось уповать лишь на случай или недалновидность Романа. Но в последнем я сильно сомневался. У него было отличное зрение.

Я закрыл за собой дверь и прильнул к окну. Я ви-дел, как уходит Роман, пробиваясь сквозь пургу и пронзительный ветер. Он шел медленно, припод-няв голову вверх. Такой важный, солидный, он крепко прижимал к груди наш такой неважный и несолидный, но по-прежнему круглый мир. Кото-рый к тому же, как утверждал фантазер Галилей, умел вертеться.

Я остался один. Мое ночное предприятие было успешно провалено. Я огляделся. Моя пустая ком-ната с редкой современной мебелью напоминала камеру. Конечно, я мог сравнить ее с живой моги-лой, как сказал Сенечка, но я не видел живую моги-лу и даже не мог ее себе представить. А вот камера... Как-то она для меня становилась все реальнее и ре-альнее. И чтобы эту реальность как-то заморозить, притенить, я свой единственный диван пододвинул к окну. В этом случае я мог забыть, что нахожусь в голых стенах. Я мог видеть лишь небо. Замерзшее темное небо, из которого падал и падал снег.

Глядя на небо, я не мог невольно не думать о не-бесной каре, которая может меня ждать. О справед-ливой каре. И справедливой участи, которая меня вот-вот может ждать. А может, не может? На сегод-няшний день я не мог припомнить людей, знакомых или незнакомых, которых настигла небесная кара. Вполне возможно, их вообще нет. А вот припом-нить тех (чаще незнакомых) преступников и негод-яев, которым все легко сходило с рук, — мог. И чем больше и чаще они изощрялись в своих неблаговид-ных делишках, тем легче им было идти, нет, бежать вверх. Прямо к небесным далям. И не мог я припом-нить тех (чаще знакомых), которым добро оборачи-



валось несчастьями или гибелью. И что такое тогда небесная кара?

И вновь я смотрел и смотрел на небо и думал. Возможно, земля — это его отражение. Возможно, его тень. Но мне казалось, они так похожи. И так друг от друга зависимы. И то, что происходит на земле, происходит на небе. Только уже по большому счету. И если у нас празднуют победу злодеи, почему они не празднуют там? И если у нас нет возможности и сил помочь хорошим людям, почему мы думаем, что есть возможности и силы помочь нам оттуда? Если акции давно распределены не в пользу добра, а в пользу преступников. Как на небе, так и на земле. А у добра в лучшем случае десять процентов акций. А может, и вовсе один. Нет, пожалуй, десять. С одним процентом мир бы не просуществовал и минуты. Земной шар бы лопнул в один миг. На десяти процентах еще можно держаться. Даже если добро уже не держится на ногах. Зло на десяти процентах добра продержаться еще может.

Это были невеселые мысли. Как и невеселое темное небо в пелене снега. Холодное, замерзшее небо, от которого валил пар. Но я должен был радоваться подобным мыслям и подсчетам. Не знаю, верны ли они, я ведь не был бухгалтером, им был парень Таси. Вот бы у него спросить. А я был всего лишь философом. А философы чаще всего ошибаются. Сегодня я принадлежал большинству. Я встал в ряды тех, у кого девяносто процентов преступных акций. Я отвернулся от десяти. Потому что когда-то устал. Устал бороться с тем, что победить невозможно. Зато у меня был большой шанс не просто выжить, но и хорошо жить. Но меня почему-то это не радовало.

С этими мыслями, в которых была надежда на спасение и ненависть к этой надежде, я и уснул. Под черным небом. Из которого валил и валил белый снег. На круглую мерзлую землю. Никчемную землю. Последнее, что я помню, это чувство своей собственной никчемности. Не потому что рядом было небо. Или потому что я был на земле. Скорее, и то и это. Мне нравилось жить под этим небом и на этой земле. И чувствовать чувство никчемности. Знаете, люди всегда соревнуются. Им всегда себя мало. Им нужен кто-то еще, чтобы себя до конца осознать и принять. И поэтому все не любят друг друга. Потому что кто-то всегда находится лучше. А как может понравиться тот, кто лучше? Это уже утопия. Я как философ это знаю. Люди ненавидят себе подобных. Начальники — начальников, врачи — врачей, дворники — дворников, художники — художников, а миллионеры — миллионеров, хотя что может быть больше миллионов? Наверное, может. И любовь, и талант, и достоинство. Но все равно ненавидят. Так

же никчемные ненавидят никчемных. Хотя вряд ли соревнуются. Тут другое. Тут ненависть к самим себе и к тому неприглядному факту, что ты не хочешь выбраться из братства никчемных. А наоборот, хочешь в нем застряв навсегда. Я любил никчемность и ее ненавидел. Я любил неудачников и их презирал. Как-то я спросил у одного никчемника:

— И зачем?

Он просто ответил:

— Чтобы только так, и ничего больше.

Помню, меня поразило — больше. Вот в чем наша проблема. Мы не хотели большего! Не потому что не умели, не потому что были безграмотны, не потому что были нечестны. Мы просто УЖЕ не хотели большего. Потому что перед нами стал выбор. Выбор не очень приятный, но очень многим понятный. Мы его не хотели. Мы выбрали участь никчемных. Она была смиренна, безопасна и проста. Кто ее не выбрал, были счастливее нас, но мы им почему-то не завидовали. И я даже не знаю, почему. Наверное, изначально не умели. А возможно, потому, что мы были в глубине души рады, что нас, вот таких, все равно никто не может понять и победить. Даже если давно победили. Но кто знает, что такое победа? И бывает ли она вообще? Во всяком случае, навсегда.

Странно, я подумал о никчемных, хотя уже не был в их рядах. Я был преступником. А они никогда не бывают никчемными. Я же не был ни стариком, ни нищим, ни убогим. Я был достойным образцом своего общества. Но мне от этого легче не становилось. Иногда мне казалось, если я даже явлюсь с поднятыми вверх руками, меня все равно отпустят, только потому, что я совершил преступление, только потому, что я убил старика. Мне казалось, что это даже возвысит меня в глазах многих и многих, и мне протянут руки, и мне пожмут руки, и кто-то выпишет чек. А ведь это так просто. Нет, не выписать чек, а так просто все принять. И главное, можно принять все, все, все. И сделать по-другому все, все, все. И другими всех, всех, всех. Так просто. Стоит только поднять руки вверх.

Я был готов поднять руки вверх. Но я уснул. А с поднятыми вверх руками не засыпают. И небо уснуло и успокоилось. И снег перестал падать. И тоже уснул мертвым сном, плавно ложась на землю. В эту ночь закончилась пурга. Но еще не зима. А я так ждал весны. Я еще надеялся. Не на хорошую участь. Я ее не заслуживал. Хотя небо с его злыми покровителями думало, что заслужил. Я просто надеялся на весну.

А утром по-прежнему была зима. Только какая-то тихая, умиротворенная. Словно уставшая. Словно надоело ей разбрасываться снегом и раздуваться метелью. Окно покрылось снежинками. И я плохо видел небо. Но видел, что снежинки сверкали жел-

тым цветом. Значит, где-то там, далеко-далеко наверху, было солнце.

Они явились ко мне паровозиком. Первый вагон представлял Роман. Как всегда, гладковыбритый, свеженький. На лице ни одной морщинки. И, как всегда в последнее время, помолодевший. Прямо СВ-класс. Наверняка пользуется масками и кремами, мелькнула у меня раздраженная мысль. Недаром от него всегда разит парфюмом. И с каких пор наша милиция так благоухает?

Косульки друг за дружкой двумя общими вагончиками топали за ним и выглядели куда хуже. Новогодние праздники не прошли даром. Не потому что они праздновали. А потому что трудились. И у меня вновь промелькнула раздраженная мысль: зачем столько зарабатывать денег в поте лица, если даже не удосужиться привести себя в порядок. И пот с лица вытереть.

Косульки одновременно промокнули вспотевшие лбы помятыми носовыми платками. И глубоко вздохнули. Мне по-прежнему казалось, что они на моей стороне. Хотя разве можно доверять торговцам свининой, если они преподносят ее как оленя?

За Косульками робко мялся Сенечка. Плацкарт под охраной. Он не смотрел мне в глаза. Его виноватый взгляд бегал по голой комнате, словно что-то искал. Возможно, деталь для моего оправдания. Но моя комната по-прежнему оставалась детально пустой.

Замыкала паровозик Тася. Последний вагон. Самый ненадежный, бардачный и самый шумный. Виляющий из стороны в сторону. И она фыркнула мне прямо в лицо, разве что не пошел из трубы пар.

Они так и стояли один за другим. И мне хотелось им предложить схватиться друг за дружку и сплясать енку. Или поиграть в ручеек. Но это было некстати. Юмор бы не оценили. Они выглядели слишком серьезно. Хотя по всем правилам серьезным должен быть я. Но для слишком серьезного положения частенько именно серьезности и не хватает. В некотором роде самозащита.

— Уж не с Новым годом ли явились вы меня поздравить? — Я старался говорить весело и беспечно. — Хотя нет, скорее, напоминает похоронную процессию. Благо и на цветы тратиться не надо. У меня их предостаточно. Даже подснежники могу предоставить. Вспомните весну, до нее так еще далеко.

— И не то и не другое. — Роман шутить не собирался. — Поздравлять вас не с чем. А хоронить, пожалуй, еще рановато.

— Батюшки, ну вы скажете, Аристарх Модестович. — Косулька перекрестилась на скорую руку. — Да кто ж живьем-то хоронит. Упаси боже!

— Еще как можно живьем! — Тасе надоело быть последним вагончиком, и она выступила вперед. — Если в тюрьму, за решетку!

— Поди, и в тюрьме живут, — робко встрял Косулька. — Я-то, конечно, не в курсе. Бог миловал такой участи. Но, пожалуй, жить можно. Оно как все функции работают. И глаза, и уши, и рот. И покушать чего можно, и шум дождя услышать, а то и на небо поглазеть.

— Вы определенно поэт! — Я не выдержал. — Только понять не могу, вы что, меня в тюрьму пришло провозать?

— Ну что вы, Аристарх Модестович, — промямлил Сенечка, по-прежнему избегая моего взгляда, — до тюрьмы вам далеко. Вернее, до тюрьмы далеко ехать. А вы в преклонном возрасте...

— Ага, — весело подхватила Тася. — Можете и не доехать. А вы нам нужны живехоньки.

Роман поднял руку вверх, призывая всех к молчанию.

— Первым делом я пришел ознакомить вас с судебной экспертизой. Результаты были получены сегодня утром. Неутешительные результаты.

Косульки вздохнули. И даже стали меньше ростом. А Тася, напротив, распрямил плечи, вздернула курносый носик, вызывающе подняла голову вверх. И как-то выросла. Но только не в моих глазах.

Я взял папку с результатами. И пытался вникнуть в их смысл. Но вникалось тяжело. Отчетливо понял лишь три слова: глобус, кровь, анализ. Впрочем, трех слов для меня было достаточно.

А Роман популярным языком объяснил остальное. Результаты эти, мол, не что иное, как итог высочайших достижений современной науки и криминологии. Все основные проблемы и достижения криминологии в конечном счете явно или имплицитно сводятся к вопросу о социальном контроле над преступностью. Наша наука достигла таких вершин и познаний, таких высот и глубин, что... На слове «что» я куда-то улетел. Меня не очень интересовали достижения науки. Это было бы несправедливо по отношению к себе — впитывать познавательную информацию. В моем-то положении. И я вернулся на землю, когда Роман вдруг пафосно завершил свой монолог:

— Кровь не смывается никогда!

— Чья кровь? — Я вздрогнул.

— Убиенных и загубленных душ. — Косулька вновь перекрестилась. Она тоже была поэтом.

— В конкретном случае — кровь убитого Григория Карманова, — уже более официально заключил Роман, — обнаруженная на глобусе, который вы попытались украсть этой ночью. Чтобы уничтожить улику. И тем самым вывели нас на орудие преступления. И подписали себе приговор.





Я лихорадочно соображал. С какой стати моя кровь вдруг оказалась на глобусе? Да, я порезал палец. Возможно, моя кровь и капнула на земной шар. Но это капля в море! Почему же не обнаружена кровь старика? Черт! Только он на это способен. До меня стало доходить. Какая жестокая усмешка судьбы. Или игры судьбы. Конечно! На седых волосах старика яркие пятна. Я отчетливо их помню. И примерно помню их количество. Четыре. И хотя не был бухгалтером, почему-то в подобных шокирующих ситуациях запоминается всякая ерунда. Безусловно, это вполне могла быть моя кровь. На столько пятен ее бы хватило. А старика... А у старика не было крови. Не потому что он был бескровен. Просто я так умудрился его убить. Бесшумно и бескровно. Я знаю, такое бывает. Хотя я не убивал никогда. Но я знаю, бывает. И если бы я тогда не порезал палец, они ничего не смогли бы доказать! Глобус был бы чист, как стекло. Хотя разве земной шар может быть чистым? Это миф.

Я оказался в ужаснейшем положении. Меня обвиняли в убийстве меня же. И для этого были все основания, все улики. Кроме одного. Моего искреннего признания, что я и являюсь гражданином Кармановым. Следовательно, меня не могли убить, следовательно... Нет, в таком случае мне пришлось бы признаться в убийстве старика. И для этого тоже есть все основания и все улики. Что лучше? Утонуть в луже или в океане? Из огня да в полымя? Поесть или отравиться? Не важно, какой конец, если это конец. Но в моем случае все было несколько по-иному. Дело не в жертве. Дело в преступнике. Есть выбор. Либо преступник я, Григорий Карманов. Либо старик антиквар.

Мне не хотелось марать свое имя. В этой ситуации лучше оставаться жертвой. К тому же для старика вполне реально снисхождение на суде. Сколько ему, столетнему, и так осталось? Возможен даже условный срок, если повезет с адвокатом. Если придумать достойное объяснение убийству... А с другой стороны... У меня не будет даже могилы. И пусть на нее никто бы и не пришел. И все же... Лучше, чем вообще ничего. Словно и не было на земле. Словно ты и не родился. Тогда все зачем? И это небо, и этот земной шар, и даже Дина? И потом... Ко всему прочему капля совести у меня осталась. Я не хотел выглядеть даже перед собой законченным негодяем. Как я могу подставлять старика и делать из него убийцу, если он прожил такую долгую безупречную жизнь. Чтобы так долго и так безупречно! Это не каждому удастся! Возможно, монахам и одиночкам. Когда избавляешься от искушений не путем мучительного выбора, а путем добровольного затворничества. Конечно, в некотором роде это нечестно пе-

ред другими, у которых на каждом шагу искушения. Но в любом случае — остаешься честным человеком. Даже можешь позволить себе осуждать других! Поскольку тебя осуждать не за что. Я не скажу, что мне сильно нравился старик. Даже более того. Но факт оставался фактом. Он не убийца. И как я мог на него такое взвалить? Получается, я на него, уже мертвого, повесил убийство человека, который жив и здоров? Нет, это уже за пределами преступления и наказания. И мне не будет оправдания. Никогда. Ни на небе, ни на земле. Безусловно, если судьями окажутся когда-нибудь справедливые обвинители. А когда-нибудь это будет, я в это верил. Может быть, единственное, во что я еще верил. Ценные акции не бывают все время в одних и тех же руках. История их все равно периодически перераспределяет. История — это тоже точная наука. И когда-нибудь ее точность достигнет справедливых высот. Даже если она к нам не всегда справедлива. И мы к ней несправедливы почти всегда.

Я резко обернулся к Роману.

— Вы меня арестовываете? — На слове «меня» я почему-то сделал ударение. Словно еще сам не знал, кто это спрашивает — старик антиквар или молодой парень Гришка.

— Ну, к таким крайним мерам мы пока прибегать не будем. До тюрьмы действительно далеко. В вашем почтенном возрасте. А вот к домашнему аресту прибегнуть придется. И даже в этом случае я позволю сделать вам скидку. С вами останется Сенечка, как человек, знающий вас. И в некотором роде вам сочувствующий.

— Почему в некотором? — обиделся Сенечка. И даже мне слегка поклонился. — Во всех смыслах вам сочувствующий, любезный.

— А вот огласки вам не избежать, разлюбезный! — Тася сделал шаг вперед в мою сторону. — Скандальчик выходит! Все газеты завтра напишут, что вы убили прекрасного парня Гришку! У которого впереди была целая жизнь! Огромные возможности! Блестящее будущее! Он, кстати, был философом! И даже сочинял философские труды! Он мог стать профессором, а может, даже академиком! И вообще он был гением! А убийство гения тяжелее во сто крат! И он, этот прекрасный, добрейшей души человек, этот гений всегда мечтал жениться на мне! И я как его невеста, а теперь вдова, непременно сегодня дам интервью! Меня уже поджидают репортеры! И я ни одной подробности не упущу из нашей личной жизни, которая была похожа на сказку. И была разбита этим старикашкой! Как и разбита наша великая любовь!

Неужели и Тася туда же, решила вслед за Косульками записаться в поэты? Нет, этого я уже не вы-



несу. В одном она, впрочем, права. Оборвать жизнь посередине гораздо хуже, чем в конце. Все же лучше, чтобы не старик оказался убийцей молодого парня, а наоборот. К тому же я как представил, что завтра в газетах будут со всех сторон склонять мое имя, убитого Григория Карманова, красочно расписывая, каким я был замечательным парнем и как горячо любил Тасю... А по телевизору показывать накрашенную, напудренную, разодетую в дорожные тряпки рыдающую вдову... И я даже не смогу защититься, поскольку мертв. Нет, этой радости Тасе я не доставлю. Уж лучше быть преступником. За преступника она точно замуж уже не захочет и скорее всего вообще меня не упомянет, чтобы не марать свое имя порочной связью. К тому же меня по-прежнему мучила совесть перед антикваром. Как странно, даже не столько за то, что я убил его. А за то, что хочу взвалить на него вину за убийство. И завтра в газетах начнут поносить его почтенное имя со всех сторон. Смешивать с грязью его достойную жизнь. Копаться в его благородном прошлом и настоящем. Увольте! Лучше уж я, Григорий Карманов окажусь убийцей. В конце концов, у меня нет родных, перед кем было бы по-настоящему стыдно. А больше... Больше мне не перед кем стыдиться. Не перед этим же миром, где убийства давно узаконены. Где давно богатства распределены в пользу убийц. Перед этим миром-убийцей мне краснеть нечего. И земной шар не заставит мое лицо покрыться пунцовой краской. Потому что он сам в крови. И этот глобус давно следовало бы делать не в форме зеленого шара. А пунцового. Где пунцовые реки и моря, пунцовые города и страны, пунцовые горы и леса. Нет такой точки на планете, которую бы нельзя было изобразить алого цвета. Где не проливалась бы кровь. И при чем тут я и старик? Мы всего лишь крошечные, незначительные детальки в огромном механизме законных и безнаказанных убийств. Но, в отличие от других, я могу доказать, что мое убийство незаконно и наказуемо. И справедливость возможна. Даже если в ней никто не нуждается. В моей власти признать, что суд существует. И преступники — это реальность, а не миф этого преступного мира.

Я вышел на середину комнаты. И гордо встряхнул седой шевелюрой. Мне показалось, что я на сцене. На пустой сцене, где нет декораций. Впрочем, бутафории иногда только снижают накал. Мне показалось, что и Роман, и Сенечка, и Косульки, и Тася — это не зрители, перед которыми мне сейчас предстоит произнести трагический монолог в кульминации этой трагедии. А мои партнеры по пустой сцене. Где нам вместе предстоит сыграть эту пьесу. И мои друзья, и мои враги. А зрителей нет. Нам играть не перед кем. Мы будем играть друг перед другом. И кто

из нас выиграет? И кто нам раздаст аплодисменты и цветы? Если зрителей нет. Впрочем, зрители иногда только мешают. Настоящие трагедии разыгрываются без свидетелей. Свидетели — это уже послесловие всех трагедий.

Я набрал полный рот воздуха. Выдохнул. Вновь набрал. Мне нравилось быть в главной роли. Я никогда в ней не был. Всегда был второстепенный персонаж. Неужели, чтобы тебе дали главную роль, нужно стать убийцей? Как чудовищно. И как просто. И я вновь набрал полный рот воздуха. И сказал. И сам почувствовал силу своего голоса. Его четкость. И густоту. Мой голос ни разу не дрогнул. Я был на сцене.

— А теперь выслушайте меня, мои дорогие, совершенно случайные знакомые. Кого вы видите перед собой? Я уже заранее предугадываю ваш ответ. Но вы ошибаетесь. Перед вами не старик антиквар. Этот почтенный столетний старец. Наверное, жаль. Но уже ничего не исправить. Перед вами молодой, полный сил парень Григорий Карманов, который по несчастливой случайности убил этого милейшего старика. А теперь напрягите зрение...

Я стал осторожно и по порядку снимать свой грим. Сначала беретку. Почему я начал с беретки? Ведь она ничего не доказывала. Вслед за ней я снял седой парик, седые брови, седые усы, седую бороду. Я словно раздевался на сцене. Мучительно, долго. Ненастоящие детали настолько приросли к моему лицу, что мне самому казалось, что они уже настоящие. Ну вот. Вот и все. Вот и финал. Заключительный акт. Почему нет аплодисментов? Ах, да передо мной не зрители. А всего лишь партнеры по сцене. Где я играю главную роль. И теперь стою, словно голый, перед ними. И выдерживаю театральную паузу. Слава богу, мы доиграли. Мы добрались до конца этой трагедии. И я не мог знать, что, возможно, это только ее начало. Словно какой-то неутомимый автор, которому безумно понравилась своя пьеса, решил не останавливаться на ее окончании. И из последнего акта вновь сделать первый.

Молчание затянулась. Театральная пауза повисла в воздухе. Впрочем, так и должно быть. Жутковато, когда в один миг из старика превращаешься в юношу. Вот если наоборот — это еще как-то пережить можно. Ну, допустим, это никто переживать достойно не собирается. Ни Роман, который всегда передо мной подчеркивал свою молодость, а я оказался вдруг моложе его. Ни Сенечка, который был влюблен в мою девушку. Ни Косульки, которые кичились дружбой с таким почтенным соседом. Но Тася. Я вдруг откровенно, без всякой враждебности и даже почти с нежностью посмотрел на нее. Но она! Она же просто обязана броситься мне на шею! Зацеловать! Заобнимать! Забросать тысячью неж-



ных слов! Неужели и она... И она не рада. Неужели она разочарована? И даже злится на мое воскрешение? Ах да, я вновь погубил все ее планы. Она же вечером должна давать интервью. И она уже, возможно, приглядела черное трикотажное платье с широким воротом в магазине для вдов, которое бы подчеркивало ее хрупкую фигурку. Перед ней светила возможность напечататься в глянцевого журналах. И, возможно, ее бы даже пригласили на телевидение вести передачу о разбитой любви. О, а вдруг уже какой-то репортерешко, молодой, высокий, лохматый, подмигнул ей ненароком? И небрежно записал свой телефончик? Этого она бы мне точно не простила. И своими руками вырыла бы мне могилу, чтобы живьем туда уложить. Не в ее планах были разбитые планы. Лучше уж разбитая любовь.

— Тася, только не обижайся. — Я распахнул перед ней объятия.

В мои объятия она не рухнула. Напротив. Резко отпрянула, зажав рот ладонью.

— Тася, ты прости меня, Тася. Но ведь я вернулся. Разве этого мало, чтобы простить? Ну же! Неужели Гришка Карманов лучше выглядит мертвым, чем вот так, живым, и перед тобой? Неужели ему лучше быть убитым, чем убийцей?

Я уже откровенно наступал на Тасю, а она испуганно пятилась к двери. Между нами вдруг резко встал Роман.словно грузовик перерезал дорогу. В своих руках он держал старое запотевшее расколотое зеркало. И молча протянул его мне. Я плохо видел свое отражение и все же его узнал. Я отчаянно рукавом стал тереть зеркало, дышать на него, вновь тереть, еще, еще сильнее, еще сильнее дышать. Оно стало зеркально чистым, хотя по-прежнему было расколото на две неровные части. Из зеркала на меня смотрел старик антиквар. Почти гайдебуровский старик. Седые длинные волосы, седые брови, седые усы, и борода, и морщинами исполосованное лицо, и мешки под глазами. Почему я их раньше не замечал? Постепенно привык? Они выглядели органично со старческим образом?

— Этого не может быть, — прохрипел я и закашлялся, как старик. — Этого просто не может быть. Он же умер... Я его сам убил, я же его убил вот этими руками.

Я до боли сжал кулаки и ими затряс. Мои руки были жилисты и морщинисты. Почему я этого раньше не замечал? Постепенно привык? Я в отчаянии швырнул зеркало на пол. Оно разбилось на мелкие осколки. И я подумал — дурная примета. Хотя так подумать было глупостью в моем положении. Разве может случиться со мной что-нибудь? Если в зеркале я увидел немощного старика, к тому же нищего, к

тому же которого обвиняют в убийстве. К тому же которого ждут за порогом только тюрьма и смерть. Что может быть хуже подобной участи? И что может мне сделать разбитое зеркало? Если все уже сделано без него. Только кем? Этого я не мог знать. И не мог даже придумать. В моих глазах помутнело, и я медленно стал опускаться на пол. Последнее, что я почувствовал, — как меня подхватили руки. Сильные руки, наверняка молодого человека. Может быть, руки Романа, может быть, Сенечки, впрочем, могли быть и руки мужа Косульки. Он оказался тоже гораздо, гораздо моложе меня. Кто бы мог подумать? Больше я ни о чем не подумал.

Очнулся я от резкого запаха нашатыря, которым мне тыкали в нос. И валокордина, который мне заливали в рот. Как ни странно, я не подумал, вдруг все это дурной сон, хотя эта мысль принята после обморока. Напротив, все выглядело настолько отчетливо и предстало такой явью, что я дернулся. Я ясно видел перед собой лица моих партнеров по сцене. Молодые, симпатичные лица. Даже Косульки по сравнению со мной были красавцами, несмотря на их красные, отекавшие (но молодые!) лица.

— Все в порядке, дорогой, все в порядке, всего лишь сердце кольнуло, — ласково шептал Сенечка. Разве что оставалось погладить меня по седой шевелюре. Как обезумевшего старичка.

— В вашем возрасте это не страшно, любезный, — вторили ему Косульки. — Вон какое у вас здоровьице, нам, молодым, можно позавидовать. Подумаешь, сердечко слегка закололо.

— За вами присмотрят, уважаемый Аристарх Модестович. — Тон Романа был суше, как и положено. Но не настолько. — Мы хоть и милиция, но тоже сердце имеем. И у нас оно, бывает, колет.

— Дорогой, любезный, уважаемый! — грубо передразнила их Тася, по привычке подперев бока руками. — Кольнуло, колет, закололо! Да он скоро сам околеет, тогда будете причитать! Не успеете оглянуться, а арестовывать некого! И отвечать некому! Вот тогда вы попляшете! Убитый убит, а убийца потому на свободе, что окошел! И судить уже некого!

— Ну, вас бы все равно в присяжные заседатели не позвали, зря вы так волнуетесь, — резко ответил Роман.

— Зато в свидетели позовут! И на интервью позовут! А с мертвыми какой прок в интервью! Все дело мне хотите запороть! Так что давайте, откачивайте старикашку. Он нам нужен живьем.

Так, так, так. Я попытался сосредоточиться. Медленно, с помощью молодых сильных рук встал на ноги. Спина не разгибалась. Похоже таки радикулит. Я проковылял к креслу.



— Да... Испугали вы нас, Аристарх Модестович. — Голос Романа стал еще мягче, но в глазах вновь блеснули две льдинки.

Я решил не сдаваться. Какого черта! Я же не сумасшедший! Даже если я не так молодо выгляжу, это не означает еще, что я не Григорий Карманов. И я это должен во что бы то ни стало доказать.

— Я не Аристарх Модестович! И я не антиквар, — процедил я сквозь зубы. Мне хотелось на них кричать во весь голос. Но я вовремя остановился. Мне показалось, что когда сквозь зубы цедишь слова, это более убедительно. — Я повторяю. Я Григорий Карманов. И я убил антиквара.

— Вот наглец! — завизжала Тася. — Ели дышит, еле ходит, а хочет за моего Гришку себя выдать! Да еще убийство ему пришить!

— Я никогда не был твоим, Тася.

— Упаси боже! — Она не перекрестилась. Она не умела креститься. Зато умела громко визжать. — Не хватало, чтобы такой дряхлый старикан вдруг был моим! Да я ни в жизнь! Что я, какая-нибудь?! Это пусть ваш Пукирев со своими нечистыми мыслями о неравном браке мечтает! А я уважаемая молодая вдова, которая завтра даст честное интервью о трагичной любви. Я уже даже договорилась с одним молодым высоким лохматым репортером! Он даже





мне свой телефон любезно оставил! Он все о любви знает! И он поймет!

Я по-прежнему цедил слова. Но мне это не помогало. Тася визжала, но ее визги были более убедительны. Я прикрыл уши руками. Я хотел тишины. Но слушать тишину в моем положении было роскошью. Мне нужны были слова и действия. И я обратился к Роману.

— Я могу доказать,

Это был мой последний аргумент. И тогда все станет на свои места. Они увидят тело убитого антиквара. И все станет на свои места. Правда, мне еще придется убедить, что я не кто иной, как Карманов. Но, в конце концов, не так сложно убедить, кто ты на самом деле. Я сумею. И тогда точно все станет на свои места. Я так хотел, чтобы когда-нибудь все, все стало на свои места. Даже если я останусь убийцей. Даже если обо мне напишут тысячи газет. Даже если в меня будут тыкать пальцем и закидают камнями. Даже если мне будут плевать в лицо. И даже если на мою голову повесят петлю. Лишь бы я вновь стал собой. Лишь бы я вновь занял свое место под солнцем. Которое, наверное, уже не увижу. Во всяком случае, весной.

Я тяжело поднялся с места и заковылял к потаенной двери, которая сливалась со стеною. Я махнул рукой, чтобы все шли за мной. Правда, не забыли захватить с собой фонари. Сколько есть. Фонари нашлись. И мои непрошенные гости вновь изобразили паровозик. Наверное, для важности и четкости программы действий. И паровозик двинулся с места. За мной. Я нажал на кнопку. Дверь медленно отворилась. Свет из комнаты осветил длинную лестницу вниз, в темный подвал. Там по-прежнему пахло перебродившими огурцами и сыростью. Мы организованно выстроились. Вагончик за вагончиком. И стали спускаться по лестнице. И я уже был первым вагоном, почти машинистом. Я вновь был на первых ролях. И мне это нравилось. Я вновь почувствовал свою важность. И даже достоинство. Я вдруг подумал, что у убийц тоже бывает достоинство. Впрочем, возможно, сегодня только у них и бывает. Остальные как-то обходятся без него. Раз принимают и прощают этот убийственный мир.

А в подвале было убийственно темно и убийственно холодно. Это был настоящий склеп. Но я даже на ощупь, нет, даже по направлению мог определить, где лежит тело. Я не нуждался в свете. Убийцы помнят всегда, где спрятали тело. Впрочем, я раньше не был убийцей. Но мне все равно казалось, что они помнят.

— Тише, тише, — шептал я, словно боялся испугать мертвого антиквара. Слово он вот так запросто мог вскочить и убежать. Но я напрасно боялся.

— Вот здесь, да, вот здесь. Здесь лежит тело старика.

Несколько фонариков одновременно вспыхнули. И я от неожиданности зажмурил глаза. И тут же их открыл. Глаза слезились. Но это мне не помешало увидеть, что труп пропал. Неужели мы таки его испугали? И первое, что я воскликнул, было отчаянное:

— Я же вам говорил, потише!

Второе, что я воскликнул, было:

— Это невозможно. Это просто невозможно.

Голос Таси был звонкий, яркий, какой-то многослойный. Слово многоголосие. Он разбивался о гулкие стены подвала.

— Еще бы возможно! Тоже выдумали! Сам живехонек, а свое тело ищет. Просто сумасшедший дом какой-то.

С сумасшедшим домом я полностью согласился. Это определение даже вселило в меня некоторую надежду. Вдруг мы все и впрямь просто в психушке. И ничего не было, ни убийства, ни старика антиквара, ни следствия. Я был готов уже в это поверить. Если бы не Тася. Она выглядела такой реальной, такой нормальной, такой по-домашнему приземленной. И этот курносый нос, и эти кудряшки, и даже руки в боки. Что поверить в сумасшедший дом было просто невозможно.

Роман опустил на колени и шарил фонариком по месту, где когда-то лежал старик.

— Так, так, так. Тело здесь определенно лежало. Вот, пожалуйста, засохшая кровь.

Мое сердце заколотилось. Вдруг окажется, что это не моя кровь? Вдруг? Но сам я уже в это слабо верил.

Роман соскоблил запекшуюся кровь с пола и аккуратно положил ее в мешочек.

— Ну что ж, Аристарх Модестович. Похоже, это последняя улика. Мне очень жаль. Если эксперты докажут, что это кровь Карманова... Боюсь, ваше положение будет бесспорно. Впрочем, вы добровольно показали, где прятали труп. Правда, вопрос в том, где этот труп в данный момент?

Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Неожиданно на меня накатили такие вялость и усталость, что я боялся вот-вот заснуть прямо стоя. Это было бы неприлично. По сути, я должен был дрожать от страха, корчить отчаянные гримасы, рвать на себе волосы, только не спать! И чтобы не выглядеть неприличным и не заснуть на ходу, я спросил:

— Когда будут готовы результаты экспертизы?

— Пожалуй, завтра. Сегодня еще праздники. И наши эксперты тоже имеют право на Новый год. И не хочется им портить кровь чьей-то кровью.

— Да зачем же завтра! — Косулька всплеснула пухлыми ручками. — Роман Романыч! Как пить дать

сегодня! У нас праздников не бывает! И кровь животных мы проверяем регулярно, со всей пунктуальностью! У нас своя научная лаборатория! Сами понимаете, мы солидное заведение! Мы должны быть уверены, что подаем здоровое мясо. Вернее, мясо здоровых животных. Сами знаете, читали, поди. Свиной грипп, куриный грипп. А почему не олений грипп? Всяко случается. Так что мы сами себе эксперты! А что ж Аристарху Модестовичу, этому уважаемому человеку, мучиться до завтра! Переживать. В его возрасте переживания не на пользу. Он должен знать всю правду сейчас! Даже если он убийца, то, поди, и человек! Никто ничего человеческого в нем не отменял!

Я посмотрел на Романа. Такой солидный, такой важный и серьезный, он их пошлет подальше со своим заведением, мясом и кровью. Какая к черту лаборатория!

— Ну что ж, я принимаю ваше предложение. Сделайте предварительную экспертизу. Действительно, зачем ждать до завтра.

Косульки разве что не плясали от счастья. Они радостно затопали своими скривленными сапожками и захлопали в пухлые ладошки. Такие несолидные, неважные, они получили такое серьезное поручение. Впрочем, почему бы и нет? Если мы продолжали жить в таком несолидном и несерьезном мире, так похожем на сумасшедший дом. Или просто на больницу, где у каждого свой определенный диагноз. Это, может, когда-то мир был очень даже нормален, солиден и серьезен. И даже планы на будущее можно было выполнить и перевыполнить. Потому что будущее было. И было прошлое. И одно поколение цеплялось за другое, даже если было другим. Сегодня мы живем в больничных стенах сегодняшнего дня. И за этими стенами вакуум. На небе больно пустота, на земле больной пустота, за больничными окнами пустота. Мои глаза по-прежнему слипались. И на экспертизу мне было уже плевать. Воистину, старость притупляет все чувства. Как и притупляет все чувства этот больной мир с неопределенным диагнозом. Хотя, возможно, диагноз уже установлен, просто нам об этом не говорят.

Наконец-то мы выбрались из подвала. Счастливые Косульки убежали, сжимая в ладошках чужую кровь. Моя кровь застыла и была холодна, и, возможно, уже не красного цвета. А возможно, ее не было вообще.

Гости обступили меня. Словно каждый хотел сказать что-то важное, но не находил слов. Слова нашел я. Вялые, бесполезные, сонливые слова, которыми никто не поверит.

— И все-таки моя фамилия Карманов. Это я по несчастливой случайности убил антиквара и занял

его место. И даже не знаю почему. Может быть, испугался, а может быть, устал жить через силу. А может быть, просто уже не было сил, чтобы жить так, как я жил.

— Устали вы, дорогой, как пить дать устали. — Сенечка осторожно взял меня под локоть и усадил в кресло. — Бесспорно, устали. Но мне поверьте, я хоть и простой регулировщик, но на досуге изучаю уголовный кодекс и даже литературу по уголовному праву выписываю. Интереснейшее чтение, поверьте! Возраст уже у вас, как это сказать помягче, сами понимаете, наипочтеннейший. Таких глубоко пожилых людей могут и вовсе не засудить. Ну, условно, в крайнем случае. Или с подписочкой о невыезде. Да и вам куда уже выезжать и к чему?

— Да уж, — хихикнула Тася. — У вас уже билетик в одну сторону.

— В общих чертах Сеня прав. — Роман уселся напротив меня на стул и забросил ногу на ногу. Его взгляд буквально вонзился в мое лицо. — Только одного возраста маловато будет. К этой версии неплохо бы присовокупить и нарушение психики. Кстати, в старости это довольно частый симптом. И доказать, судя по вашим неадекватным заявлениям, это будет несложно. С такими заявлениями я еще ни разу не сталкивался. Но их допускаю в почтенном возрасте. Когда желание быть молодым, желание вернуться назад и вернуть все, что возможно, превосходит доводы разума. На этой почве, безусловно, возможно преступление. Вам показалось, что, убив Карманова, вы как бы можете в него перевоплотиться. Забрать его молодость. И отдать свою старость. Увы, дорогой, это невозможно. Никак невозможно, насколько бы сегодня наука ни опережала наше строение мозга и психики. Я заявляю — невозможно!

— Увы, — вздохнул Сенечка, — иначе бы все старики поубивали молодых, и мы бы жили в стране умудренных молодых. Смириться нужно, любезный. Только смириться. Вам и так посчастливилось дожить до таких преклонных годков. Не каждому это под силу.

— Вот поэтому он снисхождения и не заслуживает! — категорически заключила Тася. — Хватит, пожил в роскоши и безделье! Пусть хоть умрет в нищете, на лесоповале! Труд облагораживает в любом возрасте.

— Ну уж так сразу на лесоповале! Это слишком, — возразил Роман. — В определенном учреждении тоже трудятся, хочу заметить.

Я пытался вникнуть в их диалог. И плохо вниклось. Какой лесоповал, какое учреждение, какое нарушение психики? Может, это они все ненормальные? И лишь я здесь единственный не псих? И почему вдруг это я украл молодость, если





ее у меня украли? Но кто и за что? И вообще как? Если наука действительно еще не доросла до подобных метаморфоз. Или доросла, но мы об этом не знаем? Нет, бред какой-то. Значит... Значит, где-то есть ложь, обман, кривляние. Как в искаженном зеркале. Я оглянулся вокруг себя. Больше не было зеркал, кроме одного, с кривой трещиной наполовину, словно раненое. Мне не нужно было раненое зеркало. Раненые зеркала могут лгать.

— Тася, поройся в своей сумочке, ты всегда носишь с собой маленькое зеркальце. Некачественных зеркал ты не носишь. Дай мне его.

Тася пожала плечами. И стала рыться в сумке.

— Свет мой, зеркальце, скажи и всю правду расскажи. — Тася протянула мне зеркальце и засмеялась.

Я долго смотрел на себя. Вернее, по-прежнему на старика антиквара. Даже со злостью дернул себя за бороду, усы, брови. Они были настоящими, седыми. И морщины были настоящими, и круги под глазами. Это был я. Мои мысли, моя душа. Но лицо, тело. Они были чужими. Впрочем, они тоже, наверное, были моими, но через сорок, пятьдесят лет. Но сегодня, черт побери, этого просто не может быть!

— Зеркала не лгут, — сухо ответил Роман на мой внутренний монолог. — Лгут только люди.

В антикварной лавке уже топтались смущенно Косульки. И протягивали помятую, замусоленную жиром (я уже не знал, косули или свињи) бумажку.

— Как пить дать, люди лгут, — вздохнул муж Косулька. — Кто бы мог подумать. Чтобы такой почтенный, заслуженный, уважаемый столько лет Аристарх Модестович совершил... Не могу даже выговорить, что совершил. Язык не поворачивается.

Роман бегло пробежал взглядом по бумажке.

— Да, похоже, все верно. Кровь Григория Карманова. Дело, можно сказать, закрыто. Безусловно, мы завтра перепроверим. Но это несложная экспертиза. Так что...

— Вот так живешь рядом с соседями и не знаешь, что у них на уме. — Косулька-жена перекрестилась. — И про искусство так красиво рассуждают, и про науки, и про древности всякие. И что с того? А потом раз — и по голове. Нас, слава богу, бог миловал...

Они что-то еще говорили. Но я дремал. Глубокий старик дремал в своем кресле. И сквозь дрему я слышал, как они уходят. Только шаги. Но по топоту удаляющихся шагов я понимал, что покидают они мой дом тоже паровозиком. Разве что не хватает одного вагона. Им был Сенечка. Сенечка взялся меня охранять. Он даже осторожно укрыл меня теплым пледом. Я хотел его поблагодарить, и вообще мне

хотелось сказать доброе слово доброму Сенечке. Но я не успел. Я провалился в глубокий сон, как в пропасть. Как в неопасную пропасть. Из которой всегда можно выбраться с приходом утра, с восходом солнца. В отличие от реальности. Которой никакое утро, никакой восход солнца уже не помогут.

И приснилась мне черноволосая девушка в цветастой юбке до пят. Ее тонкую длинную шею украшали ряды разноцветных бус. Она бежала по бескрайней степи под палящим солнцем, в своей узенькой ладошке она сжимала раскрытый зонтик Гашека. И я подумал, что здесь дождей не бывает. И быть не может. Здесь всегда жарко. И мне так захотелось ей это объяснить. Что этот зонтик напрасен. И что многое, многое в жизни напрасно. Даже, возможно, все. Разве что солнце не напрасно и эта степь. А этого для жизни так много. Если живешь не один, если живешь вдвоем. Я так хотел ей рассказать об этом. И я побежал за ней. Я бежал легко и весело. Я легко и весело ее догнал. И схватил за плечо. И повернул лицом к себе. Передо мной стояла старуха. Седые брови, исполованное морщинами лицо, черные круги под черными глазами. Горький мог написать «Старуху», я в этом уверен. А Гайдебуров ее сыграть. Я в этом тоже уверен. Гайдебуровская старуха, почему бы и нет? Я хотел закричать, что так не бывает. Что она совсем юная. И юный поворот головы, и тонкая талия, и легкая поступь. Ведь так не бывает. Где-то вдали Сенечка махал полосатой палочкой. Но до рога была пуста. Сенечке не нужно было дирижировать палочкой. В степи дирижеров не бывает. Может, он звал старуху к себе? Или дирижировал нами? Но ведь мы не машины. Хотя... Старуха засмеялась. Она дышала на меня мятой, или лимоном, или и тем и другим... Я хотел закричать, но подавился. Мне показалось, я подавился жизнью. Я громко откашлялся и выплюнул кусок жизни на раскаленный песок. Жизнь была маленькой и круглой, как глобус. Как волейбольный мяч Моргана. На ней были обозначены могилы моих родителей и друзей. И неизвестные могилы тоже. На ней были обозначены философский факультет и пень от березы за окном. И умерший завод, из трубы которого валил пар. И старушка с исхудавшей дворнягой в переходе. И хромой дворник, сжигающий листву. И толстый румяный Гарик Вышкин, бросающий деньги, много денег, в осенний костер. И супермаркет, в котором много, много людей с одинаковыми лицами и одинаковыми пакетами, заполненными мылом. И Тася в плюшевых тапочках с мордочкой мишки красила розовым лаком длинные ногти. А Наполеон разнашивал новые ботинки. А Менделеев продавал чемоданы в антикварной лавке. А Виктор Серж представлял стрелки часов ровно на 0. И Виола пила из

венцианского графина. И черт в нем становился все толще и ярче по мере убывания жидкости. И Роман, так похожий на постаревшего Кая, долбил киркой лед. И Косульки жарили мясо прямо на снегу. И на красном снегу лежали убитые олени, косули и даже свинья. А художник Пукирев исправлял на своей картине «Неравный брак» название, закрашивая приставку «не». И где-то тихонечко хихикал гайдебуровский старик. Но я его не видел. Господи, эта жизнь казалась такой скучной и неинтересной. Если бы не тоненькое, вкрадчивое хихиканье гайдебуровского старика.

Проснулся я от горячего дыхания, которое пахло чаем то ли с мятой, то ли с лимоном. Уж очень знакомое тепло. Особенно когда простужен. Оставалось надеяться, что дышал на меня не Сенечка. Еще чего не хватало! Подкрадываться среди ночи и дышать! И все же я не торопился открывать глаза. Может, опасался, что мне очень понравится это дыхание, родное оно было, что ли. Что ли из детства. Оно согревало мое лицо, и лицо розовело. Хотя вряд ли это было заметно из-за седой, настоящей моей бороды. Мне не казалось все происшедшее дурным сном. Я все отчетливо помнил. Что было вчера, что позавчера, что несколько месяцев назад, когда я совершил убийство. Именно я. А не убили меня, как все утверждают. Явь до мельчайших подробностей пронзала мое сознание. Я по-прежнему не хотел просыпаться, чтобы с ней вновь и вновь не столкнуться. Хотя сон был не из приятных.

Но не мог же я вечно закрывать глаза на действительность. По меньшей мере для этого нужно стать слепым. Наконец я собрался духом и разодрал слипшиеся веки. Не для синонима говорю «слипшиеся», чтобы заменить выражение «открыть глаза». Просто у меня, похоже, начиналась катаракта. Болезнь стариков. Грустная болезнь, как и сама старость. И хоть мне не нравился этот мир ярким, в многообразии цветов, слепым немощным старцем я себе нравился еще меньше. Но мне понравилось то, что я увидел. И действительность постепенно отступала и наступала радость. Которая наверняка ошибочная, как всегда у меня и бывает. И наверняка не настоящая. И наверняка кратковременная. Но в моей бесконечной грусти я этой маленькой радости безумно обрадовался.

Надо мной склонилась Дина. Черноволосая, черноглазая, чернобровая. Так похожая на цыганку. Может, и впрямь она цыганка? Но что бы это изменило? Впрочем, оправдало бы воровство. Как-то цыганам воровать можно, и общественное мнение их не судит.

— Дина! — прошептал я. Но это я так думал, что прошептал. Слишком много громких чувств нахлы-

нуло в миг на меня. И этот миг просто не мог быть тихим.

— Тсс. — Дина приложила указательный палец к губам. — Не кричите так громко!

Честное слово, я хотел кричать тихо!

Дина кивнула в сторону Сенечки. Тот, свернувшись калачиком, крепко спал на раскладушке. И даже сладко посапывал во сне. Он был плохой охранник. Его место — на бурной, кипящей, грохочущей дороге. А не в четырех стенах, где поселилась вечная старость. Даже если старые вещи унесены. Даже если все в цветах, хотя и они уже почти погибли.

— Откуда ты, Дина? И зачем ты? — Мне хотелось добавить, что цыгане не возвращаются. Они все время идут вперед и уходят. Им нельзя возвращаться, слишком много они уносят с собой. Но я лишь крепко сжал ее руки. Снова неточность! Я не мог крепко сжать руки. В моих руках было мало силы. Мое недавнее прошлое было свежим, румяным, здоровым, в отличие от меня. И я не мог с этим смириться. Мои мысли были молодыми, дерзкими, в отличие от меня. И меня это угнетало. Пожатие получилось вялым, безжизненным. И я расстроился.

— Вам нужен адвокат, дорогой. — В ответ Дина сжала мои руки. Крепко сжала. Право, молодость давала на этой ей право. — Не унывайте. Адвокат будет. Он очень, очень дорого стоит. Поэтому я и украла вещи, чтобы потом их продать, если вас будут судить. Похоже, вас судить будут. И вам нужен очень дорогой адвокат.

— Разве он может быть дороже истории? Какая ты еще молоденькая, Дина. — Я не сдержал снисходительной улыбки, на которую способны лишь старые люди. А еще я почему-то расстроился, что она не цыганка. Мне в эту минуту непременно хотелось, чтобы она оказалась цыганкой. И рассказала о своих дорогах. Возможно, мне хотелось побывать там, где я никогда не бывал и уже не буду. И чтобы мысли и мечты бродили вместо меня вместе с табором. Я даже был готов простить мои пропавшие антикварные вещи. Вот, я уже говорю «мои». Впрочем, я их заслужил. Слишком дорого я за них заплатил. Чтобы что-то купить, всегда нужно что-то продать. И чем дороже продаешь, тем дороже и покупаешь. Но сделки, как правило, неоправданны. Поскольку ты продаешь свое. А покупаешь чужое. А кто знает, на пользу ли нам это чужое? И нужно ли вообще? И стоит ли оно нас самих?

— Эх, Дина, Дина, — прохрипел я и закашлялся. Похоже, начинался бронхит. — Можно было бы продать всего один стул от Этель Войнич. Знаешь, она писала на нем своего «Овода». И сам Овод сидел или мог сидеть на этом стуле. У меня всегда было



ощущение временного его отсутствия. Казалось, он вот-вот зайдет, слегка прихрамывая, и займет свое место, чтобы дать отдых своей больной ноге. Может, все это и неправда. Но мне хотелось, чтобы было правдой. В конце концов, что такое правда? Она целиком зависит от нас, нашей фантазии или нашей веры. И этого стула было бы более чем достаточно, чтобы оплатить адвоката.

— Тихо, ну пожалуйста, потише, Сенечка может проснуться, и вы все напортите.

— Да не проснется он. Он слишком молод, чтобы проснуться от шепота в три часа ночи. Ты когда вернешь вещи, Дина? Они мои. И воровать нехорошо такой хорошенькой девушке.

Если бы она оказалась цыганкой, клянусь, я ничего подобного бы не сказал!

— Извините, но я пока не верну. — Дина потупила глазки, словно ее уличили в краже яблок в соседнем саду.

Ох, помнится, как я в детстве ездил к своей бабушке в деревню! И воровал яблоки у ее соседа! Золотое было время! Как золотой ранет. Сочное, прозрачное, как белый налив. Причем яблок у моей бабушки было пруд пруди, их некуда было девать. Они гнили под ногами. Бабушка просто их ведрами выносила и ставила у калитки. Угощайтесь, кому не лень! Но всем было лень. Всем в деревне яблок хватало. Но мы, мальчишки, все равно хотели их воровать. Чтобы никто не видел. Никто не заметил. Чтобы все украдкой. Ноги подкашиваются от страха. И комок в горле: вдруг засекут? Нас заловили лишь один раз. И нам влетело по полной! Хотя яблоки гнили и яблок хватало всем. И никто не жалел яблок. Просто дело было не в яблоках, пожалуй. Дело было в детстве. Золотом, как золотой ранет. И сочным, прозрачным, как белый налив. И моей бабушке, и ее соседу, и всем жителям поселка так почему-то хотелось, чтобы о детстве в деревне остались только самые счастливые воспоминания. Впрочем, они в любом случае были бы самыми счастливыми. Разве можно быть несчастным в яблочном саду?

Но это был не яблочный сад. Это антикварная лавка. И Дина не подросток. И, увы, даже не цыганка. А жаль.

— Поймите же, дорогой, — зашептала Дина, до боли сжав мои руки. — Я не могу пока все вернуть. Честное слово, не могу! Я сама, собственными ушами слышала, как был сговор против вас. Вас по-настоящему хотели обокрасть! И вот тогда... Если бы не я, вы бы уже точно ничегошеньки не вернули. Потому что они говорили... Говорили так, словно подчеркивали важность каждого слова. Что вы... Ну, будто бы убийца и в милицию сообщить побоитесь. Вот так. Они говорили, опять так важно, будто им

нравилась, очень нравилась это мысль. Что убийца вора разыскивать не станет. Ему самому нужно спастись, а не спасать ворованное. Что жизнь дороже вещей. Может, они были правы? Ведь вы на меня не заявили? И мы их обманули. Здорово все вышло, правда?

— Сговор? Они? Кто, кто они, Дина? — Я нахмурился и схватил ее за плечи. — Ты только скажи, кто?

Дина вздохнула. И вытерла капельки пота с открытого лба.

— Если бы я могла знать. Если бы знала. Я тогда на улице торговала. Была такая метель. Помните? Она кружилась, кружилась, и ветер. И ничего не было видно. И я спряталась под навес. И эти слова принесла мне метель, или ветер, не знаю. Во всяком случае, ко мне эти слова дошли уже искаженные, что ли. Ни мужчина, ни женщина, ни старый, ни молодой — ничего не понять. Ветер и метель все искажают. Даже наши лица. Старше мы становимся, что ли. Вы заметили, что цветочницы рано стареют, потому что все время на улице. И при этом их всегда называют девушками. Потому что тех, кто торгует цветами, по-другому трудно назвать. Но... Скажите, дорогой, почему вы на меня не заявили? Почему? Потому что вы убийца или... Или что?

— Или что, Дина, или что. Но что — уже, наверное, не имеет значения. А ты случайно не цыганка? Только цыгане так виртуозно могут все своровать.

— Случайно нет. Но случайно моими друзьями оказались цыгане. Они и впрямь виртуозы.

Уже легче. И все же я не понимал. Впрочем, что тут понимать? Ну, какие-то гастролеры решили поживиться за счет старика. Что тут удивительного. Никто мою лавку не охраняет. А в лавке очень даже много чего. Из-за чего могли и убить. Получается, Дина не только спасла мое драгоценное имущество, но и мою не очень драгоценную жизнь. Благодарить ли ее за это? Или все было бы гораздо проще, если бы не она. Я чувствовал, что у меня нет сил бороться за эту жизнь. Я был слишком стар.

— Мы еще поборемся, дорогой, не переживайте. — Дина положила руку на мою ладонь. Так ласково, нежно. Холодное прикосновение ладони в натопленной комнате. Словно протянула свою жизнь. Чтобы я мог ею воспользоваться. Если своей уже не могу.

— Вы мне верите, дорогой?

— Я не знаю, Дина, не знаю.

— Знаете, сколько мне пришлось бороться! И я сумела! И никогда не отчаивалась. И вы сможете.

— Сколько у меня той жизни, Дина? И даже эта малость вряд ли уже радует.

— А сколько бы ни было! Даже если всего один месяц остался! Что месяц, даже день! Нет, даже

если всего один час! Представьте! Как можно прожить всего час! Можно его проспять, можно проесть! А можно прожить! Знаете, сколько за час можно увидеть! Вы только посмотрите! Даже из вашего замерзшего окна можно увидеть звезды! А звезды в городе — это такая редкость. Пожалуй, они больший раритет, чем все ваши антики. А если мы выйдем на улицу! Мы увидим деревья в снегу, это красиво, честное слово! Мы почувствуем, как снег падает на наши лица! Прохладный, мягкий снег! И фонари! Они освещают улицу, словно солнце, словно луна. И улица уже другая. В снегу, при свете фонарей, она сверкает. Можно даже услышать молчание ночи. Молчание ночи больше говорит, чем все слова, сказанные при свете дня. И еще за этот час мы можем все узнать друг о друге. И как здорово рассказывать друг другу истории своей жизни и растирать продрогшие от холода руки. И растирать замерзшие лица. А потом вернуться в натопленную комнату и поставить на плиту чайник. И ждать его протяжного свиста. Словно ждать поезда, который может унести от всех, всех бед. Разве этого мало? И разве за это не стоит бороться? За один час. У многих вся жизнь не стоит одного такого часа. Глупая, никчемная жизнь.

Я взбодрился и, ей-богу, помолодел, ей-богу сбросил этак годков двадцать. Что с нами делает любовь? Даже если нас не любят, а просто жалеют.

— И что ты предлагаешь, Дина? — Старость цеплялась за молодость. Старость не верила в свои силы.

— Я предлагаю доказать, что вы не кто иной, как Григорий Карманов! Что вы живы-живехоньки! И, следовательно, убийства никакого не было! И быть не могло, если нет даже трупа!

— Дина, Дина, но как? — Мое сердце заколотилось. Комок в горле застрял, как тогда, в детстве, в яблочном саду. И этот комок — целая жизнь. Стоит только откашляться и выплюнуть. Мне вдруг показалось, что я могу умереть. Нет, мне одного часа мало. Мне нужно доказать. И значит, выжить. Чтобы увидеть улицу в свете фонарей. И услышать молчание ночи. И дожидаться гудка паровоза. — Как, Дина, как?

— Сдать свою кровь.

Я вновь постарел в один миг. Сгорбился. И опустил руки вдоль кресла. Господи, как просто. Действительно, просто сдать свою кровь. Это она на глобусе. Это она в подвале. Кровь от случайно порезанного пальца. И как я раньше до этого не додумался? Или не пожелал додуматься? Что я скажу, если сдам кровь? Вернее, что это изменит, если я смогу доказать? Разве что не сяду в тюрьму. А остальное? Я вдруг представил лицо Таси, искаженное торжеством и злобой!

Ее час наступил! Перед ней ее парень! Гришка Карманов, который не захотел жениться на ней! Который ее унижал бедностью и пьянством! Что теперь из него вышло? Уродливый дряхлый старик! Я вдруг представил лицо репортеров, которые, как голодные волки, набросятся на меня. Сенсация века! За пару жалких месяцев молодой цветущий парень превратился в жалкого старикашку! Я даже представил Косулек, которые шарахаются от меня в страхе! Почему-то Косульки меня расстроили до слез. Они даже не захотят рассуждать со мной об искусстве! Я же не аристократичный старик! И Сенечка побоится ко мне забегать. И Роман обледенит мою кровь своим взглядом. Он повзрослевший Кай, он это сумеет. А Дина... Что скажет Дина, если это окажется правдой? Если я и есть тот парень, в которого она влюбилась с первого взгляда? Дина, господи, я не подумал! Дина! Почему она это сказала?! Спасти, если сдать кровь! Она же ничего не знает и знать не может!

— Дина, но если я не Гришка Карманов, как я могу сдать кровь?

— Но ведь ты он, — вдруг тихо, и просто, и очень уверенно сказала Дина.

Но ее слова прозвучали как взрыв петарды, нет, бомбы, как грохот тысячи, миллионов орудий. Я похолодел. Мое сердце вообще куда-то провалилось. И я уже не пытался отыскать свое сердце. Мне даже показалось, что лучше сейчас умереть. Лучше потерять сердце, чем остатки здравого смысла.

— Я знаю, что ты — это он. Об этом, возможно, только я и знаю.

— Откуда, Дина? — Я нахмурился. Очень уж мне все это не нравилось.

— У вас совсем другие глаза. Совсем не такие, как у старика. Вроде и цвет похож, только у вас они светло-зеленые, а у него дремуче-болотные. Но даже не это. Даже не в глазах дело, во взгляде, что ли. У него он был... Немного пьяный, даже неприятный. Что-то отталкивающее было в его взгляде. Знаете, как говорят — с поволокой. Но обычно это говорят в хорошем смысле. Для старика эта поволока была дурным смыслом. Словно он все время что-то замышлял. Плохое замышлял. Знаете, можно подделывать все что угодно. Люди в принципе не так уж и отличаются друг от друга. Особенно если они одного роста, примерно одного телосложения. И на лице борода и усы. Кто особенно будет вникать в другие подробности лица, возраста, разве не так? А вот глаза... Их невозможно подделать. В них, наверное, скрывается все. Вернее, в них ничего скрыть нельзя, вы не находите?

— В таком случае... Все равно странно. А Косульки? А Сенечка? Господи, да ладно они, они люди





и простодушные, и бесхитростные в некотором смысле...

— Точнее, глуповатые, — уточнила Дина.

— Пусть так. Но Элеонора Викентьевна! Это же невозможно! Она старика знала сто лет! И у меня подозрение, что все эти сто лет она была в него влюблена на все сто! И не меньше! Она была на нем помешана! Она его боготворила и цитировала, как классика антикварного жанра! Она пела ему дифирамбы и не пропустила ни одной щели с пылью! У нее наверняка была тайная мечта женить его на себе! И кто знает, вдруг у них что-то было! Ну хотя бы в молодости! В молодости часто что-то бывает! И он, возможно в силу характера, забыл, а она... Она запомнила на всю жизнь эту мгновенную любовь! И чтобы она... И не узнала взгляд! Да этого просто не может быть!

— А вы, сколько вы были знакомы с Элеонорой Викентьевной?

— Ну, я видел ее один раз...

— Один! — Дина торжественно подняла палец вверх. — Один! И скажите, она на вас смотрела? В упор?

— Ну... — Я наморщил и без того морщинистый лоб. Я задумался. — Нет, пожалуй, нет, ни разу. Она все время говорила, говорила, но так ни разу и не посмотрела на меня. И меня это обрадовало. Она, наверное, не смотрит на собеседников. Знаете, есть такие люди... главное, им говорить, а ответ вовсе не обязателен. Иногда он только раздражает...

— Скорее, влюбленные люди! И, скорее всего, вы правы. Она была влюблена. И когда-то у нее что-то с ним было. И до сих пор она не могла посмотреть ему прямо в глаза. Настолько любила! Вы представляете! Она тоже анахронизм, эта Викентьевна! Тоже антик и раритет! До сих пор ей было и стыдно,

и радостно. От стыда она готова была уйти от старика. Но чувство радости при виде его все превышало. И она вновь и вновь оставалась. Она была в некотором роде заложницей любви. И заложницей антиквара, который превратил ее в служанку.

— Получается, никто, никто не узнал меня, кроме вас? Но почему, Дина? Ведь вы видели меня... Мельком, случайно... И запомнили взгляд?

Дина улыбнулась. По-детски, ямочками на щеках.

— Как будто, чтобы запомнить взгляд, нужна вечность. Или пуд соли с вами съесть. У меня хорошая память на лица. Я ведь продаю, ни больше ни меньше, цветы. Я в некотором роде психолог. Я по лицам определяю, для чего человеку цветы. На лицах все написано. Для похорон, для свадьбы, дня рождения, для примирения. Даже для разрыва! Или развода! И то могу угадать! Желтые всегда в точку попадают! А скорее, холодные хризантемы или официальные гвоздики. Что означает — прощай навсегда! Знаете, люди ведь не хотят с нами вступать в контакт. А многим просто неловко распахивать свою жизнь, вернее, показывать ее отрезок. Вот самой и приходится угадывать.

— Я понятия не имел, что для развода нужны цветы.

— А для похорон нужны? Ну, если по сути. Вот так же и для развода. Вообще, это красиво. Развод с цветами. Но такие чудачки не так часто попадаются. Скорее, виноватые чудачки.

— Представляю, как бывшая жена его этими хризантемами...

— А вот это уже послесловие. Меня это не касается. Я ведь только предисловие для этой семейной сцены. А занавес опускаю не я.

*Продолжение следует.*





## **СНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ, или ПОЛУЗАБЫТЫЕ СНЫ**

(Воспоминания Михаила Моргулиса. Начаты в 2008 году, в августе)

### **Моя ячейка общества**

Много лет подряд повторяю: Родину и родственников не выбирают! Что есть, то есть.

Вы не хуже меня знаете, что все литераторы рассказывают о своих семьях с почтением, иногда с дрожью в строчках, с невероятной теплотой и сладостью. Во время такого карамельного повествования о близких и дальних родственниках предполагается, что литераторы с трудом сдерживают скупую писательскую слезу. Естественно, во время этого душещипательного процесса никто уже не вспоминает о грандиозных скандалах, нецензурных выражениях, сплетнях, обидах и тому подобном. При напоминании о драках и предательствах все пишущие уходят в глубокую несознанку.

Под старость вспоминать далекое прошлое легче, чем вчерашний день. Был у меня друг, писатель Родион Михайлович Березов (настоящая фамилия Акульшин), я о нем еще напишу. Было ему уже годков девяносто два или что-то возле этого. Я спросил у него: «Родион Михайлович, чего вспоминается больше всего?» Он говорит: «Себя вспоминаю, когда мне было годков шесть... Стою я, вот как сейчас, в Волге, по пояс в журчащей воде, и чувствую, как под ногами камешки речные перекатываются...» А надо сказать, что к тому времени одна нога была у него ампутирована. Вот что значит жизнь и память...

Попросили и меня вспомнить о тех славных людях, которым судьба назначила быть моими родственниками.

Как говорили при коммунизме, семья — это ячейка общества. Вот я и попробую вспомнить всех, кто попал в эту ячейку. Наверное, в представителях

моей семьи отразился и я. В общем, наша внешне тихая семья была прекрасна в проявлении своих разнообразных ценностей.

Перед началом записей заранее прошу всех живых и ушедших простить меня, если интерпретация виденного мной не совпадает с их желаниями видеть себя умными, чистыми и благородными. Но я уверен, будущие поколения будут узнавать о нашей жизни не через конституции стран и политические речи, а по письмам людей друг к другу, по честным рассказам о тех, кто был рядом с тобой и назывался — человеком, живущим на планете Земля. Поэтому во имя будущего поколения надо иногда писать правду.

Первым вспоминаю деда по отцовской линии. Это был удивительный дед. Он рубил и продавал лес. Жил в старинном украинском городе Белая Церковь. Вот он на фотографии: жесткое лицо, короткая борода, прищуренный на жизнь взгляд. А вот у бабушки, тоже видел на фото, были длинные, до пояса волосы. Каштановые, слегка вьющие. С дедом работали несколько лесорубов. На обед он приходил домой. Бабушка заранее готовила стол. Она знала, что на нем должно находиться: бутылка водки, бутылка подсолнечного масла и кастрюля горячего борща. Дед крикал, стоя выпивал из горла пол-литра водки, потом, также из горла, пол-литра подсолнечного масла, снова крикал, затем усаживался и съедал три огромные миски борща. Заканчивал трапезу разгрызанием борщевой кости с хрящом. После этого ложился спать на сундук, подложив под голову кулак. Дико храпя, спал ровно час, вставал и шел дальше



пилить, рубить и валить деревья. За всю жизнь он был лишь один раз в театре. И смотрел «Гамлета». Про появляющихся тогда революционеров говорил: «Они все хотят стать гамлетами...»

Когда ему было восемьдесят три года, умерла жена, моя бабушка с длинными каштановыми волосами. Дед горевал, но недолго. И потом решил жениться. Детям, по их рассказам, он сказал: «Жизнь у меня стала проходить очень быстро. И я хочу успеть пожить еще с кем-то...» «Кем-то» оказалась молдаванка с игристыми глазами, младше деда на пятьдесят лет. Как выяснилось, почти все деньги дед вложил в бриллиантовые камни и где-то их прятал. Во время интимного момента в их отношениях молдаванка выяснила, где дед прячет камни, и отравила его. Вот так закончилась для него желание пожить еще.

Мать рассказывала, что дед никогда не произносил красивых слов. Но молча помогал людям, привозя на телеге одно и то же: мешок муки и бутылку подсолнечного масла. Благодарности не любил, сгружал во дворе и быстро уезжал.

Много лет спустя я стал часто повторять фразу «Принимайте каждый день, как подарок сверху. С дождем и ветром, с бурей и снегом, любой день — это бесплатный дар с неба. И поэтому радуйтесь каждому дню!»

Может быть, это пришло ко мне от деда.

Мой второй дед был делопроизводителем. На работе он носил шелковые нарукавники. Любил, когда приходил в гости его отец и щекотал белой бородой пятерых внуков. Они смеялись и хватали прадеда за длинную белоснежную бороду.

Мой дед признавался, что часто задумывается, почему Бог дал ему пять дочерей и ни одного сына. К концу жизни он вроде бы получил ответ, в котором говорилось, что дед не выполнил что-то очень важное в жизни. И он грустно об этом рассказывал: «Это за то, что я не всех любил и многих не уважал...»

Бедный дед не знал, что эти рассуждения делали его похожим на праведника.

Кроме этого, он был чрезвычайно аккуратен. Все, от носовых платков до простыней, должно было быть белоснежным. Он ползал по кухне с тряпкой и проверял, нет ли пыли на карнизах. И когда находил ее, подолгу вздыхал и говорил бабушке: «Ну вот, нам только остается задохнуться в грязи...» Если стрелка на его брюках была не слишком острой, дед закатывал глаза и стонал от позора.

Однажды он собрал бабушку с пятью дочерьми и сказал им: «Пока мы на этом свете, надо проявлять любовь. А на том свете ее проявлять не надо. Там ее будут считать... Поэтому старайтесь любить в этой жизни...»

У деда обнаружили рак. Тогда вообще не могли бороться с этой страшной напастью. Дед шел в больницу на операцию. Думаю, предполагал, что не вернется. И, тем не менее, он полчаса чистил и полировал ботинки. Потом сказал: «Наверное, это все», — всех поцеловал и не вернулся.

Перед смертью он попросил ровно поставить его тапочки. Последними его словами были: «Ах! Вот оно что!»

Потом одна из его дочерей писала стихи, в них были такие строчки о нем:

Кто праведник, ответь: монах, раввин, мулла?

Нет, тот, лишь в ком любовь жила...

Моя бедная любимая мама считала предназначенностью своей жизни уничтожение тараканов. Она, как и ее вышеописанный отец, добивалась стерильной чистоты во всем. Ее борьба проходила без компромиссов и перемирия. Она была санитарным врачом, и разные паразиты и грызуны, именовавшиеся разносчиками заразы, считали ее своим главным врагом. Наверное, в их крысино-мышьино-тараканьем эпосе она фигурировала в образе кровожадного чудовища. Моя маленькая, наивная и полностью добрая мама...

Принесенного мной котенка она помыла несколько раз. Потом протерла его керосином. В результате котенок три дня мяукал, а потом в отчаянии свалился с балконного карниза.

После войны в нашем доме работали пленные немцы. Время было голодное. Я не помню себя сытым. Как уже вспоминал раньше, по ночам мне постоянно снилась сковорода, полная скворчащих котлет. Мама говорила о немцах: «Они убили половину нашей семьи». Потом давала мне несколько вареных картофелин и говорила: «Отнеси им, но не дай бог кто увидит, что мы помогаем врагам».

Она стала давать мне эти картофелины после того, как узнала, что я отдаю пленному немцу Гансу половину своего ужина, то есть одну из двух картошек, и пол-ломтя хлеба. Ганс казался мне очень старым, ему было около сорока лет. Он показывал мне фотографию своей семьи, где стояла дородная немка с пятью детьми. Я понимал, что он был крестьянином. Ганс повторял: «Киндер, киндер...» Поплавав, он говорил: «Гитлер капут!» Нам было голодно, а им было еще голодней. Пятеро пленных немцев носили на поясе маленькие мешочки, где хранили сушеные зерна кукурузы. Эти зерна они сосали, и это помогало преодолевать им чувство голода. Как-то Ганс отсыпал мне горстку этих зерен. Мама, узнав об этом, сказала: «Немедленно выброси. Они враги. Они отравят тебя». Но я не выбросил, сосал зерна и не отравился. И однажды во время ужина я положил

в карман одну вареную картошку и кусочек хлеба и отнес это Гансу. Когда я передал ему это, он посмотрел на меня так, что я помню этот взгляд шестьдесят лет. Он ничего не сказал, он просто смотрел, и по его некрасивой щеке поползла слеза. А я не понимал, почему он плачет. Только спустя много лет я сообщил, что совершил, наверное, свой первый христианский поступок. Или какой еще? Человеческий?

Моя мама верила всяким небылицам и потом рассказывала эту ерунду нам. Когда узнавала, что это было неправдой, вздыхала: «Как красиво научились люди придумывать...»

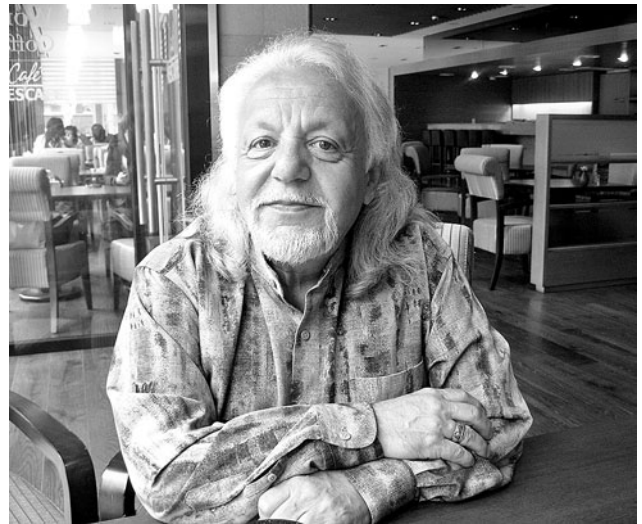
В те тяжкие послевоенные годы у женщин были в моде огромные береты. В магазинах их не продавали. Маме сшили берет частным образом, по-моему, за пятьдесят рублей, это было много. Мама надела его и пошла в гости. Через десять минут влетела в квартиру с жутким криком: «Несчастье, случилось несчастье!» Тогда каждый день арестовывали людей. У отца побелели нос и щеки. Мама сообщила, что ветром с нее сорвало берет, и он упал в лужу. Она держала в руках виновника несчастья. Папа принял двойную дозу нитроглицерина.

Мама откровенно любила добрых и откровенно ненавидела злых. Про злых говорила: «Это разве люди...»

Я до сих пор разговариваю с ней. Она, как маленькая звездочка, прилетает к нам вечерами, беспокоится и любит. Моя бедная любимая мама...

Перед самым своим уходом она рассказала мне семейную тайну. Когда моей красивой прабабушке было семнадцать лет, она убежала из дома с итальянским архитектором, строившим в городе, кажется, больницу. И убежали они на север Италии. За это прабабушкина консервативная семья навеки прокляла ее. Через год прабабушка вернулась, согнутая от горя и с ребенком на руках. Этим ребенком была моя бабушка. Некоторое время семья крепилась, но сердце ведь не камень, и проклятую снова приняли в семейное лоно. Теперь, когда я смотрю на старшего сына, на его привычки и внешность, вспоминаю печальную и поучительную историю своей прабабушки. И вижу, что поездка его прапрабабушки в Италию даром для него не прошла.

Был у меня невероятный дядя, горец из Грузии, произносивший за столом бесконечные тосты. Он участвовал в войне с нацистами, вернулся капитаном, привез телегу с саксонским фарфором. Носил длинные, свисающие усы. Был добрым и щедрым человеком. Но когда начались послевоенные аресты, дядя испугался на всю жизнь. И очень крепко испугался. Он искренне думал, что Сталин борется с окружившими его врагами. Враги были загримированы, законспирированы, хитры, лукавы и подлы,



*Михаил Моргулис. Сеул, 2011 г.*

но сталинские соколы-чекисты их выковыривали из дыр и прочих насиженных мест. Обо всем этом дядя говорил в первой части своих горячих тостов. А говоря по-простому, думаю, что дядя страшно боялся Сталина, как, к примеру, боялись дикие люди разгневанного бога, метящего грома из разверзшихся небес. Дядя, как и почти все, не знал, что это пахан, пускает кровь народу для того, чтобы народ боялся его и боялся самой жизни. Ах, дядя, перефразируя Пушкина, самых нечестных, вернее, несчастных правил... Вообще сохранялись ли после таких всенародных испугов в нем и в других людях правила из нормальной жизни?

Думаю, что карающие глаза пахана Сталина всегда нависали над ним. И скоро бравый капитан полностью превратился в испуганного служителя овощной базы.

После такого превращения в дяде появилась исключительно редкая особенность. Он стал петь по ночам. Причем он никогда не пел днем или вечером. Не знаю, боялся Сталина или из-за отсутствия способностей... А вот по ночам такие концерты устраивал, окна закрывали, чтобы соседей не будить. Причем в ночном репертуаре у него были только песни, славословящие Сталина, и общегероические. Однажды я у них ночевал и все прослушал. Начинался концерт с песни «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем...», потом шла хоровая песня «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет...», потом шел марш юных нахимовцев, где была строчка «Потому что мы Сталина дети...».

Когда это у дяди только начиналось, жена его заснуть не могла, мучилась, но потом привыкла и во время ночных сталинских шоу спокойно спала. Дядя от своих песен никогда не просыпался. Причем





С Жириновским о наболевшем...

утром, когда заговаривали об этой его особенности, дядя никому не верил. Он говорил: «Как же так, я даже слов этих песен не знаю». Потом испуганно добавлял: «Этих прекрасных песен...»

Когда появились магнитофоны, дядино пение ночью записали и утром дали ему прослушать. Дядя послушал и, вращая крупными белками глаз, заявил: «Так красиво я петь не умею...»

Страна праздновала семидесятилетие Сталина. Со всех концов хану везли в Кремль подарки. Фактически ему дарили все, каждая фабрика, каждый колхоз. Не подарить было уже невозможно. Не подарить мог только враг народа. Это был какой-то повальный, необратимый процесс ввозимой в столицу дани. И везли в Москву узбекские ковры, белорусские комбайны, армянских скакунов, хрусталь, мотоциклы. По всей стране заседали райкомы партии, где ломали голову, что подарить гению всего человечества. Не подарить — смерть, подарить не то, что нужно, — смерть. Это была настоящая русская рулетка в масштабах всей страны. Организация под названием «Плодоовощторг» Киева, где трудился дядя, единодушно решила послать в подарок вождю вагон украинских помидоров. И повезти их доверили дяде, коммунисту с большим стажем. В Москве вагон с помидорами и дядей загнали в тупик, где уже стояло бесконечное количество составов с подарками. Дядя пытался возражать, мол, помидоры сгниют, как же их потом предлагать вождю... На это ему ответили, что если он сам не хочет сгнить, пусть отсюда уматывает... Дядя умотал. Какими-то правдами и неправдами ему удалось попасть на галерку Кремлевского дворца, где выступал Сталин. Скромное чудовище благодарило за подарки и за любовь к нему. Издалека дядя видел только малюсенького человечка и слышал нечленораздельные звуки репродукторов.

После возвращения домой дядя собрал всю семью. Он был так торжественен, что становилось страшно. Все стояли молча, как на похоронах, и ждали. Дядя поднял рюмку: «Дорогой, любимый, вечный... Он сказал, поблагодарил меня и других за подарки... Он смотрел на нас, как горный орел... Он...» И дядя заплакал, ибо не мог по-другому передать чувств, а слов не хватало. И все родственники, ставшие на секунду мужественными, сдвинули рюмки и посмотрели вокруг орлиными взглядами.

После этого я написал стихотворение, в котором были такие строчки: «И тогда маленький Сосо (Сталин), видя ужасы все, спросил, почему работают одни, а другие живут на их крови...»

А дядя после этого начал медленно сходить с ума. Эта роковая встреча оказалась для его разума непосильной. Он продолжал петь по ночам, но теперь между песнями произносил тосты. А потом навсегда ушел в себя. Иногда мог встрепенуться и сказать: «Смерть предателям родины!»

Ах, милый дядя, исковерканный паханами, праящими советским концлагерем под названием СССР.

Его жена каждые три месяца была вынуждена менять замки и двери квартиры. Заперев дверь, она, проверяя надежность запоров, с силой и по много раз рвала на себя дверную ручку. Доходя до ворот двора, она возвращалась обратно и еще раз пятнадцать проделывала то же. Уходила, доходила до угла улицы, задумывалась, снова возвращалась и опять зверски тянула двери на себя. Естественно, замки, двери и дверные ручки выходили из строя каждые три месяца.

Она помогала всем сестрам, любила людей практически. Одним давала одеяло, другим два куриных крыла на суп, третьим косынку, четвертым облезлую меховую шапку. Не зная этого, жила по высоким христианским правилам: всегда есть чем пожертвовать, если этого хочешь. Вообще, подумал я сейчас, то униженное поколение не говорило в быту красивые слова, а старалось из последних сил помочь друг другу. Как друзья, попавшие в один лагерь... Вертухай стояли на каждом углу, но, помогая другим, люди сохраняли себя...

Был у меня еще один дядя, покрытый тайнами прошлого. Говорили, был чекистом. Он носил кожаную куртку и сапоги, а в минуты расслабления надевал на босу ногу галоши. Ежедневно прочитывал один шпионский роман. Тогда популярны были книги о советском разведчике майоре Пронине. Дядя читал, но ничего не запоминал. Изредка намекал, что Пронина встречал раньше и разговаривал с ним на тему, как ловить диверсантов.

По вечерам ему везде чудились шпионы. Он ходил по двору с топором, пугая соседей. Заглядывал

за штабеля дров, открывал бочки, заходил в дворовую уборную. Не найдя никого, он кричал в темные окна: «Затаились! Гады, вредители, враги трудового народа...» И снова шел перечитывать похождения Пронина.

У него была дочь, пышная блондинка. За ней ухаживали сразу три кавалера, три модных по тем временам парня: Гриша, Митя и Борис. У всех были узенькие усы и зализанные набриолиненные волосы. Все трое смотрели на мир томными глазами. А дочь любила выпить уксус и громко завалиться в обморок. Устраивались небольшие застолья. После выпитой водки Митя вытаскивал аккордеон и пел «Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...» И так далее. А на коду, глядя в потолок, завывал: «Перестаньте рыдать надо мной, журавли...» Потом я узнал, что это песня исполнялась Вертинским и Лещенко (не советским Львом, а эмигрантским, у которого был оркестр «Дубина») и что белые эмигранты, когда слышали эту песню, вставали и плакали. Когда Митя переставал надсадно и слезливо выть, у многих на глазах также были слезы, а дядя брал топор и с негодованием обходил ряды слушателей.

Славился дядя и тем, как вырывал себе зубы. Врачей не признавал. Подходил к зеркалу, захватывал плоскогубцами зуб, мычал себе «держись!» и отчаянно тянул в сторону плоскогубцы.

Однажды я принес ему книгу Стефана Цвейга, и он осмысленно посмотрел на меня. Потом дал мне закурить тоненькую папиросу «Ракета» и сам закурил, их называли «туберкулезными палочками». Дядя затянулся и сказал: «Не знать бы тебе то, что было и что видел я. Я не хочу, чтобы где-то была жизнь лучше... это несправедливо...» Он нашарил под табуреткой чекушку, оторвал алюминиевую крышечку и жадно выпил всю. Потом отдышался и сказал спокойно: «Тем, кто погиб, лучше не будет... И тем, кто живет, не должно быть лучше». На нем были галоши на босу ногу и почти беззубый и безумный рот.

Потом Господь учил меня любить всех. Но Сталина и его банду убийц, изуродовавших сознание миллионов людей, научиться любить оказалось невероятно трудно, иногда невозможно.

Еще был один дядя. Слабостью были крупные девушки. Однажды его увидели в кабине подъемного крана, где он на высоте шестиэтажного дома занимался любовью с крановщицей. За это его прорабатывали на партийном собрании. Один из пунктов обвинения, которое ему предъявили, гласил — «несоблюдение правил техники безопасности на высоте».



*С Вячеславом Полуниным о грустном и смешном...*

Дядя чинил телевизоры, ходил по вызовам, и клиентки иногда относились к нему положительно. Но как он попал в кабину подъемного крана, для меня до сих пор остается загадкой.

Еще один странный эпизод. Однажды этот дядя не вернулся домой. Обзвонили милицию и скорую помощь — нет его. Собрались все тети с его женой и стали оплакивать как без вести пропавшего в мирное советское время. Во время рыданий одна из тетей предложила позвонить домой его приятелю. Позвонили. Подняла трубку жена приятеля и спокойно сообщила, что ее муж с моим дядей поехали отдыхать в дом отдыха «Спартак». Жена взвилась, за ней тетки. Поехали в «Спартак», нашли дядю с приятелем в обществе выпивших крупных доярок. Большой хозяйственной сумкой жена в горячке нанесла дяде болезненные раны. Забинтованного и притихшего, его торжественно вернули домой.

Через много лет в Америку приехал его сын, очень простой и добрый парень, считавший себя крупным специалистом в области поэзии. Однажды я стал свидетелем его спора с начитанной дамой. Он ей говорил: «Не тыкайте в мене Евтушенку, Адам Мицкевич до мене гораздо ближе!» Он ремонтировал обогревательные приборы, видимо, пошел в отца. Как-то он пришел в гости, задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Я проверю, как работают обогревательные устройства в твоём доме. Бесплатно! Мы ж все-таки родственники». Я пытался объяснить, что дом обогревается хорошо. Но он недоверчиво засмеялся и со словами «Не говори гоп!» полез в подвал. Через десять минут раздался взрыв. Знарок поэзии вылез из подвала с испуганным лицом, черным от гари. Пробираясь ползком к выходу, он повторял: «Это было до мене...» Я заметил спрятавшегося за креслом его партнера, тот прикрывался пыжиковой шапкой. Сын дяди оказался и юмори-





стом. Через много лет, приехав из Америки в Киев, он решил пошутить со старым товарищем, позвонил ему и, изменив голос, сказал: «Ну что гад, попался! Мы тебя два года вычислить не могли! Теперь не отвертись!» После долгой тишины на другом конце он радостно признался: «Это я!» И очень удивился, что ему не обрадовались. Потом он мне рассказывал: «Я всех корешей пригласил в кафе, и этого, которого так удачно разыграл. Но что интересно, он за вечер ни слова не сказал. Видно, по мне истосковался...»

Был у меня также родственник, который тоже казался мне дядей. Когда мы с женой Татьяной Титовой уезжали в Америку, он позвал меня к себе домой и убежденно загнусавил: «Это твоё дело, если хочешь подвергнуть себя мучениям и голоду. Но как ты можешь подвергать мучениям и голоду жену с дочкой! Ты уезжаешь в Америку, где страшный голод! Там еще больший голод, чем в Канаде!» Я поинтересовался: «Как может быть голод в Канаде, если СССР покупает у них пшеницу?» Вопрос был для него непосильным. И он продолжал заклинать: «Ты обрекаешь ребенка и жену на голод!»

Через пять лет я приехал в Киев и увидел снова его сонное лицо. Он попросил денег, чтобы купить семье вещи для отъезда в Америку. «А ты не боишься опухнуть от голода?» — поинтересовался я. Сонное лицо вздохнуло: «Была серьезная дезинформация». Я вспомнил слова своего профессора Леонида Денисовича, который, провожая взглядом некоторых людей, тихо приговаривал: «Какой болван!» Потом этот не то дядя, не то кто писал мне из Киева в Америку зашифрованные письма, называя деньги почему-то цветочками и ягодками: «Ты нам дал в Киеве цветочки, а нам нужны еще ягодки». Расшифровывалось это так: «Твоих денег не хватило, передай больше». Приехал он в Америку с огромным багажом, в котором одной туалетной бумаги было с запасом на три года. А я вспомнил, как я приехал: с двумя чемоданами, беременной женой и крошечной дочкой. В Америке он не работал, получал пособие, как психически больной, хотя был здоровый. Но на обследованиях притворялся, пел песни, ковырялся в носу, возможно, рисовал на животике матрешки. В общем, советская выучка его не подвела.

Еще у меня были и совсем другие дядя с тетей. Я и их, как родину, не выбирал. Эти жили в Ленинграде, такие ленинградские наследники ильфо-петровского миллионера Корейко. Дядя был ювелиром-часовщиком. Деньги наваривал серьезные. Но все должны были видеть, какие они бедные. В шкафу у него было пятьдесят пар обуви, но он принципиально получал бесплатную обувь для инвалидов, прошедших войну. В этих уродливых чунях он выходил во двор

и показывал их страдающему от похмелья дворнику. Дворник мычал о несчастных жертвах войны и просил на чекушку. Дядя, зарабатывающий миллионы, вытряхивал из кармана мелочь и подсчитывал ее вместе с дворником. Однажды их сын позвонил мне и сказал: «Дядя Миша, сядьте!» «На сколько лет?» — поинтересовался я. Он юмора не понял и повторил: «Дядя Миша, сядьте, у нас будет обыск».

На пару дней я приехал из Америки в Ленинград. Сын встретил, припарковал машину за пять углов до дома: «Чтоб соседи машину не видели». По дороге спросил: «Вы любите красную рыбу?» «Люблю», — искренне ответил я. «Скоро будем кушать, я купил для вас». «А где же она?» — глядя на его пустые руки, поинтересовался я. Он сквозь зубы ответил: «У меня на груди, под рубашкой, чтобы соседи не завидовали и не писали доносы». Я вспомнил, как Лев Халиф носил на груди бифштексы, и заулыбался. Племянник разнервничался: «Сделайте строгое лицо. Пусть все видят, что нам трудно жить...»

Через несколько лет меня обвинили в смерти его отца, дяди-ювелира. А дело было так. Сын, который нес на груди рыбу, разошелся с женой из-за того, что та неосторожно сожгла на плите его любимую кастрюлю. Это страшная потеря повлияла на его чувства, и в результате произошел развод, и ранее родившийся ребенок жил теперь с бывшей женой. Но во времена безоблачного счастья, еще до злополучного сожжения кастрюли и развода, семья в полном составе подала заявление на отъезд в Америку. В посольстве США о трагедии с кастрюлей и последующем разводе не знали и поэтому выдали разрешения всем записанным в анкетах, в том числе покинутой жене и отвергнутому ребенку. Сын ювелира приехал в Москву, куда в то время на пару недель я прилетел из Америки. Он задавал те же вопросы, что и Чернышевский с Лениным: «Что делать?» Я честно ответил, пусть едут все вместе, так как если идти в посольство и все объяснять, то волынка с отъездом затянется еще на пять лет. Да и неплохо получится, его ребенок выедет на Запад. Он вернулся в Ленинград и рассказал о моем совете папе и маме. Папа страшно возмутился, резко взмахнул рукой, громко крикнул «Никогда!», ударил рукой по столу и в тот же момент помер. Так я оказался заочным убийцей своего ленинградского родственника. Но надо сказать, что жена его сына, брошенная из-за трагедии с кастрюлей, все же выехала с ребенком в Америку. Что дало дополнительный повод жене покойного ювелира всех нас называть убийцами. У нее это событие ассоциировалось с убийством Кирова Сталиным.

Помню, еще до этих потрясений они попросили меня вывезти из СССР драгоценности. Я вывез пару

колец, а потом отказался от этого Остапобендеровского проекта. Моя телепрограмма передавалась по Четвертому государственному каналу, люди узнавали, на таможне могли однажды проверить и накопили бы компромат. Я посоветовал им попросить о помощи учительницу из московского университета, которая по программе обмена выезжала со студентами в Америку. Они встретились с ней, пообещали хорошо заплатить, и та согласилась, распределила среди студентов драгоценности и на себя навешала, где только было можно и даже нельзя. Сами понимаете, как рисковала. Заметьте, никто ничего себе не взял. Это в то безденежное время! В Америке всю грудку ценностей передали по адресату. Вернулась учительница в Россию и пошла за крупным вознаграждением. В торжественной обстановке ей вручили подарок — чашку. Она охнула, но к счастью, не свалилась. Когда я в очередной раз приехал в Россию, она попросила меня вернуть за моих родственников деньги. Я вернул две тысячи долларов.

Когда эта поредевшая жадная семья прилетела в Америку и завладела вывезенным для них богатством, я крайне деликатно попросил вернуть мне деньги. В ответ на эти слова мать с сыном одновременно совершили парный прыжок и грохнулись на кровать, на бежевое покрывало. Не сговариваясь, молча, вот так просто, без репетиции, как в профессиональном цирке, взвились одновременно в воздух и спикировали на кровать. Но в полете еще успевали заламывать руки. Естественно, после такого сальтомортале вопрос о деньгах больше мной не поднимался.

Еще один дядя — украинец. Ректор института. Потерял на войне ногу, протез не носил, прыгал на костылях. Во время застолья в нем закипала национальная гордость. И несмотря на то, что за столом сидели русские, евреи, грузины, то есть все члены семьи, он начинал кричать: «Во всем виноваты жида и москаля!» Взгляд его останавливался на дяде-грузине, и он громко удивлялся: «А ты как сюда попал?!» Его осудили за национализм и уволили с должности ректора. После этого как-то он сидел у нас, ел картошку и пил водку. Посмотрел на меня и говорит: «Самая лучшая семья на Украине — это наша». Допил водку и добавил: «Смешанная! Вот так! И пусть меня садят в кутузку».

Помню друга отца, военного врача Ивана Зиновьевича Архимовича. Был он у нас в гостях. А я в

это время попросил поесть. Мне не дали. Мама сказала: «Детям это вредно!» В то голодное время если отдавали одному, не хватало другому. Но мы этого с Иваном Зиновьевичем не поняли. Он подозвал меня и стал шептать по-украински: «Даю тебе наказ для життя. Ишь все, але небогато. Твий шлунок знае, що тебе потрібно. Все ишь — сальце, цыбульку, вса, але небогато, и тоди завжды будэш здоровэнький!»

Вот так всю жизнь я и ем. Все! Але небогато, то есть не очень много. Откроюсь, и фрукты всю жизнь ел немывыми. И пока ничего. Видите ли, смерть такая дама, она по каким-то другим критериям, по другим правилам выбирает. Вон мои друзья и мыли все, и мясо белое куриное ели, а рак подобрался. Где ж тут логику искать. И сам не ищущу и вам не советую.

Было мне лет восемь. Как-то я был в гостях у друга, залезли с ним на крышу, и свалился я со второго этажа дома на бульжную мостовую. Что мы делали на крыше, не помню. Но, наверное, не подражали древним японцам, прохаживающимся на тенистых крышах самурайских поместий. Результат пике — сотрясение мозга. Врач намекнул, есть подозрение, что это повлияет на мои умственные способности. Мама задумчиво смотрит на меня и задает вопросы на проверку: где я нахожусь, кто я, что со мной произошло?

В общем, все как-то обошлось, но иногда я рассматриваю все вокруг меня в этой жизни и снова задаю себе маминь вопросы: где я нахожусь, кто я, что со мной произошло?

А еще вспомнил, как на Днепре провалился под лед. На мне было толстое пальто, пошитое из каких-то тяжелых кусков материи, его сварганил нетрезвый дворовый портной грек Дионисий. Пальто тянуло на дно, а я сопротивлялся. Но оно расчетливо тянуло и тянуло вниз. И вдруг мне стало все равно. Перед глазами появился незнакомый дедушка, он ласковым голосом звал к себе. Но неожиданно что-то осветило меня, и я стал мудрым. И отчетливо вспомнил, что надо делать, когда проваливаешься под лед. Чей-то знакомый голос говорил мне: «Не цепляйся за края. Ползи, заползай на лед, осторожно, кричи, но не барахтайся. Когда нет сил, вздохни! И снова старайся». Так я и делал. Проходил мимо человек. Протянул мне жердь, я ухватился, он вытащил меня. Кто же был этот старичок, звавший меня к себе? И кто помог мне стать мудрым? И кто послал человека с жердью в это безлюдное место?

*Продолжение следует.*



*Томас Бейли Олдрич (1836–1907) — североамериканский писатель, поэт и новеллист. Известен в первую очередь лирическими стихотворениями и детскими рассказами. Автор популярной в свое время повести «Рассказ о плохом мальчике», в духе которой написаны детские книги Марка Твена. На русский язык почти не переводился.*

Евгений НИКИТИН



## МАЛЕНЬКИЙ СКРИПАЧ

*О нем прочтя, пусть стар и млад  
Рыдают ныне  
И знают: он не виноват  
В своей кончине.*

Бен Джонсон. Эпитафия на С. П.,  
дитя певческой капеллы королевы Елизаветы  
(перевод В. В. Лунина)

Эту историю придумал не я. В моем воображении не родился бы и вполнину столь трогательный рассказ.

Наверняка кто-нибудь из вас слышал о Джеймсе Спайите, маленьком скрипаче по прозвищу Юный Америкус. Насколько мне известно, родился он в Лондоне, но в четырехлетнем возрасте (менее трех лет назад) отец привез его сюда. С тех пор мальчик нередко выступал на концертах во многих городах, привлекая внимание своим необычайным талантом.

Впрочем, должен признаться, до прошлого месяца я не слышал о нем, хоть он и выступал в нашем городе два-три раза... Да, до прошлого месяца, но с тех пор практически каждый день в памяти всплывало его личико — слегка опечаленное, с большими серьезными глазами и ребяческим ртом...

Я питаю нежность ко всем детям, однако бедные маленькие существа, именуемые вундеркиндами, всегда занимали в моем сердце особое место. Да помогут им небеса! Судьба-лиходейка сделала их не обычными — бестолковыми и счастливыми — де-

вочками и мальчиками, не такими, как наши Фанни, Чарли, Гарри... Эти бедняжки, не знающие ни младенчества, ни детства — печальные люди-мотыльки, что на мгновение появляются в свете газовых фонарей и исчезают. Несчастные детишки!

Я не могу смотреть на детей-акробатов, не протестуя хотя бы мысленно против слепоты и жестокости их родителей, опекунов — словом, тех, кто присматривает за ними. Однажды в цирке я видел, как две крошечные девочки проделывали на перекладине такие трюки, что кровь стыла в жилах. Эти малютки были сестрами-близнецами; на их лицах застыли присущие всем подобным бедолагам детская серьезность и усталость. Трудно было не отвести глаз, когда их ножки свисали с раскачивающейся перекладки, хрупкие спинки выгибались, тельца деформировались... А ведь им следовало бы лежать под мягкими одеяльцами в уютной комнате, а ангелам, охраняющим сон маленьких детей, — парить над ними. Остается надеяться, что отец тех малюток задумается над этими словами, выражаю-

щими мнение многих, смотревших на выступление маленьких акробатов не с восторгом, а с жалостью.

Если есть общество по борьбе с жестоким обращением с глупыми бессловесными животными, должно существовать и общество по борьбе с жестоким обращением с маленькими детьми; и один влиятельный джентльмен должен обратить на это внимание. Имя того джентльмена — общественное мнение<sup>1</sup>.

Впрочем, вернемся к моей истории.

Однажды утром первого сентября — почти пять с половиной лет назад — в моей жизни появились два малыша и потребовали принять их в семью, кормить, одевать, потом отправить в школу и постоянно заботиться о них. Очень скромно — не так ли? — учитывая, что раньше я их не встречал. Наверное, они пришли из Волшебной страны. С тех пор эти юные господа — мои сыновья-близнецы — известны в нашем семейном и дружеском кругу как Чарли и Тэлбот; впрочем, поскольку Чарли уже объявил о намерении стать цирковым наездником, а менее амбициозный Тэлбот — полицейским, наверняка в скором времени о них заговорят все. А пока они, готовясь к будущим профессиям, учат алфавит. Чарли перепрыгивает через кубики с буквами с проворством, обещающим достойную карьеру в цирке, а Тэлбот хватает скользкую S и преследует подозрительные X, Y, Z с быстротой и смелостью настоящего стража порядка.

Я с удовольствием не только кормлю и одеваю Чарли и Тэлбота, словно юных принцев или герцогов, но и слежу, чтобы их пылкий ум не переутомился от учения. Поэтому я вожу их на кукольные и музыкальные представления, а по праздникам — на пантомиму, что вызывает у них особое восхищение. Приятно смотреть, как они деловито занимают места в первом ряду партера и степенно начинают читать вверх тормашками театральную программку и с какой торжественностью пьют в антракте апельсиновый сок.

Их знание тайн Волшебной страны разнообразно и глубоко. Они всем восхищаются, но ничему не удивляются. Выпрыгивающие из-под пола покрытые блестками люди, появляющиеся из-за деревьев королевы фей, преобразование домика бедного лесоруба в мгновение ока в великолепный дворец или гоблинскую подводную пещеру с алыми фонтанами, золотыми лестницами и серебряной листвой — ко всему этому они привычны, ибо обитают именно в

таком мире. Они не изумились бы, происходи подобное дома.

На днях, перед Рождеством, я заметил, как мальчики внимательно следят за лежащей на кухонном полу большой тыквой, ожидающей своей участи превратиться в тыквенный пирог. Если бы тыква внезапно раскрылась, по бокам у нее выросли колеса и два играющих с луковой шелухой котенка обернулись молочно-белыми пони и сами запряглись в экипаж Золушки, ни Чарли, ни Тэлбот не сочли бы это чем-то из ряда вон выходящим.

Для них пантомима, которую дают по праздникам в Бостонском театре, — убедительное доказательство правдивости историй Золушки, Джека с Бобовым деревом и Джека — покорителя великанов. Как-то январским утром я рассказал за завтраком Чарли и Тэлботу, что в город приехал принц Руперт со свитой —

кто в рваной одежке,  
кто в драной рогожке,  
кто в бархате и горностае<sup>2</sup>.

Известие было встречено с энтузиазмом: это значило, что мы пойдем на спектакль.

Принц Руперт милостиво согласился появляться на публике каждую субботу в течение месяца. Мы решили навестить его Высочество.

Окажись вы с нами в театре в тот день, вы бы в жизни не догадались, что снаружи ярко светит солнце. Все ставни были закрыты наглухо, и единственным источником света оставалась свисающая с красочно разрисованного потолка большая стеклянная люстра. Однако румяные, нетерпеливые лица множества собравшихся на бельэтаже и в партере в ожидании начала спектакля мальчиков и девочек сияли ярче светильников — и ни один ребенок не выглядел веселее и нетерпеливей Чарли и Тэлбота. Они время от времени вытаскивали из моего бумажного пакета виноградины, поглядывая на сцену в ожидании момента, когда поднимется роскошный зеленый занавес и можно будет погрузиться в коралловое царство королевы наяд.

Остановлюсь вкратце на литературной основе спектакля. Сюжет его, как и во всяком современном романе, был чрезвычайно тонким и изящным, практически невидимым невооруженному глазу. Сомневаюсь, что сам автор сумел бы объяснить его, даже если б снизошел до этого. Главная роль принадлежала храброму молодому принцу Руперту, появившемуся в Стране чудес в поисках приключений. Он оказался там, прыгнув из Драхенфельского замка в

<sup>1</sup> Этот рассказ был написан в 1874 году. Автор не желал за него никакой награды, кроме как оказаться одним из первых инициаторов создания Массачусетского общества по борьбе с жестоким обращением с маленькими детьми, появившегося позднее.

<sup>2</sup> Английский народный стишок, перевод С. Я. Маршака.





Рисунок Елизаветы Горяченковой

Рейн. Шнапс, камердинер принца, отправился вслед за ним крайне неохотно и был жутко напуган зелеными демонами Хризолитовой пещеры (что вызвало у нас дружный смех: очень приятно смотреть, как кого-нибудь пугают до полусмерти). Еще по ходу спектакля встречались отважные оловянные рыцари, и сияющие всеми цветами радуги армии прекрасных амазонок, и несчастные рабыни, которые все представление улыбались и непрерывно танцевали в красивых нарядах под восхитительную музыку. Зритель оказывался то у заколдованного замка на берегу Рейна, то в подводной аметистово-алмазной пещере; сцены сменялись с такой скоростью, что, в конечном счете, совершенно терялись в дебрях сюжета.

Но сильнее всего меня заинтересовал (а Чарли и Тэлботу понравился гораздо больше самой королевы наяд) приехавший ко двору и игравший перед принцем Рупертом и его невестой маленький скрипач. Такой маленький! Он был старше моих мальчиков максимум на год и ненамного выше их ростом. У него было очень милое нежное личико и большие серые глаза — в них притаилось взрослое выражение, которое я не люблю видеть у детей. По глазам ему можно было дать лет шестнадцать-семнадцать!

Я не столь хорошо разбираюсь в музыке, чтобы судить о гениальности его игры, но мне показалось, что играл он замечательно, как прирожденный музыкант. Потом он сжал в руке дирижерскую палочку и стал руководить оркестром, сыгравшим несколько весьма сложных мелодий, что, безусловно, демонстрировало его превосходный слух и прекрасное понимание музыки. Мне хотелось снова послушать маленького скрипача, однако он выглядел утомленным, когда поклонился публике и убежал со сцены. Так что я не присоединился к моим соседям, вы-

зывающим его на бис. «Вечером у него еще один спектакль, а малыш такой хрупкий», — подумал я. Он вышел и поклонился зрителям, но больше уже не играл.

По дороге домой дети восхищались скрипачом. Пока они болтали и резвились предо мной, путаясь под ногами подобно паре молодых спаниелей (в меховых пальто и кожаных кепках они действительно мало отличались от коричневатых щенят), я размышлял, как же сильно отличалась судьба маленького бедного музыканта от их судеб. Ему было всего шесть с половиной, он выступал перед публикой почти три года. Трудно представить, сколько изнурительного труда выпало на его долю, пока моих детей баловали и ограждали от малейшего дуновения! Какую жизнь приходилось вести ему — ездить из города в город, репетировать каждую свободную минуту и выступать каждый вечер в каком-нибудь театре или концертном зале! Как бы ни любили его и как бы хорошо (судя по всему) ни относились к нему, такая жизнь для ребенка очень тяжела. Его нужно вытащить на солнечный свет, отобрать скрипочку и вручить взамен бумажного змея. Если Бог послал семя таланта великого музыканта или композитора в столь маленькое тельце, было бы мудро позволить драгоценному дару созреть и зацвести в свое время.

Такими были мои мысли по дороге домой в янтарном свете зимнего заката. Однако мои мальчики больше всего на свете хотели поменяться местами с маленьким скрипачом Джеймсом Спайтом. Стоять посреди Волшебной страны и играть на маленькой скрипке красивые мелодии под восторженные аплодисменты — что может быть лучше? Чарли уже начал думать, что цирковой наездник — это не так уж и здорово, а блестящая карьера полицейского в глазах Тэлбота лишилась части очарования.



Каждый вечер после того, как дети ложатся в кровати и гаснет свет, я сажусь рядом и минут пять-десять беседую с ними. Если днем что-то шло не так, как надо, об этом мы не говорим — я хочу, чтобы мальчики засыпали без грустных воспоминаний. Потом они молятся. Наряду с просьбами защищать членов семьи божественное сострадание нередко призывается на весьма любопытные объекты: скажем, игрушечную лошадку-качалку со сломанной ногой, или лишившихся руки при высадке из Ноева ковчега Сима и Иафета, или котят Пинки, Инки и пса Боба — последних не забывают никогда. Я совершенно не удивился, когда тем субботним вечером оба мальчика попросили Бога благословить маленького скрипача и присматривать за ним.

На следующее утро за завтраком, развернув газету, я сразу наткнулся на статью: «Ночью в субботу Джеймс Спайт, ребенок-скрипач, умер в этом городе. Днем после сеанса “Королевы Наяд”, когда маленький Спайт ушел со сцены, сыграв на скрипке, как обычно, мистер Шуэлл<sup>1</sup> заметил, что тот выглядит утомленным, и поинтересовался, не заболел ли мальчик. Джеймс ответил, что у него болит сердце, и тогда мистер Шуэлл предложил ему не ходить на вечернее представление. Мальчик ушел, а около полуночи его отец услышал, как тот произнес: “Господи все милостивый, прими еще одного ребенка на Небеса”. После этого все смолкло; когда же отец

<sup>1</sup> Помощник режиссера.

заговорил с ним и не получил ответа, то обнаружил, что ребенок мертв».

Я пытался перечитать заметку, но буквы тускнели и расплывались. Я посмотрел на сидящих на другом конце стола Чарли и Тэлбота. От солнечного света их локоны сияли золотом, и я не смог поведать им о случившемся.

Из всех молитв, летящих на небеса той субботней ночью, могла ли хоть одна показаться ангелу жалобнее и нежнее молитвы маленького Джеймса Спайта? Он знал, что умирает. Он вспомнил, что Христос сказал: «Пустите детей приходиться ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие», и с губ его слетела красивая молитва: «Господи все милостивый, прими еще одного ребенка на Небеса».

Я молча свернул газету и не упоминал о смерти маленького скрипача; но когда настало время для вечерней беседы в детской, я рассказал Чарли и Тэлботу всю историю. Думаю, они не очень хорошо поняли, что случилось со скрипачом, и еще хуже — причину, по которой я провел у их кровати больше времени, чем обычно. Я сидел в тускло освещенной комнате, и мне казалось, что где-то вдали, в перерывах между завываниями зимнего ветра, тихо и нерешительно играла скрипочка.

Ах, скрипка-скрипочка! Быть может, теперь она играет жалобные мелодии сама по себе, тоскуя по прикосновению пальчиков своего маленького хозяина!

*Перевод с английского Евгения Никитина*

Евгений Никитин — студент четвертого курса переводческого отделения лингвистического факультета Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.

## ОТ ОФИСНОГО КЛЕРКА ДО ЧУТКОГО ГАСТАРБАЙТЕРА



Валерий Шаханов. *Этаж: Рассказы.* —  
М.: Художественная литература, 2012. — 128 с.

Россия не двуглавой, но двуликой,  
Растоптанной, великой, безъязыкой,  
Отмеченной судьбою мировой,

Встает до звезд и валится хмельной,  
И над ее последним забулдыгой  
Какой-то гений теплится святой.

Почему-то именно эти пронзительные строки современного поэта К. Ковальджи приходят на память после прочтения книги Валерия Шаханова «Этаж». Небольшая и абсолютно лишенная всякого пафоса, она таит в себе безусловный опыт, пережитые чувства и боль автора, несомненно, побывавшего в шкуре каждого из своих героев.

Уже первого рассказа с одноименным названием «Этаж» чувствуешь неприятное ощущение от здания Всеобщего, его «запутанного... кишечника», в котором трудятся и «пилят бюджет» разные по своей сущности, но одинаковые по всей безысходности их должностного положения люди. Люди — вот главное, что интересует автора, внутренние человеческие противоречия, мечты, чудинки, которые загораются даже в самых захваченных обыденностью героях, как Герман Васильевич из рассказа «Фирменный стиль», как Кондратий Рудольфович из рассказа «Возможности фотошопа», мечтающий о том, какая красивая будет фотография на его могильном памятнике, как будут проходить мимо нее люди и думать: «Солидный человек здесь лежит. Кто он? Путешественник или дипломат?» И эта мечта, воплотившаяся всего лишь в одной-единственной фотографии, сделала настолько счастливым этого человека, что изменила

всю его жизнь и наполнила ее смыслом. А ведь именно этой мечты так не хватает многим современным людям, живущим в России... И важно то, что Валерий Шаханов создал именно книгу, а не сборник рассказов, потому как из одной истории со своей насыщенной правдой, со своей болью вытекает другая и поддерживает ее, передавая все более равнодушный взгляд автора на современные проблемы. Андрей, приезжий-строитель из южного уголка нашей Родины, со своей женой Ларисой — обычные, ничем не примечательные на первый взгляд люди, которых мы видим каждый день и над судьбами которых мы совершенно не задумываемся. Рассказ «День строителя» заставляет почувствовать эту ненужность людей, чуждых столице, их надежды на окружающих, их одиночество. Так, тонко и трогательно автор описывает одиночество своего героя, дедушки-музыканта в рассказе «Флейщик», его внезапную привязанность к впервые увиденному за всю жизнь внуку, к жизни другого человека, в которой он находит смысл своего существования. И такие герои запомнятся навсегда. Потому что они не «сделаны», не вымышлены, а живут, думают, чувствуют среди нас. Они и есть — каждый из нас. Только надо быть более чутким, чтобы увидеть.

## Россия — сплошной детдом



Гарри Гордон. *Осеннее равноденствие.* —  
М.: Литературная учеба, 2011. — 320 с.

По описываемому времени Гарри Гордон воткнул свой роман перед недавно вышедшей книгой «Обратная перспектива». Себя он по-прежнему называет Карлом. Снова находит героя, олицетворяющего для него Россию, на которого обрушивается ливень любви, втайне ей причитающейся. В «Обратной перспективе» это гений искренности Славка, что не лег на Каширку, а постелил себе заброшенное поле нечерноземья, в изголовье поставил пустую водочную бутылку. В «Осеннем равноденствии» это суровый ершистый Володя Кашин, сам детдомовец и на детдомовке женатый. Вся Россия для героя и для автора — не сплошной дурдом, а сплошной детдом. Герой этот уже появлялся в более раннем рассказе. Гордон вставляет рассказ в роман, будто на дисплее новое окошко открыл, а старое не закрыл. И повод нашелся. Якобы некая женщина в Володином поселке со смехотворным названием Куриное, по птицефабрике, в магазинчике купила книгу Гарри Гордона. Ну-ну. В рассказе Володя носит звучную фамилию Шопин. А у начальника Володиного сына фамилия Сероштайн. Тоже неплохо. Зато какие очаровательные переводы в сносках автор дает сплошь бранной речи косноязычного дурачка Лени. Тот начинает каждую фразу словом «куня». К концу повествования стараниями Кашина научился произносить «уйня». То и другое переводится автором как «ерунда».

Так вот, в рассказе Карл с Шопиным выкладывают мозаичное панно на Красноярской ГЭС по чужому скверному эскизу. Не хватает белой смальты — взамен выдают унитаза. Мастера колют их — и выходят из положения.

А Кашин в романе не умер на пятидесятом году жизни. Круговую порукой сиротства сумел выгородить его автор. Померла жена Кашина — Раиса, на

год старше. Царствие ей небесное — они все такие живые и настоящие на отнюдь не ласковой земле, герои Гордона. Познакомились в детдоме, четырех и пяти лет. Поженились — стеснялись друг друга, вроде бы брат с сестрой. После рождения сына так снова и стало. Осталось лишь родство, забота и щемлящая, до боли доходящая нежность.

Сын Ромка не в мать, не в отца — я сказала бы, в проезжего молодца, не будь Раиса белее снега. Автор Ромку не любит. Все же Ромка к юбилею матери прислал фотоаппарат из Коми, с места службы. Володя щелкнул жену у колодца. А на фотке вышла еще и Богородица. Кашин так перепугался, что побежал креститься. Лучше поздно, чем никогда.

Жену бог прибрал тоже не без повода. Кашин в свойственной ему платонической манере влюбился в некрасивую девушку-итальянку Риту. Та, учась на скульптора, под руководством Кашина, у которого вообще руки росли откуда нужно, участвовала в реставрации старинной русской усадьбы. Уезжая, пригласила: приезжайте, синьор, я буду вас лупить. Лепить она его, милая, собиралась, а не любить. А он поехал, повез в подарок финифтяное колечко. Не доехал, не судьба была. Перепутал Рим с Римини, и в поезд будто бы бомбу заложили, и на свадьбе кондуктора загуляли. Надел финифтяное колечко на палец чужой невесте и повернул оглобли. Дома дверь открыл заплаканный лопухий Ромка. А мать уж лежала на столе: сердце остановилось. Вот так все в мире завязано.

Володя поставил крест у колодца, а бабки ему же из его же колодца воду брать не велят: говорят — святая. Расея! Дуровая зыкъ она. Скажи — не поверят ушам. И почему это за нашу родину всегда стыдно? — восклицает автор. Брешет: не стыдно ему, а горько. По всей интонации. В «Пастухе своих ко-



ров» еще был страх российского пространства, как у высокопоставленного героя Андрея Белого, что уже замерзал однажды в степи вместе с ямщиком. Был у Гарри Гордона и комплекс насильственной отстраненности. В одном из ранних его рассказов батюшка при освящении часовни отодвигает в сторонку человека с сомнительной фамилией — в том четвертушка еврейской крови, а за часовню как раз он больше всех радел... Но Гарри Гордона уже не отодвинешь. Он вцепился в Россию, точно новый его герой пес Бырик — в кость, и рычит: «Мое! пошли все на! не подходи, порву!» Так Гоголь-Яновский, наполовину хохол, наполовину поляк, присвоил себе все российское пространство и крепко зажал край его в окостеневшей руке. Еще не родился тот, кто смог бы из этой мертвой руки что-нибудь выдернуть. Тьфу на ваши таможи. Это все Единая Россия — и Диканька, и Куриное. Вот у Платонова в «Сокровенном человеке» Пухову встречается мужик, катма катящийся домой через немереное русское пространство, когда в ногах сил не стало. У Володи же Кашина сын отобрал старую машину и не вернул, купивши новую дорогу. Месит грязь неутомимый Володя, ходит пешком на дачу. Ему что — у него строевой шаг.

Дурачок Леня. Был крупным комсомольским боссом в районе. Поймали на аморалке, метя в Лениного покровителя. Леню хватил удар, и стал он блаженным, юридическим. Он уже получил плату свою, и все его любят-жалеют: автор, герой, читатель. Но по ночам Леня кричит на чистейшем русском языке: «Вы где находитесь? Вы с кем разговариваете?» И прозорливый пес Бырик думает: Володиными заботами Леня выздоравливает... каким-то он будет? Кашин ему, псу: «Будешь кусать Леню?» — «Посмотрим». — «А меня будешь кусать?» — «Всех посмотрим».

У пса сложная история. Ублюдок, мрачный и сильный, навязанный Кашину полоумной старухой. Кашин сдал его в монастырь на послушание, в качестве сторожевой собаки, по объявлению. Так нет — укусил мать-настоятельницу за икру и дал деру. Долго разбойничал во главе ватаги расхристаных собак. Наконец определил в уме своем Володю: он — честный. Нашел Кашина, облизал, избитого пьяными подростками, что громили узбекский рынок.

С псом полладили. А вот Ромкина жена Лена по сравнению с двумя сияющими объектами Вовкиной любви — просто дура и дрянь. Из квартиры Вовку выжили молодые, а дачу сожгли соседи. Сперва подсылали комиссию из правления, пожарника. Намекали: продай участок, все равно жить не дадим. Со всех сторон обложили. И подожгли тоже со всех четырех сторон. Кашин, Леня и Бырик вместе выско-

чили из огня. И сейчас же из дома соседа, которому Кашин строил баню, вышли, как в цирке, четыре пожарника с огнетушителями наперевес. Бырик предлагает по-тихому: давай я отнесу головешку к дому соседа. Кашин ему: не надо. Сгорели деревянные фигуры святых, что начал резать Кашин. По заветной аллее, ведущей к уже не существующей усадьбе, где жили рослые красивые люди, уходят Кашин — с верой и надеждой, а Бырик с Леной — со своей заливающей любовью. У меня от такого крутого набора высоты, какой позволяет себе Гарри Гордон, дух захватывает.

Влияния. Немного вижу из Колы Брюньона: сожженный дом, сгоревшие деревянные фигурки святых. Умница Владимир Леонович заметил отголоски той же вещи у другого автора. Все очень просто. Нас ведь отрезали от Серебряного века, от русского зарубежья, от Андрея Платонова и даже от Достоевского. Спасли нас, не дали вконец оскотинить наши переводчики. Сохранили великий русский язык. А что — вали все на оригинал. Я бы всем нашим переводчикам навесила по звезде героя. Они утолили наш духовный голод.

Серьезно, занятно, что предполагает недоступное нашему пониманию высшее существо, заточивая с годами человека на создание таких шедевров, как рецензируемая мною книга? Не это ли прямое обещание перехода в более тонкое состояние? Со смертью Гарри Гордона уже разделался в «Обратной перспективе». Теперь догнал и еще добавил. Кстати, зеленый дедушка из предыдущего романа, что велел и день и час, преспокойно перекочевал в новую книгу. Здесь его зовут Севастьяном Севастьяновичем. Он учит Кашина сдирать бересту так, чтоб береза не засохла, и мастерить из нее поделки, в чем Кашин очень преуспел. Но его, Кашина, ждет разочарование: Севастьяныч не дух здешних мест. Он всего лишь дачник, и на зиму уезжает в Швейцарию к сыну продавать свои плетешки. Кашин даже замолчал от огорчения. И опять звучит, как колокол, голос Гарри-Карла-Кашина-Шопина: «Не смейте пренебрегать Россией! Пусть мне будет стыдно за нее, а вам смеяться не позволю». И Бырик рычит-щегинится.

Удаляются три фигуры: один здоровый, другой больной, третий на четвереньках. Так в фильме «Мольба» по расступающемуся снежному ущелью уходит изгнанная из селения семья. Я считаю, мне досталось рецензировать лучшее произведение постперестроечного периода. Что же будет дальше, если Гарри Гордон напишет еще роман? И что будет с Россией Гордона? Что она — отступит, уступит, отойдет на пустоши, «куда демократ телят не гонял»? Навряд ли.

Татьяна БОЛЬШАКОВА



*Татьяна Большакова считает себя северянкой, поскольку родилась на севере Сибири 8 октября 1946 года. Прежде чем перебраться «с милого Севера в стороны южные» и навсегда обосноваться в любимом ее сердцу Торжке, она успела объездить полстраны: Северная Обь, Кубань, верховья Камы, Кузбасс, Подмосковье...*

*Работала ручным наборщиком и печатницей в районных типографиях, литсотрудником в редакции районной газеты, сельским библиотекарем, ткачихой, служила в армии... И все эти годы писала стихи.*

*Сейчас работает во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке.*

*В 1977 году заочно окончила Литературный институт имени А. М. Горького.*

*Печаталась во многих периодических изданиях, альманахе «Тверь», журналах «Домовой», «Русская провинция», в коллективных сборниках.*

*Член местного литературного объединения «Тверца». Член СП РФ.*

*Опубликовала книги «Осени мои» (2001), «Где тучи спят на берегу» (2003), «Болотные травы» (2004), «Жизнь моя — память о чуде» (2010).*

### АЛЕКСАНДР БЛОК

Он тихо поклонился и ушел.  
А мне — звенит, звенит струна в тумане.  
И обещает. И куда-то манит...  
Ах, как когда-то было хорошо!

Там пели заколдованные скрипки.  
Белел в тумане долгий-долгий путь.  
И девушка у розовой калитки  
Негромко повторяла: «Не забудь...»

Холодный дождь ударит по щеке!  
Холодный ветер листья в небо бросит!  
Сметет полмира бешеная осень!..  
...И только он сияет вдалеке...

\* \* \*

Помнишь сказку? Живая вода  
исцеляла смертные раны.  
Я тебя проведу туда  
сквозь ольху и дикие травы.





Там — на камне — маленький след.  
Из-под камня родник струится.  
А под елкой перо Жар-птицы  
ждется столько лет!..

\* \* \*

В этом доме ночуют  
осенние ветры.  
Пахнет хлебом, соленьями,  
тихим теплом.  
Здесь чай горячи.  
Здесь хозяйева щедры.  
Хлебосолен  
под яркой клеенкою стол.

Я приду сюда  
как-нибудь ночью ненастной,  
из февральской метели  
шагну на крыльцо,  
чтобы запах  
степного полынного счастья  
и овечьих кочевий  
повеял в лицо.

Дух антоновских яблок  
прозрачен и крепок.  
И брусника с морошкой.  
И квас на меду...  
В этом доме  
зимуют осенние ветры.  
Здесь меня еще ждут.  
Я, конечно, приду.

\* \* \*

*В. Ф. Кашковой*

По Тверце — путь старинный водный.  
Вдоль Тверцы — государев шлях.  
По земле искони свободной  
в дилижансе, кибитке, санях...

Ветер в тучах волчонком рыщет.  
Колокольчик в снегу увяз...  
Пой, ямщик! Песня долю сыщет.  
Не держи ее про запас.

Пой, ямщик! А седок, быть может,  
песне новый проложит путь,  
развернуться ей вширь поможет,  
в земли новые заглянуть,

чтобы люди и там грустили  
в непонятной, как сон, тоске  
о твоей и его России,  
что лежит на Тверце-реке.

### **ЯЩЕРКА**

Ты спросил меня — кто я?  
Я — ящерка, ящерица.  
Я из свиты Хозяйки, с предгорий Урала.  
Видишь, вон по траве  
черным обручем катится,  
повернулась, мигнула огнем и — пропала...

Мне — браслетом сверкать  
у невесты в шкатулке.  
Мне — весенние зори сорить в поднебесье.  
Я — из сказки, а сказки —  
ведь это не шутки.  
Осыпаются, падают, тают созвездья.

И сегодня, и завтра,  
и прежде когда-то  
лапки ящерок вечное время считают.  
Мы — из сказки.  
Мы — светлого чуда солдаты.  
Ну а чудо — оно ведь не с каждым бывает.

*г. Торжок*



Зулкар ХАСАНОВ



## ВАНЯ ГУСЬКОВ

**Ж**аркий месяц июль. Ярко светит солнце. Ветра ни гу-гу, тишина. В деревне Барсуки, ныне рабочем поселке нефтяников, оживление. Люди ждут вертолет на посадочной площадке на окраине поселка.

Здесь так принято: как выходной день — все спешат в районный центр Тамтары — в небольшой городок, где можно приобрести мойку на кухню, стеганое красивым ситцем ватное одеяло, какой-нибудь модный шкаф, даже мотоцикл вполне современный и много чего другого.

Дед Афанасий старик хоть и преклонных лет, но старается жить в ногу со временем и с односельчанами. Он довольно бодр, носит густую бороду, а глаза у него зеленые и всегда ласковые, в разговоре сдержан. В беседе с людьми он смотрит на собеседника пронзительно, стараясь угадать, что же от него хочет человек. Ваньку Гуськова он знает давно. Он вырос у него на глазах. Гуськов учился хорошо, мальчишкой бегал со всеми ребятами смотреть на самолет санитарной авиации, который частенько садился на краю деревни недалеко от ржаного поля. Там местность ровная, только ковыль растет. Часто смотрел, как собирается взлететь самолет-кукурузник. Один летчик сидел в кабине, а другой, взявшись за винт обеими руками, его вращал. Во время этого процесса летчик кричал: «От винта!»

Ване Гуськову казалось, что он кричит «От мента!». Ваня недоумевал — от какого мента? Но в один из прилетов решил спросить: «Дяденька, что означают слова “от мента?”» «Эх ты, курносый, — улыбаясь, говорил летчик мальчишке, — я говорю не “от мента”, а “от винта”, чтобы рядом стоящие ребята не подходили близко к вращающемуся винту».

Ваня окончил училище летчиков, а теперь выполняет разные работы хозяина — предпринимателя, друга депутата. Предприниматель, нефтяных дел мастер, миллионер, богатый человек, работает на нефтедобыче, имеет свой вертолет. Пилотирует его вертолет как раз Ваня Гуськов. Ваня не простой парень, ловко умеет пользоваться доверием своего хозяина. По выходным дням прилетает на вертолете к своей девочке Аннушке в поселок Барсуки.

Он не только бывает на свидании с девушкой, но и успеваает сделать несколько рейсов из деревни Барсуки в Тамтары. Здешний народ привык каждый раз летать на вертолете по выходным. И теперь жители стали какие-то ненормальные, хотя непременно прилететь в районный центр на вертолете. А что? Недорого! Что на автобусе, что на вертолете. Зато какво зрелище, сверху посмотришь — и разглядишь все достоинства и изъяны нашей жизни. Вот свекла рассупонила свою листву во всю мощь, видно, что сахар будет, а какая красота — цветет гре-

чиха белым цветом, а розь выросла в человеческий рост, вот-вот уже отцветет. Но сверху видны и недостатки: земля местами заросла чертополохом, есть и непаханные и незасеянные участки. Вопрос: куда смотрели агроном и бригадиры? Незасеянные участки полей смутятся грустными проплешинами. Пастухи тоже бывают разные. Одно стадо пасется на пастбище, скотина сыта, а другой табун давно стоит на стойбище у пруда, хотя еще до обеда далеко. Глава поселковой администрации сердится, говорит: «Одни убытки от этого вертолета, потому что все летают, автобус приносит мало выручки». Но ничего он поделывать не может — такова воля народа, теперь все хотят летать.

Как говорится, «нам разум дал стальные руки-крылья!»

Расстояние не в счет, его здесь каких-то пять километров, можно дойти пешком или доехать на автобусе, который регулярно ходит, а людям нейдет, непременно им надо, чтобы на вертолете. Люди стоят, ждут, ребятки бегают, толкаются, орут. И дед эдак лет семидесяти, бодрится. Люди, стоящие в стороне, показывают пальцем на деда: «Куда дед-то собрался, у него ведь уже все есть, даже гроб».

А дед любит шутить, заигрывает с молодой вдовой и шепчет ей ласковые слова: «Где же ты была, когда я был еще ничего?» Стараются вспомнить свою моло-

дость и удержать в своих объятиях Ньюру, богатую на шалости. Она ему скороговоркой выговаривает: «Дед, ты мне нужен, как зеркало слепому, как дождь во время наводнения. Что, дед, у тебя совсем крыша поехала, ведь упадешь и кости не соберешь». «Не упаду, — говорит дед, — мне нельзя праздники пропускать, мне надо непременно полететь, ведь в жизни никогда никуда не летал, а девочек подавно позабыл когда обнимал».

Вертолет уже давно стоит на площадке, а пилот, человек наш поселковый, Ванька Гуськов, подходит к деду Афанасию и говорит: «Дед, куда же ты-то собрался?» Дед отвечает: «Я с народом, куда народ, туда и я. А что, тебе жалко?»

«Да, дед, мне сегодня тебя жалко будет», — с хитринкой и улыбаясь говорит Ванька. «Ваня, а тебе не жалко тратить керосин, сколько же лошадей ты гоняешь по деревням, уму непостижимо, ведь мы живем не в горах?» — с некоторым назиданием говорит дед.

Сегодня, как обычно, Ваня наблюдает за происходящим на посадочной площадке, а потом заявляет: «Сегодня особый случай с нашим вылетом, небольшая заминка по моей вине. А поэтому позволяю себе всех пассажиров угостить колбасой». Вообще по традиции перед полетом обязательно надо перекусить. Ванька отдал целую связку колбасы молодому мужчине с бородой, заявив: «Завтракайте за мой счет, бог с вами».

Бородатый на скамейке режет колбасу и раздает ее публике. Колбаса ужасно жирная и толстая, но народ пошел смелый, грызут колбасу вовсю. «Ешьте, ешьте, — говорит Ваня, — а то в атмосфере мало ли

что может случиться». Народ шумит, рвется в кабину вертолета, а Гуськов говорит: «Не торопитесь, сначала вы должны посадить самого старшего — дедушку Афанасия». Афанасий, услышав, что говорят про него, направил свое правое ухо в сторону источника звука. «Я колбасу не ем, — сморщившись, брызжет дед слюной, — на кой ляд она мне нужна, у меня и зубов-то нет». «Дедушка Афанасий, не слушайте никого, пойдете со мной», — говорит Гуськов. Он пропустил деда в кабину, а потом сам вошел. Гуськов надел бахилы, перекрестился и сказал: «Сохрани нас, Господь!»

Потом дверь закрыл, никого не впустил больше в кабину. «Сиди, старина, не волнуйся, не будет тебя теснить молодежь, этих искателей приключений в атмосфере не возьмем, ничего, немного подождут, а кто спешит, доедут один раз и на автобусе или пешком дойдут, не заблудятся. В Тамтары мы полетим попозже, сейчас мы с тобой полетим через перевал к девочкам». Афанасий говорит: «Ты что, обалдел, Ваня, мне семьдесят, а я к девочкам?» «Старина, ты сиди, молчи, будешь себя хорошо вести — будут тебе девки», — продолжал скалить зубы негодяй Ванька Гуськов.

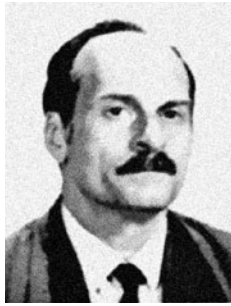
Народ спешил в вертолет, а когда слегка закрутились лопасти, испугался, отпрянул назад. А вертолет уже стартанул, народ, понятное дело, негодует. Чиновник из канцелярии главы администрации кричит, грозит и норовит остановить полет, но не знает, как. Вертолет вздрагивает, отрывается от земли, сильно трясет. Вот, кажется, будет выдвигать круги на месте, ан нет, взлетели. Дед с испуга весь трясется и говорит пилоту: «Сукин сын,

что ты делаешь, насмерть можешь испугать». Гуськов-балда, веселый, ржет, как конь, подтрунивает. «Колбасу-то мою покушали, ведь за так никого не вожу», — говорит Гуськов. «Какое там покушали, хлеба нет, колбаса жирная и жесткая, подавился бы ты со своей колбасой», — с горькой обидой говорит ему Афанасий.

Афанасий с Гуськовым уже в небесах, летят над родными полями, любят. Над перевалом густой туман. Гуськову не впервой преодолевать этот перевал. Дед расстроен, злится, куда везет его Гуськов, зачем, ему неизвестно. Вот и имение сельскохозяйственного фермера. Дед хочет спросить Гуськова, куда они прилетели и зачем. Гуськов не отвечает, очень шумно, тряско, да надо место выбирать, куда садиться.

Сели. «Дедушка Афанасий, — говорит Гуськов, — вот и прилетели к девочкам! Сейчас я познакомлю тебя с девочками — вон, смотри, уже идут». И правда, две девочки идут. Дедушка вскопчил с места и смотрит в окно, но узнать девушек он не может — далеко. Дедушка насторожился, лицо у него покраснело. В груди деда гнев и теснение. «Ваня, я этого тебя не прощу, — говорит дед, — что ты надо мной надсмехаешься, Боженька тебя накажет за твой поступок, буду молиться за это!» Ваня Гуськов снисходительно улыбается и говорит: «Не волнуйся, дедушка Афанасий, я тебя просто прокатил... Видишь, провожает Аннушку ее подруга Ираида, у которой она гостила. Сейчас заберем ее — и домой, а ты правда подумал — к девочкам?» «Ну ты, Гуськов, и шутник», — промолвил дедушка и перекрестился.

г. Калуга



Продолжение. Начало в № 3, 4 за 2012 г.

## АГЕНТУРНЫЙ РОМАН

### Глава III. Заметание следов

Титову нравилось участие в облавах. Он всегда испытывал удовольствие, представляя, как люди беззаботно ходят по улицам, ездят, пьют водку и пиво, строят планы на будущее, не подозревая, что уже через пару часов обречены быть схваченными сотрудниками ЧК и милиции. И только от него, Титова, будет зависеть, кто из них уйдет на свободу, а чья участь — остаться за решеткой на долгие годы. В этот вечер планировалась охота на совсем обнаглевших уголовников, а также скрывавшихся от возмездия злонамеренных дворянчиков, не успевших сбежать за кордон.

Впрочем, не церемонились и с наслаждающимися жизнью нэпманами и подсевшими на кокаин представителями богемы. Деятели искусства Титов ненавидел особенно люто: «Считают себя непризнанными гениями и в тоске всасывают в ноздри белый порошок, возбуждая в воспаленных мозгах радужные картины обрушившейся на них славы и мирового признания. Видел я мазню этих художников и слушал в кабаре завывания дергающихся в исступленных стихоплетов. Так и я могу, а то еще и лучше. Но, в отличие от них, не лезу в классики. Когда их приводят в мой кабинет, эта публика начинает кричать о правах и свободе личности. Товарищ Ленин правильно учит: не может быть свободы вообще, а есть свобода либо для большинства народа — трудящихся, либо для меньшинства — буржуев. А богатые и жулики — это две стороны одной медали».

Вспомнив слова вождя, Титов расправил плечи и грозно нахмурился, словно перед ним сидел очередной враг советского государства. Конечно, Титова смущало и тревожило введение в стране нэпа. «Неужели все вернется к прежнему? И все эти рево-

люционные лозунги — лишь для оглушения народа? Партия нас уверяет, что при ее командных высотах допуск частного сектора вполне допустим. Но эта наполненная густой и дурно пахнущей грязью волна, похоже, окончательно захлестнула страну. Многие партийцы переродились. Не зря я тогда, еще до революции, понял, что для многих людишек участие в революции — лишь возможность покрасоваться перед институтками и пожить на широкую ногу за счет средств недалековидных меценатов. Вот потому я и помогал властям из идейных соображений. И, похоже, был прав: справедливость после революции не восторжествовала. Как были богатые и бедные, так и осталось. Только на место благородных господ пришли малообразованные партийцы, с восторгом воспринявшие лозунг, что любая малограмотная кухарка может управлять государством. Наиболее практичные из них уже присосались к новому режиму и живут припеваючи. Пора и мне подумать о своем благоденствии в светлом царстве всеобщего равенства и братства. Вот только все попадаетея какая-то пустяшная мелочь, не стоящая опасного риска. Может быть, повезет именно сегодня?!»

Титов еще раз проверил наличие патронов в барабане нагана и, засунув оружие в кобуру, вышел из кабинета. Наступило время инструктажа сотрудников, задействованных в проведении облавы.

Операция закончилась уже глубокой ночью. Обошлось без особых происшествий. Лишь один раз пришлось выстрелить в воздух в трактире, когда напугавшийся кокаина посетитель набросился на чекистов с разбитой об угол стола бутылкой. «Розочку» удалось сразу выбить, а помутившегося разумом субъекта скрутили.



К середине ночи все камеры были забиты задержанными, сгрудившимися, как маринованные кильки в банке. Титов наскоро выпил стакан чая с куском черного хлеба, слегка присыпанного сахарным песком. Ему и его товарищам предстояло в ближайшие часы просеять весь этот человеческий материал: бродяги и уголовники здесь томились вместе с загулявшими нэпманами, а также обывателями, не имевшими при себе документов, удостоверяющих личность. Проверка задержанных не была формальной и скучной. Титову нравилось разгадывать в считанные минуты, кто перед ним сидит: матерый преступник или случайно застрявший в раскинутой сети смертельно напуганный мещанин.

После двух революций 1917 года были разгромлены и уничтожены карточки уголовников и досье секретных сотрудников. Привлеченные новой властью к работе в качестве консультантов за паек старые царские сыщики, не запятнавшие себя политическими репрессиями, легко опознавали своих прежних «клиентов». Но этих старспецов явно не хватало, и Титов с товарищами полагались на свой накопленный опыт и обостренную интуицию.

Спустившись вниз в подвальное помещение, начал внимательно рассматривать задержанных. Внезапно его глаза встретились с настороженным прищуром хорошо одетого господина в модном котелке. «Да это же мой старый знакомый — руководитель подпольного кружка Тимофеев. Купец изменился. Только теперь одет побогаче. Надо же, подмигивает мне заговорщицки: на старую дружбу надеется. Надо сразу сбить с него спесь».

И Титов указал конвойному на Тимофеева, приказав первым вывести на допрос. В ожидании, когда Купец протиснется сквозь толпу задержанных к двери, обежал взглядом остальных задержанных и, увидев занявшего удобное место у приоткрытой форточки человека со знакомым круглым лицом, с удивлением узнал: «А вот и Лось в наших пенатах появился. Доходили слухи, что он где-то в Поволжье свои разбойничьи дела творит. Видать, там пятки жечь стало, и он в Первопрестольной объявился. Его надо будет прощупать особо, не взирая на прежнее заступничество в камере. А впрочем, и добро забывать нельзя: как аукнется, так и откликнется, но это потом. Сначала разберусь с Купцом».

Уводя Купца, Титов обернулся и, встретившись с пронзительным взглядом узнавшего его уголовника, подумал: «А ведь эта встреча сулит мне нечаянный интерес. Посмотрим, как можно использовать хитрого уголовничка в своих целях. А сейчас все внимание на Купца. Только осторожнее: возможно, у этого типа остались прежние высокопоставленные связи. Хотя вряд ли: иначе его не повязали в по-

хожем на притон трактире. Ничего, прощупаем как следует. Не отвертится. Да и на возможное сотрудничество с полицией намекнуть будет не лишним. Похоже, нынешняя облава лично мне сулит неплохие прибыли».

Заведя задержанного в кабинет, Титов сел за стол и, нарочно не смотря на продолжающего стоять задержанного, сухо спросил:

— Фамилия, имя, отчество?

— Что ты, Титов, комедию ломаешь? Мы давно знакомы. Забыл, как по моим указаниям листовки распространял и динамит для изготовления самодельных бомб по явочным квартирам развозил? Зовут меня, как и прежде, Тимофеевым Михаилом Георгиевичем. Я из мещанского сословия. До революции был журналистом и сотрудничал в солидной газете. Какие еще будут вопросы?

— Ладно, Михаил Георгиевич, не сердись. А вопрос я задал резонно: многие свои родословные данные поменяли. Может быть, и ты переметнулся к белым, а теперь снова в подполье обретаешься.

— Господь с тобой, Титов. Зачем мне, старому революционеру, после победы народа над ненавистным режимом прятаться?

— Так-то оно так, но шуба на тебе буржуйская и костюмчик по индивидуальному заказу пошит. Не похож ты на правоверного коммуниста.

— А я никогда им не был. Мечтал бедняков накормить, а их еще больше после революции стало. Слышал, по Москве свежий анекдот ходит. Воскрес ныне декабрист, казненный в 1825 году. Идет по Сенатской площади и спрашивает у встречающих: зачем вы восстали и царя свергли? А люди отвечают: да чтобы богатых искоренять. Декабрист только горько вздохнул: а мы век назад восстали, чтобы наоборот, бедных не было. Вот так, Титов.

— Ты мне, Тимофеев, антисоветчину здесь не разводи. За один этот анекдот я тебя к стенке поставить могу. Да и по твоей сытой роже и шубе с барского плеча не заметно, что ты бедствуешь. Откуда, кстати, дровишки?

— А я и не жалуясь. Брат мой Станислав до революции крупным негоциантом был. Ушел с белыми за кордон в Бессарабию. А перед бегством мне тайно открыл, где товар спрятан. Когда нынешние власти торговлю поощрять стали, я и достал из тайника запрятанную братом мануфактуру, обувь, чай и иные, как говорится, колониальные товары. Открыл лавочку, доходы удачно в оборот пустил. Вот и не бедствую. А о революционных идеалах и думать забыл. Не верю я новым властям: сулят много, а на поверку одни слова.

— Ты, Тимофеев, ныне мне на высшую меру наказания наговорил. Да и до революции ты, похоже, в нее не очень-то верил: на лихаках раскатывал и



девок продажных себя ублажать нанимал за счет партийной кассы. Я еще тогда подозревал, что ты на полицию работаешь.

— Вон ты как, Титов, заговорил со старым другом-подпольщиком! Только и я не тонкими гнилыми нитками шит. Ты от своих глупых подозрений воздержись. Да, я с ротмистром Петровым знаком был и вместе водку не один раз распивал. Он мне доверял полностью. И это с моей подачи он твою вербовку затеял. Я ему на тебя указал: вот, мол, молодой и горячий студент, жаждущий подвигов, а в голове у него — полный ветер и сумбур. Сам не знает, где правые, где виноватые. Вот он тебя и подцепил в свою сеть. Не веришь? Так я тебе твой псевдоним полицейский вмиг назову: Схимником ты свои донесения подписывал. Ну и что теперь скажешь? Давай отпускай меня подобру-поздорову. Я тебя не знаю, и ты меня не трогаешь. А при случае так и отмажешь от претензий новой власти. Надеюсь, уяснил положение правильно?

«А ведь этот мерзавец может меня подставить под удар. Доказательств у него нет. Но мои сотоварищи и особо разбираться не станут: становись, братишка, к стенке. И все! Залп именем революции. От этого типа надо немедленно избавляться. Но без особого шума».

План ликвидации опасного свидетеля своего прошлого предательства пришел мгновенно. И Титов, отбросив сомнения, легко согласился:

— Ладно, твоя взяла, Тимофеев. Но отпущу на волю не сразу, а утром. Таков порядок. А пока возвращайся в камеру. Только забудь обо всем ныне сказанном.

— Договорились!

Торжествуя свою победу, Тимофеев, сопровождаемый Титовым, вернулся в камеру. А чекист указал конвоиру на Лося:

— А теперь выводи на прощупывание вон того амбала.

Раздвигая сгрудившихся задержанных могучими плечами, Лось легко выбрался из камеры. Сопровождаемый Титовым, прошел на второй этаж в кабинет. Присев на стул, не произнес ни слова, ожидая первого хода от чекиста. И Титов начал допрос:

— Ну, Лось, вот и свиделись.

— Мир тесен, начальник. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Сейчас ты нашел или потерял?

— А это от того зависит, гражданин Титов, какая у вас память — короткая или длинная?

— При чем здесь память, если тебя пол-России ищет, а уж саратовская милиция с ног сбилась, чтобы тебя пулей наградить за убийство семьи торговца Кожухова. Вы даже детей не пощадили.

— Я лично там никого и пальцем не тронул: только лари вскрывал в поисках золотишка. Ванька Дронов со Степаном Симоновым руки кровью обагрили. А я на мокруху не подписывался.

— Они, наоборот, тебя под вышку на допросах подводят.

— Это их дело. Встретимся в тюрьме. Там с них и спрошу.

— А мне-то что с тобой делать? Придется этапировать в Саратов. Там и оправдываться будешь.

— А зачем тебе это, Титов? Ксива у меня на другое имя. Теперь я Лужин. Документы справные, ловкий умелец делал. Молодцев по кличке Лось много по России бегают. Так что если хочешь отплатить добром на добро, отпусти как благонамеренного гражданина.

— Это ты, браток, завираешься. Так дела не делают. То что раньше было, то былем поросло. Ты мне новую услугу окажи, чтобы я мог перед начальством за твоё освобождение отчитаться.

— Ладно, уж раз мы по этой жизни одной упряжкой связаны, подскажу по блату: магазин на Бождомке подломили братья Тихоновы. Стыренный товар в сарае у своего дяди Егора держат в Замошкворечье. Этого достаточно?

— За эту информацию тебе, конечно, спасибо. Но мне нужна еще одна твоя услуга. Кстати, тебе привычная. Видел господинчика в дорогой шубе, побывавшего до тебя у меня в кабинете? Так вот, подлинно знаю: он с охранкой до революции сотрудничал. Нас, честных подпольщиков, под суровые приговоры подводил. Уличить его не могу, а наказать хочется. Мне остается лишь надеяться, что он сам помрет от угрызений совести сегодня ночью. Что скажешь?

— Дело-то нетрудное. А что взамен?

— Мое покровительство и защита на московской земле. Поверь, это дорогого стоит.

— Я понял. Все сделаю. Отправляй обратно в камеру.

Уже стоя в дверях, Лось спросил:

— Я заметил, как этот тип золотые бочата в носок затырил. Ему ведь они скоро будут ни к чему. Могу себе оставить?

— Ну ты и жмот, везде свою выгоду найдешь. Но я согласен. Только смотри, действуй поосторожнее. Никаких побоев на теле чтобы не было. Спишем смерть на несчастный случай.

— Не волнуйтесь зазря, гражданин начальник. Все сделаем в наилучшем виде.

Отведя Лося в камеру, Титов занялся другими задержанными. Он был уверен в успехе затеянной им комбинации.

Ближе к утру, когда уже слипались глаза, в кабинет Титова зашел один из конвойных:

— У нас там в камере жмурик объявился. Лежит на полу в дорогой шубе и не дышит.

Титов с трудом скрыл ликование и как можно будничнее приказал:

— Вызовите доктора Радзиевича. Пусть даст заключение.

— Так Гранулевский живет ближе.

— Я сказал, Радзиевича. Он поопытнее будет.

— Слушаюсь.

Когда конвоир вышел, Титов смог наконец-то свободно вздохнуть. «Этот Лось слово сдержал. Теперь надо обойтись без шума и скандала. Радзиевич у меня на крючке. Этот подпольный абортмакер давно бы сидел, если бы я его прошлой весной не отмазал. Сделает все, что я скажу!»

Когда Радзиевич появился на пороге кабинета, его глаза выражали тревогу: он не знал, по какому поводу его перед самым рассветом вытащили из постели. Титов удовлетворенно усмехнулся:

— Ну что, лепила, давно не виделась? Не пугайся раньше времени. Дел-то всего минут на десять. Там какой-то нэпманчик загнулся от обильных возлияний в трактире. Сердце у него было слабое, вот и не выдержало. Тебе надо только составить бумаги по форме о естественной смерти задержанного при облаве. Смотри, не перепутай формулировку — «умер

от разрыва сердца, и признаков насильственной смерти не обнаружено».

— Другие варианты не рассматриваются?

— Нет, иначе бы я лично тебя не потревожил. Да, еще побеспокойся, чтобы от тела побыстрее избавиться, отправь в крематорий, в общую могилу как неизвестное лицо. Нам лишние неприятности ни к чему.

— Я все понял. Можно идти?

— Давай, действуй. И сам понимаешь, молчание — золото. Держи рот на замке. А я в долгу не останусь. Ну да ты и сам знаешь. Помнишь умершую от нелегального аборта у тебя на кухонном столе молоденькую кухарку?

— Ладно, ладно. Все сделаю, как приказано. Не беспокойтесь.

— А я и не беспокоюсь. Все, иди. Мне еще работать надо.

Немного выждав, Титов направился вниз в подвал. Навстречу ему попались двое санитаров с носилками, на которых уносили тело внезапно усопшего Тимофеева. Стараясь не смотреть на труп, Титов подошел к камере и вновь вызвал на допрос Лося. Ему предстояло договориться с этим опасным человеком о дальнейших совместных действиях.

*Продолжение следует.*

Раф СОКОЛОВСКИЙ

**Несколько слов о себе**

*Мне самому не верится, что мне восемьдесят три года и я, пережив культ личности Сталина, волонтаризм Хрущева, застойные времена Брежнева, перестройку Горбачева, попал в мир рыночного криминала и при том не потерял чувства самоиронии. Как мне это удалось — ответ в моем интервью «Юмор помогает выжить» на сайте «Проза.ру». В 1950 году я окончил отделение журналистики Казахского госуниверситета, работал в газетах и журналах Узбекистана и Казахстана. Выпустил книжки «Бархатный баритон», «Встреча с...», «Фиг вам!». С журналом «Юность» дружу со дня его рождения. Наверное, это и придает мне новые силы.*

**БЕЗ АИСТА****НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ РАССКАЗ**

У каждого в детстве была своя сказка про то, как он появился на свет: одного принес аист, другого нашли на огороде в капусте, третьего купили в «Детском мире». А я родился в очереди.

Моя мама, которая тогда еще не была моей мамой, и мой папа, который тоже еще не собирался стать моим папой, познакомились в очереди за хозяйственным мылом. В одни руки давали только по одному куску, и поэтому мой папа занял еще одну очередь, и ему пришлось бегать туда-сюда, чтобы отмечаться там и тут. Так как он стоял перед моей мамой, он попросил ее поддержать его место. В благодарность за то, что она подтвердила, что он действительно стоял перед ней и отлучался на несколько минут, он поставил мою маму в другой очереди перед собой, и она получила еще один кусок хозяйственного мыла. Они улыбнулись своей удаче и познакомились.

Мой папа сказал, что неплохо было бы вот так кооперироваться и сообщать друг другу, где и что дают. Они обменялись телефонами, и в следующий раз мой папа легко нашел мою маму в очереди за спичками, и она поставила его впереди себя. Оказалось, что он тоже занял для нее очередь за чаем, предупредив, что перед ним стоит женщина в зеле-

ной шляпке. Когда она заняла свое место, какой-то вредный старик закричал, что моей мамы здесь «не стояло». Тогда мой папа заявил, что она его жена и имеет право. В очереди загалдели и поддержали: «Имеет право! Раз жена, имеет...» Так маме удалось купить кроме спичек тюбик чаю, и она счастливой вернулась домой.

В очередях у папы и мамы было много свободного времени, и они обсуждали разные житейские проблемы, где, что и когда можно достать. Кроме того, папа и мама рассказывали и про свое житейское-бытьё: папа жаловался, что пациенты приходят с разными пустяками и берут за горло, требуя бюллетень, мама, а она была очень красивой, — что к ней пристают на работе, и особенно главный инженер. Папа пообещал отрезать кое-что главному инженеру скальпелем, мама засмеялась и сказала, что уже поздно, потому что у него шестеро детей. Так в разговорах очередь продвигалась вперед как бы быстрее. Однажды папа пригласил маму в кино и потом проводил до дома, а еще потом они вместе сходили в оперу. Другой раз папа подарил маме духи «Красная Москва», а она пригласила его на чай с яблочным пирогом — они как раз накануне достали по два пакета муки. Когда в очереди стали требовать отметку





Рисунок Елизаветы Горяченковой





в паспорте насчет родственных уз, мама и папа пошли в ЗАГС и узаконили свои отношения, тем более что они давно уже были на «ты».

Когда в очереди у мамы неожиданно начались схватки, пришлось вызывать скорую помощь, и ее увезли в роддом. Схватки начались очень некстати, так как до прилавка оставалось всего человек десять, не больше. Мой папа уехал вместе с мамой на скорой и остался без новых носков. Пришлось ему купить ручную штопальную машинку и самому реставрировать дырявые носки, потому что мама полностью была занята мной: варила манную кашу, стирала пеленки, укладывала спать.

Мое появление на свет, конечно, осложнило жизнь родителей: теперь папе приходилось околачиваться по очередям в одиночку и тратить на покупки в два раза больше времени, чем раньше. Однако вскоре, когда я чуть подрос, мама пеленала меня, клала в детскую коляску и отправлялась за покупками, совмещая прогулки на свежем воздухе с полезными делами. В те времена было правило — ставить мамаш с грудничками через пять человек, если же впереди уже оказывалась какая-то льготница с детской коляской или инвалид без ног, отсчитывали еще пять человек. Теперь мама ходила со мной по очередям, а папа в свободное от приема больных время стирал пеленки и варил кашу.

Еще задолго до школы я уже умел распознавать цифры, которые писали химическим карандашом на ладонях, чтобы не влез кто чужой. Кроме того, я хорошо знал: если возле магазина собирается народ, надо быстренько искать хвост очереди и громко выкрикивать: «Кто последний? Я за вами!», а потом уже спрашивать, что выбросят на прилавок. Интересное тогда было время: в магазинах товар не продавали, а давали, и иностранцы думали, раз дают, значит, бесплатно, и, наверное, очень нам завидовали. Дождавшись за собой очередника, я просил подержать место, пока сбегаю за мамой. И тут никто не отказывал, а наоборот, хвалили: «Смотри, какой карапуз, а уж туда же! Беги, беги, малыш, мы тебя признаем...» Я приводил маму и сам тоже вставал в очередь, потому что тогда все давали в одни руки: например, килограмм сахара, кусок мыла или пачку чая. А со мной у мамы было уже «две руки».

Как-то раз нам понадобились две бутылки водки, чтобы расплатиться за ремонт квартиры. Никто из мастеров не соглашался работать «за так», то есть за деньги, потому что они с каждым днем обесцени-

ваются, и папа ворчал, что скоро дешевле будет обклеивать стены рублевками, чем обоями. Папа взял меня в водочную очередь. Чтобы меня не задавили, он посадил меня на плечи. Когда подошла очередь, папа протянул продавцу деньги на две бутылки. «А кто второй?» — спросил он. «А вот мой сын, что сидит на мне», — сказал папа. «Детям до шестнадцати лет спиртные напитки не отпускаем, — показал на объявление продавец. — Следующий!» Пришлось одалживать поллитровку у знакомых.

Меня воспитала не семья, не школа и не улица, а очередь, где я и набирался житейской мудрости. Там я узнал, например, что блат выше совнаркома. Так говорили несмотря на то, что вместо совнаркомов давно уже существовали министерства. В очередях я обрел друзей и знакомых, а повзрослев, за рюмкой чая часто вспоминал с друзьями-приятелями, которых обрел в очередях, о тех баснословных временах. Помню смешной случай, когда я сдавал сопромат. Преподаватель спросил номер билета, взглянул на меня, задумался и спросил: «Мы когда-то с вами встречались? Где?» «Не знаю», — отвечал. «Нет, мы определенно встречались: или когда-то ехали в одном купе, или жили на одной улице. Память у меня цепкая». — «Вспомнил! — воскликнул я. — Мы стояли вместе за макаронами, и они перед самым носом кончились. Вы очень огорчились, так как были аспирантом и жили на макаронах и овсянке». Он улыбнулся, попросил зачетку и поставил пятерку.

Жизнь пошла на поправку после того, как нам устроили экономический стресс. Деньги, с одной стороны, как бы обесценились, а с другой — было приятно держать в кармане целый миллион. Помню, как я удивлялся, когда в первый раз получил эту неслыханную сумму в кассе. «Я миллионер! Не может быть!» — говорил сам себе. Однако миллион очень быстро растаял, так как все теперь продавалось за деньги с несколькими нулями. Долго я не мог привыкнуть к тому, что магазины ломаются от всякой всячины, и балдел перед витринами, как будто там выставили инопланетянина. Заходи в любой супермаркет и выбирай, чего хочешь, вплоть до черной икры, если есть «мани». А очереди выстраиваются теперь, лишь когда приезжает какая-нибудь Мадонна или за билетами на международный кинофестиваль. Давно позабыто правило очереди — держаться друг за другом. А вот что не пускать чужих — крепко засело в души...



Галка ГАЛКИНА



*В последнее время я начал задумываться о своем здоровье. Возраст еще ого-го, сорок с хвостиком, а взбежать на свой двадцать первый этаж, когда лифт не работает, как двадцать лет назад, не получается. Одышка возникает и аппетит сразу пропадает, пока не отдышусь. Вот этой весной загрипповал, вызвал врачу из поликлиники. Та пришла, измерила давление, послушала, что у меня в грудной клетке делается, и спрашивает:*

*— Что это, любезный, у вас организм не по годам сильно истасканный, подержанный какой-то? Пьете, небось, чрезмерно, курите безостановочно?*

*— Да так, — отвечаю, — как все. Две пачки сигарет и не больше поллитры. По будням...*

*Архметов А. В., Москва*

### Галка ГАЛКИНА:

Стало быть, еще не перевелись богатыри на земле русской?

Нас сигаретами, где черным по белому: «Одна капля никотина убивает лошадь», — а нам хоть бы хны. Тогда враги, которые, как известно, не дремлют, подсовывают поллитру, от которой в силу укоренившихся традиций и инстинктов отказаться очень трудно, ну и тут промашка вышла.

Нас не догонишь, не перегонишь, не пересамогонишь!

Ни по будням, ни по праздникам. Особливо, конечно, трудно приходится в праздничные дни, когда вся эта винно-водочная рать надвигается, как татаро-монгол, напившись и ощерясь.

Держитесь, товарищ Архметов! Страна в этот сложный исторический период с Вами! Вряд ли найдется такой человек у нас, кто бы Вам не симпатизировал.

Уверен, многие, кроме всего прочего, еще и солидарны. Их солидарность выражается не только пассивно, как непротивление злу насилием. Мол, бейте нас, так мы еще вам и другую щеку подставим. Нет уж, кукиш!

Мы потребляем и будем потреблять, пока не изведем ее под корень. Или мы эту курву, или она нас. Другого не дано. И не будет!

Да здравствует день Парижской коммуны!



**Что почитать**

- ☺ На опушке откройте Пушкина.
- ☺ По утрам хохоча — читайте Драча.
- ☺ Начинается драка — бери том Пастернака.
- ☺ Напился лака — читай Бальзака.
- ☺ Напился бензина — читай Мисиму.
- ☺ Хороша ли жизнь, убога ли — штудируй Гоголя.
- ☺ Не спорь с дураками — почитай-ка Мураками.
- ☺ Дошел до состояния скотского — бери Бродского.
- ☺ Наступает лето — знойное от Фета.
- ☺ При покупке ишака — не забудьте Маршака.

**ФАЗА МЕСЯЦА:**

— Открыл?  
— Ась?



**Как жить в маю**

- ☼ Май — почти Рай!
- ☼ Из города на дачу — запрягай клячу!
- ☼ В маю прилетают кукушки и гудят старушки.
- ☼ Хорош, однако, май для сбора рыжиков.
- ☼ В маю не суй сома в нору ракову!
- ☼ В маю легки секс-походы!
- ☼ Майская трель — как соседская дрель!
- ☼ Живи в маю по побудке и крути самокрутки из незабудки.
- ☼ Дембель в маю — все... хорошо!  
(Народная мудрость)
- ☼ Этот май — чародей: созывай лебедей!



© Фото Игоря МИХАЙЛОВА

**SMS'КА, ПОСЛАННАЯ В БОЛОТНУЮ:  
Чак-чак!**



## ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Журнал «ЮНОСТЬ» для жителей РФ, дальнего и ближнего зарубежья распространяется только по подписке!

Наши подписные индексы: **71120** (карточная), **83124** (адресная), **42835** (годовая), **42886** (для пенсионеров и библиотек) — в каталоге «Пресса России» (зеленый); **10152** (карточная) — в каталоге «МАП»; **83802** (карточная), **83801** (адресная) — в каталоге «Роспечать».

Также вы сможете подписаться на журнал «ЮНОСТЬ» через редакцию. Нужно только заполнить и оплатить квитанцию, а ее копию передать нам любым из этих способов:

- по электронной почте: **unost-reklama@mail.ru**
- по факсу: 8 (499) 250-40-60/74
- продиктовать по телефону! 8 (499) 250-83-98

Квитанции можно вырезать из журнала или скачать на нашем сайте: **<http://unost.org>**

Москвичи могут приобрести журнал:

- в киоске «Экспресс-хроника» по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 4
- в редакции журнала «ЮНОСТЬ» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1
- в редакции журнала «Знамя» по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 2/46

## ВЫБОР ЕСТЬ!

## ВАША «ЮНОСТЬ» ВСЕГДА С ВАМИ!



Годовая подписка на литературный журнал «ЮНОСТЬ» через редакцию возможна с любого месяца. Нужно только оплатить квитанцию и отправить копию нам! Будем рады встрече с новыми читателями!

## Подписка на год

Извещение	Получатель платежа: <b>НП «Редакция журнала «Юность»</b> Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О.: _____ Адрес: _____ _____		
	Телефон: _____ E-mail: _____		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	<b>Годовая подписка на журнал «Юность» с _____ месяца 2012 г.</b>		<b>2220,00</b>
	Платательщик: _____		

## Подписка на полгода

Извещение	Получатель платежа: <b>НП «Редакция журнала «Юность»</b> Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва ИНН: 7710047052 КПП: 771001001		
	Расчетный счет № 40703810138040100906		
	ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225		
	Корр. Счёт: 30101810400000000225		
	Ф.И.О.: _____ Адрес: _____ _____		
	Телефон: _____ E-mail: _____		
	Вид платежа:	Дата	Сумма
	<b>Полугодовая подписка на журнал «Юность» с _____ месяца 2012 г.</b>		<b>1200,00</b>
	Платательщик: _____		

Копию оплаченной квитанции можно отправить в редакцию журнала «ЮНОСТЬ» по факсу: 8(499) 250-40-60, 8(499) 250-40-74, по электронной почте: [unost-reklama@mail.ru](mailto:unost-reklama@mail.ru).  
Телефон для справок: 8(499) 250-40-72/74.